

Николай Полотнянко

**ЗАГОН
ДЛЯ
ОТВЕРЖЕННЫХ**



ББК 84(2Рос=Рус)
П52

Полотнянко Н.А.
П52 **ЗАГОН ДЛЯ ОТВЕРЖЕННЫХ.** Современный русский роман. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 276 с.

На обложке:
фрагмент картины Винсента Ван Гога «Прогулка заключённых» (1890).

«...В прежней жизни я иногда испытывал чувство раскаянья за свои дурные поступки, но оно было поверхностным, быстро забывалось и не оставляло о себе памяти. Незначительные всплески совести не могли растормошить мою душу, которую я до смрадной черноты прокоптил пьянством, и только в загоне для отверженных она стала понемногу самоочищаться. Но мне было ещё бесконечно далеко до того, чтобы моя испачканная грехами душонка ожила и в полной мере обрела способность к стыду и раскаянию.

Лишь иногда из её глубин, без моего зова, выплывало то, что я, казалось, забыл навсегда, и напоминало, например, о том, что случилось давным-давно, в шестом классе, когда я сорвал с головы одноклассницы платок, и все увидели, что она подстрижена наголо, потому что переболела тифом. Я вспомнил об этом, и так ясно увидел её искажённое плачем лицо и огромные наслезенные глаза, что мне стало невыносимо стыдно за свою жестокую шалость, но извиниться перед ней я уже не смогу никогда. Эта девочка вскоре умерла, а я, вместо того, чтобы пойти на её похороны, отправился с друзьями в лес, зорить грачиные гнёзда, то есть совершать ещё одну жестокость, теперь по отношению к полезным для человека птицам. И много чего дурного я совершил в детстве, потому что не понимал разницы между хорошим и плохим, мать меня жалела, воспитывала только словами, а надо было браться за ремень, пока я ещё лежал поперёк лавки...»

© Полотнянко Н.А., 2014

Николай Полотнянко

ЗАГОН ДЛЯ ОТВЕРЖЕННЫХ

Современный русский роман

Ульяновск
2014

* * *

*И при царе последнем, и при Сталине,
И в самой либеральной из эпох —
Счастливые с трибун звенят медалями,
Несчастные толпой бредут в острог.*

*Мир поделён на две враждебных доли,
И никогда им вместе не сойтись.
Лишь мятежи порой меняют роли,
Ничуть не изменяя нашу жизнь.*

*Российский мир похож на обезьянник,
Где столько льстивых и свирепых рож.
Им властно управляют кнут и пряник,
Под правоту наряженная ложь.*

*Пока одни с трибун звенят медалями,
Влачат другие каторжную цепь.
Казня законом граждан, не устали мы
Им обещать и вольности, и хлеб.*

В отряде я привык просыпаться рано, сразу же следом за бугром, который обитает подо мной на нижнем ярусе, и когда начинает ворочаться с боку на бок, то верхнюю койку ощутимо потряхивает от толчков его тяжёлого и громоздкого туловища. Перевернувшись несколько раз с боку на бок, Михайлыч со стоном и хрипом заядлого курильщика неторопливо поднимается, и я сквозь щелку в одеяле вижу его широкую спину и худые волосатые ноги. У бугра три лагерные ходки за плечами, в ЛТП он залетел по крайней невезухе, и, в основном, из-за подлянок участкового, которому до чертиков надоел пьяными разборками с сожительницей. Подругу Михайлыча отправили в дурдом, а его сунули на два года сюда.

Бугор, если его не заводить, незлой мужик, правда, вид у него жутковатый: в ямке проломленного лба пульсирует обтянутая сухой кожей желеобразная масса мозга, полтора десятка шрамов, синяя, по всему телу паутина наколок — его давние лагерные трофеи. Михайлыч — старый баклан, хотя хулиганский дух из него порядком повыветрился. Сейчас он редко заводится с пол-оборота, только зыркнет на того, кто начинает бузить, глубоко упрятанными в надбровья колючими бесцветными глазками — и тот сразу скисает, и прекращает базар, иначе получит по бестолковке, за Михайлычем это не заржавеет.

Пока бугор одевается, натягивает на кальсоны ватные стёганые штаны, забивает опухшие ноги в непросохшие за ночь валенки, я греюсь под одеялом и в щелку смотрю на часы. Чёрные стрелки на засиженном мухами циферблате упорно ползут к шести.

Скоро подъём, и многие, ещё не проснувшись, это чувствуют: то в одном углу, то в другом слышатся

поскрипывания кроватных пружин, покашливание, кто-нибудь вскрикнет, досматривая привидевшийся ему кошмар, а бывает и разрыдается.

— Зэк! Зэк! — металлически вызванивают ходики. Михайлыч, шаркая подшитыми прорезиненным ремнём валенками, подходит к часам и истово по-хозяйски подтягивает гирьку вверх, где она начинает раскачиваться, и бугор осторожно останавливает её и долго, не отрываясь, смотрит на циферблат. С верхней койки мне хорошо видна его расчерченная старым шрамом лысина, но иной раз мне хочется заглянуть в лицо матёрого лагерника, понять, что он переживает в эти мгновенья, ведь время здесь — и я это почувствовал на себе, — имеет свою особую цену, которая известна только нам.

Обычно я наблюдаю за ним молча, но сегодня почему-то окликаю:

— Михайлыч!

— А? — поворачивается он всем негнушимся телом.

— Часы не отстают?

— Не отстают, — вздыхает бугор и, оттолкнув дверь ногой, топает в коридор, в умывалку.

В жилом помещении барака плавает застоявшийся тяжёлый и кислый запах от мужицких, насквозь пропотевших, тел, кирзовых сапог, несвежего белья, валенок и верхней одежды. Притерпевшись, не замечаешь этой вони, ощущаешь только духоту, но через несколько минут войдёт, умывшись, Михайлыч и заорёт диким криком:

«Подъём! Вот навоняли, сволочи, топор можно вешать!»

И вслед за ним из коридора ворвётся свежая, как холодное железо, освежающая месиво грубых ночных запахов струя морозного воздуха.

В нашей бригаде пятьдесят с лишним человек. Койки в два яруса, между ними тумбочки для личных вещей, тяжёлые табуретки с прорезями на сидениях, чтобы переносить было удобнее, на стене плакат «Добьёмся высоких производственных показателей!», стенгазета «За трудовые достижения» и вымпел

за ударную работу отряда на кирпичном заводе, где осуществляется трудовая перековка алкашей в стойких трезвенников.

Не так сладок сон, как последняя пред тем, как проснуться совсем, короткая дрёма. Поэтому никто не шевелится, никто не хочет покидать свою облежанную под одеялом за ночь тёплую норку.

Все мы до зубовного скрежета надоели друг другу, поэтому не спешим вставать и бережём своё одиночество. Не знаю, о чём в это время думают другие, но мне чаще всего в эти минуты видится удивительный ясный и мягкий свет, в котором неясно прорисовываются очертания далёкого берега реки, избы на глинистом жёлтом обрыве и тенистые плакучие ивы над тихой и светлой водой. И всё это представляется мне так ясно и маняще живо, что накатывает на сердце пронзительная грусть, и становится до слёз жалко себя, свою загубленную непутёвую жизнь.

В первые две недели, когда я пришёл в отряд из карантина, меня мучили кошмары. После отбоя долго не мог заснуть, лишь где-то среди ночи впадал в тягостный обморок, и мне порой чудилось, что я лежу за пулемётом, на меня бегут какие-то нелюди, а я безостановочно нажимаю гашетку пулемёта и стреляю, стреляю, не в силах оторваться от приклада.

Сооружение из двух коек, видимо, от моей дрожи начинало ходить ходуном, и Михайлыч, не вставая со своего лежака, пинал снизу матрац.

— Ты что затрясся опять, гад! — хрипел он. — Вот придурок! Я тебя успокою по бестолковке, враз затихнешь!

За стеной в коридоре хлопает входная дверь, и сразу же начинает бубнить бугор: пришёл начальник отряда лейтенант Зубов. Михайлыч хрипло докладывает о происшествиях. И, конечно, как всегда, ничего не случилось, хотя редкий день обходится без хипеша: кто на пробку наступит, кто дури накурится или наглотаётся, кто подерётся. Все нарушения непостижимым для меня образом разоблачаются, но меня это не

касается, только иногда замечаю, как из кабинета Зубова с изменившимися от боли физиономиями, придерживая одной рукой стену, а другой — бочину, появляются особо отпетые нарушители режима.

Михайлыч начальственно рвёт голосовые связки, мы начинаем шевелиться и ещё дольше бы тянулись, но скоро построение на завтрак. Выждав пяток минут, я быстро вскакиваю с кровати и, сунув ноги в сапоги, бегу в одних кальсонах в умывку. Некоторые нороят мимо неё проскользнуть в столовую, но бугра провести невозможно. Он видит каждую мелочь и учит по-своему, жёстко.

Возле гальюна очередь, вокруг умывальников толкучка, хотя долго возле крана никто не задерживается, плесканёт в лицо пригоршню ледяной воды и отскакивает в сторону. Из бытовой комнаты доносится жужжание электробритв: есть среди нас и такие, кто бреется каждое утро, я к этим джентльменам не принадлежу и раз в три дня соскабливаю с лица щетину старенькой безопаской, потому что берегу лезвия: свои советские никуда не годятся, а импортными здесь не разживёшься.

Конечно, наше учреждение не относится к числу элитных в системе МВД, но и тут пытаются придерживаться порядка, однако, не всегда это получается: мешает трёхсменная работа, скудные средства, выделяемые на наше содержание, но иногда начальство начинает гнать пургу, то есть цепляется ко всякой мелочи, чтобы нас облаять, наказать, а при случае и ощутимо двинуть под ребро. Цепляются к нашему внешнему виду, а какой он может быть у принудбольного, которого гонят на мороз долбить в мёрзлой земле траншею для теплотрассы? Или он идёт на «кирпичики», где ему предстоит иметь дело с сырыми или обожжёнными кирпичами, работать, как негру, в основном, на «пердячем паре», прошу прощения за некорректность выражения. Зубов в этом отношении был мягче других начальников отрядов, однако имел свой пунктик: его приводили в ярость плохо заправленные койки, и мне,

поскольку моя койка была первой от двери, пришлось научиться заправлять её так ровно и гладко, что она казалась каменной плитой. Для такого неряхи, как я, это было подвигом, который начальником отряда был оценен, а занять его доброе расположение было вопросом, если не жизни, то сохранения здоровья.

Заправив постели, мы толпимся в коридоре, ожидая, когда скомандуют идти на завтрак. Некоторые закуривают, и над головами слоистыми кругами плывёт табачный дым. На улице ещё темно, окна запаяны толстым льдом, сквозь который еле-еле просвечивает пятно фонаря на столбе возле барака.

Наконец, раздаётся команда на выход. Толкая друг дружку, мы вываливаемся на улицу и строимся в колонну по пять человек в ряд. Знобящий холод января насквозь прошивает ледяными иглами наши телогрейки, и мы, едва держа строй, скорым шагом устремляемся к столовой.

– 2 –

Я торчу в ЛПТ всего четыре месяца, а кажется, что вечность. Иногда мне хочется подойти к лейтенанту Зубову и спросить, за что меня здесь держат, ведь я никому ничего плохого не сделал, я здоров, к бутылке меня не тянет, а если должен за лечение, так отработаю на воле — хочу спросить и не решаюсь, потому что знаю — надо мной висит срок, а изменить его может только суд. Если не освободят по половинке, то ещё двадцать месяцев я буду париться в вонючем загоне для отверженных, ходить на работу на кирпичный завод, искать свою фамилию на листке вызовов на лечение, которое, кроме как издевательством и пыткой, назвать невозможно.

Пасмурным осенним днём меня привезли сюда на костистом, как деревенская телега, «воронке». Помню, дверцы машины распахнулись, в лицо брызнул жёсткий, как окалина, дождик. Я

окинул взглядом трёхэтажное здание, полунагие чёрные деревья, мокрую асфальтированную дорожку.

— Давай! Давай! — подтолкнул меня коленом пониже спины сопровождающий мент, и я, не глядя, спрыгнул в лужу, окатив себя грязной и холодной жижей до ширинки штанов.

Подслеповатыми зарешеченными окнами первого этажа на меня угрюмо глядела больница. К ней широкими чёрными крыльями примыкал забор, убегающий в низкий и плотный туман. Меня сразу охватило ощущение тесноты, и я невольно втянул голову в плечи.

В приёмном отделении долго оформляли мои документы, затем повели дальше. Сопровождающим был тощий кадыкастый прапорщик. Под мышкой у него торчала папка с моим делом. Он, помалкивая, шёл впереди, следом тащился я, оставляя мокрыми босоножками на кафельном полу приёмного покоя грязные следы.

— Гражданин прапорщик! Мне бы забежать куда-нибудь, а то подпёрло под самую завязку.

Мой поводырь остановился, шмыгнул крошечным носиком — пуговкой и авторитетно сказал:

— Здесь тебе не зона, а профилакторий! Не гражданин начальник или как, а товарищ, понял, товарищ прапорщик. Усекаешь?

Товарищ прапорщик сдал меня медперсоналу вместе с моим делом и слинял. Под наблюдением медсестры и сухонького старичка в байковом халате, видимо, из принудбольных, который отвечал за приёмку вещей и санитарную обработку вновь поступающих, я разделся. Старичок, не очень стесняясь, вывернул карманы плаща, брюк, но они, к его сожалению, оказались пустыми и дырявыми.

Но сам я пустым не был: у меня во рту, за щекой лежала свёрнутая во много раз и от этого превратившаяся в комочек, величиной с горошину, пятидесятирублевая бумажка, которую мне сунул Стекольников, когда участковый изымал меня из его мастерской. Если бы шмон был настоящим, то деньги у меня,

конечно бы, нашли, но здесь требования к личному досмотру были гораздо слабее, чем на зоне.

Сожалеюще вздохнув, дедок затолкал одежду в наволочку и карандашом написал на ней мою фамилию.

— Сожги это барахло, — посоветовал я, переступая озябшими ногами по цементному полу.

— Ну да! А потом ты счёт будешь предъявлять. Иди, пополощись в душе. Чать, забыл, когда мылся? Тут ты за два года намоешься и наполощешься.

В душевой было просторно и светло, и я впервые за много месяцев увидел себя голым. Неторопливо оглядевшись по сторонам, я опустил голову и прошёлся взглядом по рукам, ногам, впалому животу и волосяной растительности, в зарослях которой едва угадывался небольшой обмылок мужского достоинства. «Да, — подумалось мне, — не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа...» Будущее представилось в своей беспощадной наготы, на глазах выступили слёзы и, чтобы успокоиться, я шагнул в душевую кабинку.

Несколько минут я стоял, прислушиваясь к бормотанию горячей воды, которое напоминало рокот молодого лиственного леса, когда на него налетают тугие порывы ветра. Мне не хотелось прикасаться к себе, настолько чужим казалось тело, болевшее от долгой тряской дороги и с похмелья. Я взял кусок хозяйственного мыла и стал намыливать себя, начиная с шеи, плеч и рук. Обмывшись, я ещё раз намылил — где только смог дотянуться — спину, живот и ноги, затем пришёл черед головы; волосы были настолько грязными, что с трудом намыливались, и мне пришлось их промыть несколько раз, чтобы удалить накопленные залежи грязи.

Я долго стоял под душем, горячие струи лились по спине, животу, и тело, обласканное ими, начало оживать, оттаивать, умягчаться. На смену тягостному состоянию пришло обманчивое ощущение лёгкости, и, казалось, вытрись я сейчас

мягким полотенцем, надень чистое бельё и можно без всяких лечений начинать новую жизнь.

Но дедок не дал мне размечтаться. Он заглянул в душевую и перекрыл кран с горячей водой. Я ещё раз ополоснулся в остывающих струях и вышел.

Трусы и майка мне не полагались. Покопавшись в грудё белья, старик швырнул кальсоны и рубашку, которые оказались коротковаты, но было сказано, что их заменят в следующую помывку. Выдали мне и халат из застиранной байки, грязно-жёлтого цвета с шалевым воротником. Стоптаные тапочки я надел на босые ноги.

Пока я мылся, медсестра перелистала моё дело и теперь ждала, пока я оденусь. Это была женщина средних лет с усталыми равнодушными глазами, которую несколько не интересовала моя нагота. Видимо, за время работы она навидалась здесь всякого.

Не любопытничая, я пошёл за ней по коридору. Принудительные поглядывали на меня с интересом, надеясь увидеть знакомого, но я никого из них не знал.

За час я прошёл пять кабинетов. Сначала меня взвесили, измерили, потом прослушали, простукали, затем пересчитали, сколько у меня в наличии зубов, просветили на рентгене, взяли кровь из пальца и из вены — и только тогда отступились на несколько минут. Дело, с которым я поступил, разбухало на глазах.

Я сидел на кушетке возле кабинета главного врача, из коридора доносились звуки включённого телевизора, и не чувствовал ни стыда, ни раскаянья, ни страха. Я был равнодушен ко всему, что со мной было и будет, как глухая каменная кладка. Моё сознание лишь регистрировало получаемые извне знаки, вроде проходивших мимо людей, звуков, бликов света, но никак на них не откликалось, и я был готов безропотно подчиниться всему, что со мной сделают.

Все дни с момента моего задержания, которые ушли на обследование и суд, я думал о себе как о постороннем человеке, иногда даже с интересом, мол, что он ещё этакое выкинет.

Председательствовал на суде, определившем мне срок содержания на принудительном лечении, удивительно чистоплотный и наутюженный человек лет сорока. Смотрелся он из-под герба свежо и аккуратно, как молодой огурец с грядки. Воротничок сорочки отливал матовой белизной, костюм без единой замятой складки, галстук в тон костюму тоже голубой, запонки, когда он перелистывал бумажки моего дела, вспыхивали раскалёнными угольками, и весь судья с головы до ног был существом окончательно и бесповоротно вжившимся в умопомрачительную и недоступную мне чистоту и порядочность.

Я не запомнил ни содержания положительной характеристики с работы, которую мне организовал Стекольников, ни заявления жены, слёзно просившей принять ко мне меры, но ничто на суде меня так не унизило, как эта судейская чистота, уже недоступная мне, провонявшему «бормотухой» и нечистой заплёванной землёй большого города.

Судья что-то спрашивал, а я думал, что вот придёт он домой, чай расположится пить, домашние естественно с вопросами, кого, за что судили. Да ничего особенного, скажет, так, мол, алкаша определяли. А если бы я старушку какую-нибудь пришёл, да и ещё и её дочку, уж тогда бы наохались, наудивлялись, откуда берутся такие изверги. И замок на ночь на все обороты закрыли бы и цепочку не позабыли набросить.

Ничего интересного на суде я не увидел. Врезался лишь в память инвентарный номер скамьи подсудимых. Этакая восьмизначная хохма, но почему она сделана так, чтобы её видели все, этого я так и не понял.

Главного врача пришлось ждать в приёмной, где на стенах угрожающе змеилась антиалкогольная агитация, пока властной походкой, которая сразу изобличала в нём хозяина, не вошёл румянолицый человек с глазами, размытыми минусовыми

диоптриями круглых очков. Из-под расстёгнутого халата на нём виднелся мундир офицера внутренних войск.

— Новенький? — определил сразу доктор. — Заходите, будем знакомиться.

Потом я узнал, что главврач был единственным человеком, который говорил нам вы, остальные были проще и грубее, но к ним мы относились лучше. А этот эскулап мог назначить такой курс лечения нарушителю режима, что мало не покажется. Мог заколотить в гроб одним махом, зарыть в могилу, подержать на том свете недельку и снова вынуть на свет божий.

Я был наслышан обо всех этих ужасах и последовал за доктором на негнущихся от страха ногах.

— Так! Так! — баском рокотал главврач, перелистывая данные моего предварительного обследования, заключённые в картонную папку.

— Молодцом! Пока у вас всё в порядке за исключением того, что привело вас сюда. Встреча наша весьма огорчительная, не так ли?

«Врежет сейчас» — тоскливо подумал я, холодея всем телом.

— Исследуем вас более детально, — продолжал доктор, — и назначим рациональный курс лечения. От вас требуются дисциплина и точное выполнение всех врачебных назначений. У вас есть желание лечиться?

— Есть, — скованно сказал я. По правде говоря, я не считал себя больным. Большое дело — загулял на несколько месяцев, другие годами пьют и ничего.

— Вот и хорошо, — произнёс доктор и вдруг резко спросил. — С какого времени вы употребляете спиртные напитки?

Я тупо молчал. Доктор, я это сразу понял, был моим противником, нужно было сообразить, как ему ответить, чтобы потом не раскаиваться в поспешно вылетевшем слове.

— Хорошо, — сжалился надо мной главврач. — Сейчас вас проводят в палату.

Дежурный санитар указал мне койку, я потоптался возле неё и огляделся. Палата была пуста, все принудбольные находились

на процедурах и, запахнув полы халата, я подошёл к окну и посмотрел во двор. Солнце глубоко запряталось в тучи, моросил мелкий дождичек, налипая на стёкла больничного окна. Неуютно и зябко смотрелся двор с отцветшими клумбами, обложенными силикатным кирпичом, чахлыми деревьями, жилыми и служебными постройками.

Слева чернела П-образная брама — железные ворота. Они были открыты, и дежурный наряд пропускал, видимо, пришедшую с работы колонну принудбольных. С линии ворот шеренга в пять человек сделала несколько шагов вперёд, дежурный наряд стал её осматривать. Так, по пятёркам, и пропускали всех прибывших. Люди жались под дождём и терпеливо ждали, пока не обшмонали всех, до последнего человека. Раздалась команда, и колонна двинулась к одноэтажному зданию, где была столовая.

За забором, обнесённым сверху колючей проволокой, зеленел тёмный ельничек, а чуть выше, перечёркивая пригорок, блестело мокрым асфальтом междугороднее шоссе, по которому мчались машины.

Там была воля, но, странно, мне совсем не хотелось туда, где летели, ломая упругий воздух, машины, шли домой с работы люди. Там меня никто не ждал, там всё было для меня чужим, там было то, что отвергло меня от себя, заклеямило приговором и пригвоздило к позорному для всех нормальных людей трёхбуквию — ЛТП, которое по своей сути было загоном, где содержались отвергнутые обществом люди.

— 3 —

Вечером меня накормили пшенной кашей с кусочком хека. Я отвык от нормальной пищи и поел я с неохотой, через силу влил в себя стакан тёплого чая, и был рад добраться до койки.

Вскоре по одному стали приходиться мои сокоечники из бокса, где им ставили иммунитет против алкоголя всякими мерзкими

антабусами. Они попадали на свои койки и молча, лежали, нисколько не интересуясь мной. Тогда я ещё не знал, почему им было не до разговоров. Мягко говоря, лечение здесь было беспощадным, но иного и не существовало. Нам прививали страх, и только тот, кем овладевал смертельный ужас при одном только виде спиртного, мог считаться в какой-то мере излеченным.

Я лежал на койке возле окна, и все рвотные запахи струились в мою сторону. Они были настолько противны, что меня едва не стошнило. Пересилив отвращение, я поднялся, подошел к окну, открыл форточку и подставил лицо свежему воздуху.

— Что, не нравится наша вонь? — услышал я сзади насмешливый голос.

Я обернулся.

На кровати в углу сидел мужик лет сорока и, улыбаясь, смотрел на меня.

— Ничего. Сходишь пару раз в рыгаловку и притерпишься. И здесь люди живут. Я вот ухожу от вас. Теперь только по вызовам приходите буду.

— А куда вы уходите? — спросил я.

— Как, куда? В отряд, а там, на кирпичный завод. Ремесло мне знакомое. Слесарь я, шестого разряда. За мной уже ихний главный механик приходил. Спецов-то мало. Так, одни бичи или интеллигенция вшивая. А ты сам-то кто будешь?

— Работал форматором в скульптурном цехе.

— Знаю, — улыбнулся мужик. — Повезло тебе. Там глину месил и здесь из неё кирпичи будешь делать. Родственная специальность! Ну, ладно. Я пошёл. Если что, так помни, меня Степаном зовут, Федорчуком. Ну, бывай, не мякни!

Степан вытащил из тумбочки целлофановый пакет, достал три пачки сигарет и бросил на стол.

— Дымите! От курева здесь не отваживают, и за то спасибо.

Я упал на постель и закрылся с головой одеялом. Лежа в кромешной тьме, я вглядывался в неё, словно хотел увидеть что-то крайне важное для себя. От напряжения в глазах замелькали

фосфоресцирующие огоньки: точки, линии, пятна, но они так и не сложились в понятную мне картину.

Обессиленный, я вскоре забылся.

Снился мне лес, молодой весенний берёзовый лес, когда он особенно хорош: стволы деревьев девственно белы, ветки упруги, а листва нарядно зелена и свежа. Она играет от ветерка над моей головой, мельтешит, бормочет, смеётся. Солнце сквозь листву золотыми и пёстрыми брызгами обливает молодую траву и прошлогоднюю опадь, редкие островки света колеблются на полянках, а босые ноги упруго чувствуют каждый стебелёк и каждую упавшую веточку.

Семилетний, я бегу по лесу, постукивая палкой по берёзовым стволам, бегу за шумным и нарядным праздничным обозом, где на телегах полно разнаряженных баб и мужиков. Все они под хмельком, орут благим матом, вразной: «Распрягайте, хлопцы, коней!..» Иные, соскочив с телег, пляшут на обочине просёлка под гармошку, топчут подошвами нежный земляничный цвет и метёлки подорожников. Жарко, весело, азартно плывёт праздник по лесу к месту главного сборища по случаю окончания сева — берёзовой роще возле тихой лесной речушки.

С моим приятелем Генкой Полевым мы шныряем под телегами, возле редких в ту пору машин, захваченные бестолковой суетой гульбища. Нам всё внове, занятно, интересно. Сабантуй кипит, будто котёл с хмельной брагой, готовой вот-вот выплеснуться наружу.

Под старой могучей берёзой разложил гири наш деревенский силач глухонемой Венька и бросает двухпудовки вверх одну за другой. Он гол до пояса, блестит каменными катышами бицепсов, и мы с Генкой любимеся его железной игрой. Подвыпившие мужики подходят к гилям, пыхтя, дотягивают их до пупа, смеясь, бросают и уходят пить водку к своим компаниям, которые расположились на траве среди деревьев и кустов костяники.

В открытом на все стороны кузове «студебеккера» дробно стучат каблуками девахи из соседней деревни. В толпе я замечаю тубетейку моего дяди. Он недавно демобилизовался и теперь трётся там, где табунятся девки.

Лес набит телегами и машинами, с которых торгуют всякой всячиной, в основном закуской и вином. Ларьков целая улица: добротных, сколоченных из тёса, брезентовых палаток и просто под открытым небом на столах. Продавцы с надрывом кричат и озорничают, перехватывая друг у друга покупателей. Многие из них уже пьяны со вчерашнего дня и куражатся. Волна хмельного разгула начинает свой разбег, и не дай бог, ей превратиться в повальное мордобитие. Пока ещё относительно спокойно, но уже каждый умнее всех, сильнее всех и богаче всех. Со всех сторон галдеж: «А я!.. А я!.. А я!..»

Раньше других торгашей купеческий загул овладел сельповским продавцом из заречной деревеньки. Он вдребезги пьян, офицерская фуражка чудом держится на голове, зацепившись за правое ухо, усы в пивной пене.

— Эх, налетай, подешевело, расхватали, не берут! — орёт он мокрогубым ртом и, обозлённый, что на его кураж никто не обращает внимания, начинает швырять в толпу связки баранок, конфеты, бутылки водки и вина.

Толпа свистит, гогочет, те, кто понаглее, хватают дармовое угощение. Всем безудержно весело, каждый открыт, распахнут на все четыре стороны света, каждый счастлив, — гуляй, рванина!

Мы с Генкой опасливо стоим в стороне, и под ногами у нас матово полощется брошенная ухарем-купцом бутылка водки. Но вот Генка быстро нагибается, хватая её, прячет за пазуху, и мы даем стрекача вглубь леса.

Песни, гам, крики остаются далеко позади. Мы падаем на траву. Генка достаёт бутылку. Её горлышко, оплавленное хрупким сургучом, притягивает наши взгляды. Наконец, Генка решается и с размаха бьёт ладонью по донышку бутылки, водка запенивается, но пробка не поддается.

— Если бы в сапогах были, — солидно говорит Генка, — так можно и об подошву. Но ничего, сучком откроем.

Он отколупывает сургуч, вынимает картонную пробку и начинает пить прямо из горлышка. Затем бутылка перекочёвывает ко мне, обжигающая жидкость пронзает меня всего насквозь, и глаза застилает пелена кровавого цвета тумана...

Я с трудом разлепил тяжёлые веки и увидел потолок казённого заведения. ЛТП! Ничего не изменилось, не сгнуло за ночь. Голова гудела, во рту скопилась горькая липкая слюна, будто я жевал осиновою кору. Кроватные пружины подо мной тягостно заскрипели.

— Проснулся, наконец! Надо капитану сказать, — возле кровати стоял высокий белокурый парень. — Ну, ты сегодня дал нам жизни. Главврача из дома вызывали, думали, что загнёшься. Надо же, все гардины пообрывал!

Гардины, и, правда, были оборваны и висели на спинке кровати.

Видимо, я ночью порядком покуролесил, но говорить об этом мне не хотелось, потому что ничего не помнил. Перед глазами вспыхивали и с фосфорическим треском рассыпались искрами огоньки. В голове крутилась какая-то невообразимая карусель из слов и картинок, в которых невозможно было найти ни стройности, ни последовательности. Вдруг всё, что со мной было ночью, повторится? Отчаянным усилием воли я попытался зацепиться хоть за что-нибудь, и вспомнил, что вчера разговаривал с главным врачом.

— Доктор, врач, — прошептал я, будто заколачивая гвозди в свою изувеченную болезнью память. — Капитан Попов...

Я ухватился за последние слова, и, стараясь не потерять ниточку, стал мысленно лепить портрет главного врача. Так, я вчера с ним разговаривал, он высокий, шея короткая, прямо из плеч выпирает голова, уши круглые, чуть оттопыренные, он прикрывает их длинной прической. Лицо Попова склеивалось в моей памяти из отдельных мозаичных кусочков, но иногда в

голове вспыхивала боль, и оно рассыпалось на части, которые мне с большим трудом удавалось соединить вместе. Моя работа была похожа на то, как делают фоторобот, когда из разрозненных фрагментов собирают портрет человека, которого надо опознать.

Зрительная память у меня всегда была цепкой, но сейчас она меня подводила, куда-то потерялись глаза доктора, и я никак не мог их извлечь, даже самым судорожным усилением воли, из окружающей сознание мглы.

Кто-то тёплой рукой коснулся моего лба.

— Ну, вот мы и проснулись, Конев. Как самочувствие?

Это был капитан Попов. Он присел ко мне на кровать и успокаивающе улыбнулся.

— Ничего, — с отеческой теплотой вымолвил главврач, — вы переволновались. Вам нужно успокоиться. Мы назначим вам общеукрепляющее лечение, вы отдохнёте, восстановите силы.

— А что со мной было? — спросил я. — Этой ночью...

— Так, пустяки, — бодро ответил капитан. — Не вы первый, не вы последний. Жизнь, которую вы вели в последнее время, мягко говоря, не способствовала укреплению ваших сил.

— А это, — я попытался найти подходящие слова, — не повторится?

— Не думаю. Не должно повториться. Вы обязательно выздоровеете.

Попов что-то сказал медсестре и поднялся с кровати. Женщина подошла ко мне со шприцом, мазнула руку спиртом, который противным запахом резанул меня по ноздрям, и поставила укол.

Через несколько минут на меня накатила приятная волна покоя и умиротворённости. Окружающие меня люди отодвигались вдаль, размывались, пока не исчезли совсем.

Последние месяцы я прожил в пьяном кураже. После провала на выставкоме моей скульптурной композиции, которую я хотел представить на ежегодной областной выставке, у меня

опустились руки. Пусть я работал обыкновенным форматером в скульптурном цехе, и моё дело было простым — увеличивать бетонное поголовье памятников, которыми обзаводились даже самые глухие деревушки области, но я знал, что моя первая самостоятельная творческая работа была неплохой. До меня ещё никто не использовал форму противотанкового «ежа», чтобы переплести воедино две фигуры павших солдат и третью — рвущуюся ввысь Победу.

Я бился над этой композицией два года, наконец, сделал удовлетворивший меня эскиз, а выставком, эти обременённые спесью и почётными званиями маститые художники, лишь мельком глянули на неё и отвернулись.

— Бред какой-то! Без художественного образования, а пытается что-то сделать!

Моя творческая судьба решилась в одну минуту, и я задумался, как жить дальше? Тридцать восемь лет, незаконченный индустриальный институт, жена, дочка, форматер и скульптор-самоучка. Я сидел в скульптурном цехе, где пахло сырой глиной, и тосковал. «Вот и всё, — подвёл я итог, — к чему я пришёл, и стоило ли из-за этого надирать душу?»

Меня точно кинули в полынью, чтобы я там понял, какой мне уготован в жизни шесток. Я всегда был великим путаником, склонным к завиральным идеям, и спотыкался там, где другие шли и не глядели себе под ноги, а для меня обязательно находилась ямина или кочка. Так получилось и с моим эскизом.

Однако нашёлся и добрый человек, после выставкома ко мне подошёл скульптор Стекольников:

— Не горюй, Иван! Мы с тобой и без них пристроим твою работу. У меня есть один колхоз на примете. Тамошний председатель давно мечтает занять памятник, но не такой, как у всех. А работа твоя отменная, это я тебе говорю.

Памятник для колхоза с помощью Григория Аверьяныча я поставил. В две натуры — достойный получился монумент. И деньги хорошие получил. Жить бы можно, но во мне что-то

надломилось с того злополучного выставкома. Мужики травят анекдоты, всем смешно, а мне грустно. Смотрю на жизнь, на людей, на деревья, на цветы, на облака, на звёзды, и нет у меня ни к чему прежнего живого интереса, ржавчина какая-то в душе завелась, и сквозняком стало её обдывать, будто она высунулась наружу.

Я и к жене тоже потерял всякий интерес. Иногда сижу дома, Зинка на кухне что-нибудь готовит, пройдёт туда-сюда, а я смотрю и думаю, а зачем это всё мне, какая-то посторонняя баба ходит, что-то с меня требует?.. И дочка туда же. Ещё год, другой в понятие женское входить станет и отшатнётся от меня, возьмёт сторону матери. И так уже сидят вечерами и всё талдычат о платьях, кофточках и прочей ерундистике.

Не понимал я тогда, дурень, что это не тоска ко мне стучится, а беда ломится, да ещё какая. И раньше вино лилось, а после неудачи с выставкомом стал я всё чаще выпивать. Не то чтобы в большую охотку пил, но и без отвращения. Выпьешь, вроде, отмякнешь душой, жить вроде хочется, и на сердце не пасмурно.

– 4 –

В палате нас шестеро. Двое — совершенно бесцветные личности, вялые, как промокашки, и бледно-зелёные на цвет. Они, получив свою лечебную дозу, всё время молчат, даже телевизором не интересуются, сидят или лежат на своих койках, зябко кутаясь в одеяла и халаты, хотя уже начали топить и в палате жарко.

Трое других — каждый со своими вулканчиками. Михайлыча, например, затаскивали в палату два дюжих прапорщика. Когда его привезли, он упал возле контрольно-пропускного пункта и заорал: «Не пойду! Везите на зону! Не буду в блевотине валяться!»

Так и доставили его в палату, где волоком, где на руках несли, помыли кое-как и уложили на койку, привязав бинтами, чтобы не трепыхался.

Михайлыч был забубенным «бакланом» или хулиганом, который всю свою сознательную жизнь только тем и занимался, что сидел в лагерях за хулиганку. Всему виной был его задиристый и неуступчивый нрав, который после очередной вспышки неминуемо подводил его к уголовной статье.

Прослышав, после бурного вселения в больничку, о его прибытии, Михайлыча стали навещать старые кореша по лагерным зонам, а их в профилактории было около трети от всех принудбольных. Спившиеся с круга карманники, форточники и другие воровские «специалисты», которые из-за бухалова утратили свою преступную квалификацию, превратились в алкашей, неспособных совершить уже даже самую элементарную кражу варенья из соседского погреба.

Михайлыч знал их по совместным отсидкам. И пошли у них тары-бары, кто, где сидит, а кто откинулся, с распальцовкой, на лагерной фене. Послушаешь со стороны — каждое третье слово едва поймёшь, а им всё понятно, и правда — это свой мир, свои законы, устойчивость которых не может сломать даже колоссальная машина правосудия.

Преимущества зоны перед ЛТП Михайлычу были понятны:

— Там себя человеком чувствуешь. А здесь, — он махнул рукой, — как шнурок, болтаешься. Нашему брату здесь делать нечего, этот загон для таких, как вы, сявок.

Не в последнюю очередь Михайлыч имел в виду Костю, довольно известного в нашем городе бывшего хоккеиста. Костя играл за «Волгу», которая выступала в высшей лиге по хоккею с мячом. Я знал его и раньше, но только издали, с трибуны стадиона. Он вихрем носился по ледяному полю, частенько забивал, но пришло время, и ему уже стало трудно угнаться за молодыми.

— Один ляп я сделал в своей жизни, — говорил Костя, — женился на профуре. Пока играл, были деньги на подарки. Шуба

чтобы у неё не меньше, чем за тысячу, кольцо — не меньше пятисот. Гарнитур мебельный, машина, квартира. Мне, дурню, пока играл, хотя бы педуху закончить. Ушёл из команды — ничего не умею. В детском парке инструктор — восемьдесят рэ. После шальных бабок сразу почувствовалось. Раньше эти восемьдесят и за деньги не считал, а теперь целый месяц надо притворяться, что работаешь.

Пить Костя начал в команде. То победу отмечали, то поражение запивали. Я всегда замечал, что игровики — хоккеисты и футболисты — спиваются гораздо быстрее, чем, например, штангисты. Причину этого наш пан-спортсмен объяснил просто:

— Штангисту не за кого прятаться. Вышел на помост — и поднимай железяку. А у хоккеиста есть возможности, ну, скажем, игра не пошла, поди, догадайся, что я мячик не вижу с перепоя.

Раньше, куда Костя ни заходил, двери перед ним раскрывались настежь. Сам Бабай, первый секретарь обкома партии, приглашал команду к себе, угощал зелёным чаем, расспрашивал, чем помочь. Выйдя в тираж, Костя стал никому не нужен и почувствовал это сразу. Команда то на сборах, то на выездах, а он один в парке с пацанвой. Вот и не выдержал Костя, размяк, начал крепко попивать, а потом и пустился во все тяжкие. Из квартиры стали исчезать радиоаппаратура, книги, кубки...

Приехала тёща, и Костина жена после нескольких безобразных скандальных сцен, свидетелями которых были соседи, менты и ребёнок, написала заявление. Суд, где за Костю вступилась спортивная и околоспортивная общественность, проявил снисхождение и приговорил его к году принудительного лечения от алкоголизма.

Содержание в больничке, не в пример Михайлычу и мне, Костя переносил без видимых душевных потрясений. С утра, пока мы ещё валялись на больничных койках, и вяло

соображали, вставать нам на умывание или нет, Костя в коридоре делал физзарядку и входил в нашу палату на руках.

— Циркач, чисто циркач! — улыбаясь, говорил Ерофей Кузьмич Бывалин, мой сосед по койке, священнослужитель в отставке, считавший себя репрессированным за веру:

— Я ведь в попы по случайности попал, поскольку любил читать что-нибудь замысловатое, в том числе и Библию, — рассказывал Бывалин, улыбаясь в бороду. — Село наше Лоскутово с полтыщи дворов, да и рядом Годяйкино, Репное, почитай столько же. После войны сильно верующий был народ, как же — смерть, страдания вокруг, а сверху начальство кулаком по столу стучит, или за кобуру хватается, если что. Ну, а церковь-то закрытая. Собираются по избам, псалмы поют, молятся, Библию вслух читают. Вот и я стал интересоваться. Разговор у меня чистый, да и с чувством могу прочесть, особенно если история трогательная, про Иова, проповеди Христовы, деяния апостолов. А, надо сказать, была у нас одна старуха в Лоскутове, голова — ума палата, что там тебе министр иностранных дел. Эта старуха в пятидесятом году и подбила народ написать Сталину, чтобы позволил открыть в селе храм. Так и вышло по её, только не совсем: церковь открыли, а Макаровну власти неизвестно куда уперли за бидон бражки, который у неё нашли в чулане.

Приехал архиерей, народ к нему гурьбой повалил как на демонстрацию, а он всех благословил и говорит, что некого ему на приход ставить, кроме отца Владимира, коему уже шёл девятый десяток. А из толпы кричат, что есть де у нас ему помощник и меня называют. Так я и прилепился к храму, учился всему у отца Владимира, а когда он отдал богу душу, то архиепископ Геннадий рукоположил меня во священники и пробыл я в оных двадцать лет, до семьдесят второго года.

— А кто тебя Ерофей Кузьмич рукоположил в ЛТП? — усмехнулся я.

— Типун тебе на язык, — обиделся старик. — Грешен я стал в винопитии, а тут и сёстры подсобили, затеяли против меня суд

по разделу имущества. К тому времени я уже был от храма отставлен, и меня заместил молодой выпускник семинарии. А врагов имелось — вся верхушка района. Когда был в полах, не трогали, а стал простым советским человеком, так и не забыли отомстить. Сестёр подговорили написать заявление, ну, дальше дорога у нас сюда у всех одна и та же.

Удивительно, что, несмотря на почтенный возраст, была в отставном священнослужителе располагающая к нему безалаберная открытость. В карантине он не унывал и вёл себя так, как будто с ним ничего особенного не случилось. Едва появившись в палате, маленький, остроносенький, похожий всем своим обликом на суетливого серого, присыпанного дорожной пылью воробья, он сразу же со всеми перезнакомился, рассказал о себе, и стал проявлять неназойливое сочувствие. — Эх, как вас, молодой человек, угораздило, — сказал Бывалин мне. — Господи, какие тягости приходится нести людям! Вразумилище ли обитель сия? Достойно ли имени человеческого пребывание здесь?..

— Зачирикал воробышек бородатый, — прохрипел Михайлыч, зарываясь перебитым носом в подушку. — Вот пойдёшь вниз с тазиком на рыгаловку, получишь вразумилище под самую завязку.

— Так что же вас привело сюда? — продолжал невозмутимо расспрашивать Ерофей Кузьмич.

— Случайно, — пробормотал я первое, что пришло мне на ум.

— Ах, случайно! — воскликнул Бывалин. — Да понимаете ли вы, что попали в самую, что ни на есть точку! В самое яблочко! В том то и дело, что случайно...

Я молчал, меня совсем не интересовала философская подкладка всего со мной случившегося. Случайно или закономерно, но я нахожусь здесь, в нескольких десятках километров от дома, в казённом больничном здании, и назад, в прежнюю жизнь у меня отрезаны все пути.

На улице стремительно темнело, зажглись фонари. Они скрипели и мотались на ветру, светлыми полосами расчерчивая потолок и стены нашей палаты, и она как будто плыла сквозь этот бесстрастно мечущийся холодной свет. И вместе с ней плыли мы.

— Вам сколько определили? — встрепнулся Ерофей Кузьмич. — Тоже два года? Только не отчаивайтесь. И это пройдёт, и это минет.

— Гады! Ах, гады! — заскрежетал зубами Михайлыч и соскочил с кровати. Качающиеся полосы света высветили его изломанное приступом бешенства лицо. — Всем башки порасшибаю, но отсюда уйду!

Он рванул на груди халат и пуговицы с сухим треском полетели на пол. Михайлыч ринулся к окну и с размаху прошиб стёкла двойных рам. Его руки сразу почернели от крови. С грохотом, осыпав всех битым стеклом, вывалилась внутренняя рама. Наружную Михайлыч вышиб ногой и ринулся вслед за ней со второго этажа.

Всё это произошло так быстро, что никто из нас толком не смог сообразить, что же делать.

В коридоре затопали сапогами, захлопали дверями, заорали, и у меня возникло такое ощущение, что по всему зданию прошла нервная судорога.

— Ну-ка, марш отседова в восемнадцатую! — скомандовал нам дежурный прапорщик, появляясь на пороге.

Натянув на себя халаты и захватив курево, мы пошли в другую палату. В ней была занята всего одна койка, на которой сидел наголо остриженный парнишка, совсем ребёнок. Звали его Вова, о чём свидетельствовала грязная наколка на тшедушном запястье.

Рассказав про случай в нашей палате, Ерофей Кузьмич размотал и Вовину историю.

Ему, как выяснилось, было всего восемнадцать лет и две недели от роду. Эти две недели своего совершеннолетия он провёл под конвоем: после дня рождения, который

ознаменовался грандиозной пьянкой, юбиляра задержали, потому что не только Вова ждал эту торжественную дату, но и милиция, и, конечно же, соседи, которых он извёл своими ежедневными попойками и скандалами.

Худосочный плод скоропалительной любви, Вова вечно мешал матери, которая, как он выразился «была бабеч в норме». За восемнадцать лет он видел её всего несколько раз, жил с бабушкой, которая умерла, когда ему исполнилось шестнадцать лет, и Вова остался один в квартире. Деньги от матери приходили исправно, то из Норильска, то из Анадыря, то из Магадана, и довольно много денег, которых ему хватало для того, чтобы пить самому и поить своих дружков и подружек. К совершеннолетию Вова узнал вкус всех спиртных напитков, продающихся в магазинах, всех аптечных и хозмаговских суррогатов, умело запаривал маковые головки и изредка кололся, когда удавалось перехватить по случаю наркотики.

— Как же такое можно? — недоуменно спрашивал Ерофей Кузьмич. — Ведь от этого можно смертельно поразиться?

— Ничего ты не петришь, дедуля, — рисовался Вова, раскинувшись на кровати. — Хочешь, я и здесь тебе колёса сделаю. Первое — марганцовка, второе — эфедрин, третье — уксусная эссенция. Тридцать минут времени — и ты уже балдеешь в раю.

— А наш капитан Попов знает про это? — спросил Бывалин. — Про то, что ты колешься?

— Конечно, знает, — ответил Вова, закатывая рукав больничной рубашки на левой руке. — Эти метки ничем не скроешь.

От локтевого сгиба до кисти руки была изъязвлена зарубцевавшимися нарывами от грязных шприцов, которыми Вова делал себе уколы.

— Эх, жизнь пошла! — завздыхал Ерофей Кузьмич. — Нарочно не придумаешь. И что это за жизнь пошла, когда каждый норовит себе вдребезги башку расшибить?

На огонёк к нам в палату забрёл какой-то старожил больничного стационара. Он попросил закурить и сообщил, что Михайлыча с переломом ноги увезли на «скорой помощи» в районную больницу.

— Не он первый. И до него у нас тут были парашютисты. Да толку от этого нет. Одни переломы да сотрясения. Тут лучше не прыгать, а то допрыгасса...

До чего можно допрыгаться, он уточнять не стал, но и без этого мне за неделю пребывания в ЛТП многое стало понятно.

Это была тягостная бессонная ночь. Я ворочался с боку на бок и никак не мог найти себе места, чтобы не слышать ударов сердца, его тяжёлого и отпугивающего сон туканья. Тугие удары крови били меня по вискам, а перед глазами в бешеном темпе прокручивались отрывки самых разнообразных видений, остановить которые я был бессилён. Внезапно мной овладел безотчётный страх. Я боялся не окрика, не удара, не чего-то ещё, что причинило бы мне физическую боль. Был просто страх, от которого немела грудь, пересыхал язык, а по телу ползали мелкие противные букашки.

Вдруг я с испуганным удивлением обнаружил, что смотрю на себя со стороны. Неведомо от чего это произошло, но между тем человеком, кто был мной и лежал на кровати и тем, который думал о нём, этом человеке, обозначилась нечёткая, но явственная граница. И вдруг я особенно остро почувствовал, — мы стали разными людьми и приглядывались друг к другу с настороженным удивлением, не понимая, как мы живём вместе и почему нам досталась общая оболочка. Это состояние длилось недолго, но поразило меня до глубины души, как предчувствие чего-то неизбежного и ужасного, что непременно на меня вскоре обрушится.

Резко выдохнув, я последним усилием воли заставил себя понять, что во всём виновата болезнь, но раздвоение было слишком очевидным, это был редчайший случай разрыва того, что представляло собой моё обездвиженное и почти чужое тело

с отделившимся от него на миг болезненно подвижным сознанием.

Я зажмурил глаза. Чертовщина раздвоения исчезла, но где-то в глубине крошечной тьмы вспыхнул тоненький иголочной остроты огонёк и стал быстро приближаться, разбрызгивая во все стороны потрескивающие искры.

Отбросив одеяло, я приподнялся и сел на койке.

— Что, бесы мучают, милый? — тихонько спросил Ерофей Кузьмич.

— Какие бесы? Нет никаких бесов. Потею вот, будто вши по телу бегают, и заснуть не могу, огоньки в глазах, как электросварки нахватались.

— Это всё они, бесы виновные. Я вот тоже не сплю. Я думаю. Вы думаете?

— Нет, давно уже не думаю. Живу, как живётся.

— Вы никогда не тонули? — помолчав, проворковал Кузьмич. — И не пробовали тонуть? Я тоже нет. Но мне один старичок рассказывал, исповедался можно сказать, нет его, царствие ему небесное... Вот Михайлыч давеча в окно сиганул — это у него от болезни, потому что стен боится Михайлыч, это приступ тюремной болезни... А старичок мой с молодых лет у реки жил, такая спокойная пространственная река. Смущала она его шибко. Не знаю, говорит, точно, чем она меня смущала, но не могу на неё спокойно смотреть. Как вечер, говорит, так и тянет на берег. Сядет на прибрежный камушек и смотрит на воду. А вода идёт себе и идёт, а тут звёзды проклюнутся, и от этого у него сильное беспокойство на душе возникало. Не выдержал он однажды, разделся, шагнул в воду и поплыл. Далеко заплыл, стемнело уже и берегов не видно. Звёзды и вода текучая. Бросил он грести, раскинул руки, несёт его по течению, а грудь, говорит, млеет от восторга небывалого, слов никаких нет, одна радость великая, блаженство неизреченное. Долго ли коротко он так забавлялся, пока не хлебнул воды и проснулся в нём страх. Заорал благим матом, вытащили его рыбаки. Года два

не подходил к воде, а потом опять. Так всю жизнь промучился, пока не утонул, а тайны своей не разгадал.

Ещё что-то бормотал Кузьмич, но я уже спал мутным беспокойным сном, в котором, гримасничая, кувыркалась моя суматошная жизнь. И в который раз я с ужасом и удивлением просматривал её, будто со стороны, хотел от неё отвернуться, но, увы, она тарачилась на меня из всех углов и закоулков памяти.

Михайлыч ногу не сломал, а крепко вывихнул и через день вернулся в палату. Вместе с ним санитар привёл рыжего мужика и очень перед ним прогибался: и матрас на кровати заменил на более пышный и мягкий, и подушку взбил, и тапочки нашёл для рыжего почти не ношенные, и халат ему выдал новый, с белым шалевым воротником.

Костя за всем наблюдал, и когда санитар вышел из палаты, подмигнул мне и приблизился к новичку, который настороженно к нему присматривался.

— Нехорошо, брат, в молчанку играть, у нас это не принято. Я, к примеру, Костя, в хоккей мячиком чиколял, может, меня знаешь?

— Я не болельщик, — сказал новичок.

— Всё равно, давай поручкаемся. Тебя твои друзья как зовут?

— Лев Давидович.

— Вот как! — присвистнул Костя. — А проще тебя можно называть. К примеру, по фамилии.

Рыжий отвернулся к стене и замер. Костя походил по палате, повздыхал, и по искоркам в его смеющихся глазах было видно, что молчание новичка его задело и раззадорило.

— Слышь, Лев Давидович, а фамилия у тебя есть?

— Вот репей! — Бывалин отложил в сторону газету. — Фамилия — не рупь, её не спрячешь, сам скажет.

— Он же молчит! — картинно расставил руки в стороны Костя. — Слышь, брат, может, твоя фамилия тебе не по вкусу,

но ты в этом не виноват, все мы носим фамилии не по своему выбору.

— Может у него погоняло, неподходящее для зоны, — прохрипел Михайлыч. — К примеру, Сукин.

— Нет, вы меня достали! — вскинулся на кровати новичок. — Ну, Бронштейн я, Бронштейн! Есть кто-нибудь против?

— Окстись, парень, — укоризненно произнёс Ерофей Кузьмич.

— У меня прихожанин был Кацман, достойный христианин.

— Евреи они не только умные, но и храбрые, — счёл нужным заметить я.

— Ну, это евреи, — усомнился Костя. — А он, какой еврей? Рыжий как огонь, от башки хоть прикуривай. Разве рыжие евреи бывают? У тебя, дедуля, твой Кацман, какой был масти?

— Чернявый.

— А этот рыжий! Да и как еврей мог залететь в ЛТП?

— Здесь ограничений по национальности нет, — сказал я. — Это не КГБ и не дипломатическая академия. Здесь пятый пункт не работает.

— Слышь, Лев Давидович, — ослабился Костя. — Тебе про свою беду надо в Тель-Авив стукнуть. Пусть тебя на нашего разведчика обменяют.

— Может, его за пьянку из евреев уже вычеркнули? — хрипло хохотнул Михайлыч.

— Это ты зря, — заметил Бывалин. — Евреи своих в беде не бросают. Да и алкашей среди них не бывает.

— Как это не бывает? — вскрикнул Костя. — А это кто? Он ведь против своего еврейства не возражает. И правильно. Не бзди, Лев Давидович, самое большее через полгода тебя отсюда свои вытащат. Слияешь за бугор, будешь косить под диссидента и срубить налево и направо баксы. Может я тебя ещё услышу по радио «Свобода», как ты вякаешь про наш родной ЛТП. Обещай, что и нас вспомнишь.

— А на хрена, пан-спортсмен, про нас вспоминать? — прохрипел Михайлыч.

— Тебе что, не хочется всемирной славы? — удивился Костя. — Нам до радио «Свобода» не дотянуться, а Льву Давидовичу это вполне под силу.

На этот раз Бронштейн вскочил на ноги и, пылая возмущением, воздел к потолку сжатые кулаки.

— Вы меня достали! К моему великому горю, я не еврей и никогда им не был, как и все мои предки.

В палате воцарилось молчание. Лев Давидович обнародовал новость, которая всех нас смутила.

— Но почему ты Бронштейн? — удивился Костя. — С какой крыши на тебя свалилась эта фамилия?

— Это от деда. Он родился Стёпкой Шаньгиным, а, вступив в комсомол, стал Львом Давидовичем Бронштейном, то есть Троицким. И сына своего назвал Давидом и меня — Львом.

— Значит, фамилия у тебя не еврейская, а революционная, — глубокомысленно изрёк Костя.

— Выходит, что так, — обречённо вымолвил Лев Давидович. — Ещё вопросы есть?

Через несколько дней на утреннем обходе капитан Попов, осмотрев меня, сказал, что с сегодняшнего дня нужно приступить к основному лечению.

— Я знаю, что вы мне хотите сказать, — предупредил он готовый вырваться у меня протест. — Что вы здоровы, что к водке вас не тянет и не будет тянуть. Увы, но это не так. Мы обязаны вам помочь выработать установку на отвращение к спиртному. Так что не обессудьте. В шестнадцать часов проведём первый сеанс.

Так началось то, о чём, и вспоминать не хочется. Каждый день в течение месяца я получал укол, потом брал в руки тазик и шёл в соседнее помещение, похожее на баню, где с отвращением выпивал полстакана водки и ждал, когда меня начнёт тошнить отвратительно воняющей слизью. Сердце моё трепыхалось по-лягушачьи, руки и ноги наливались то холодом,

то жаром, и временами было так плохо, что, казалось, сама смерть опалает своим дыханием душу, а водка пахнет могилой.

Курс лечения был целенаправленной дрессировкой, которую не выдержало бы ни одно животное, ни один даже самый сильный зверь. Но мы были людьми, и болезнь наша была человеческой.

Увильнуть от «рыгаловки» не было никакой возможности. Но внутренне я сопротивлялся всему, что со мной делали, и лишь громадным усилием воли подавлял в себе готовый вырваться наружу протест.

По ночам, когда от сердца понемногу откатывала тяжесть, я ощущал уже не приливы ярости, а тоскливую жалость к самому себе и ничем не заполненное чувство одиночества. Именно в эти бессонные часы я вёл безжалостный счёт всему, что со мной случилось в жизни, счёт всем своим поражениям и ошибкам, которые в конечном итоге загнали меня сюда, в зону изгоев. И в эти часы чаще и больше других мне вспоминался день, который как я понял только теперь, оказался для меня роковым.

– 5 –

Почти до тридцати лет дожил я без особых надежд и планов, словно катился по наезженной колее: утром на работу в аккумуляторную, включаю дистиллятор, чтобы вода была, и за книжки, вечером — в институт. Меня не трогали, не тормозили. На машиноиспытательной станции, попросту — МИС, тракторы, комбайны все новые, и для меня работы было немного.

В своём закутке я устроил письменный стол, поставлю аккумуляторы на зарядку и готовлюсь к занятиям в институте.

Начальник мастерской порой заглянет, потопчется на пороге и смоеется по своим делам. Иногда Коля заходил, столяр. Фантастической смекалки был мужик на всякие шашапки.

Глухонемой кузнец Клим заходил. Вот, собственно, и весь круг моих приятелей.

А за окном весна стала проклёвываться. Воробьи зачирикали, солнышко в лужах отразилось. А тут ещё Валя, откуда ни возьмись, объявилась, в лабораторном корпусе стала работать. Мне интегральные схемы надо зубрить, а у меня к ним никакого интереса. Возьму книгу, а удержать не могу. Брошу на стол и начинаю ходить из угла в угол.

В окне сырость, на потолке сырость, в углах плесень — зачем живу?.. И в душе пустота стала расширяться, вроде бы малюсенькая сначала была, с напёрсток, а потом, чувствую — в груди яма и ветер.

С аванса взял две бутылки «перцовки» и сначала зашёл к Николаю. Он как раз дрелью клей «БФ» прокручивал, чтобы употребить вовнутрь.

— Брось своё безнадёжное дело, — сказал я столяру и поставил бутылку на верстак.

Но он был настойчивый, стервец. Вытащил сгусток какой-то дряни на палочке из банки, остаток слил в литровую банку и поставил в тумбочку.

— Давай бочки делать, — сказал он. — На посёлке каждая баба бочку с руками оторвёт. Я уже фрезу заказал, чтобы клёпку гнать.

— Слушай! — сказал я. — Что-то тягостно мне, прямо душу всю высасывает.

— Это у меня было, — вздохнул Николай. — Когда первый срок доматывал. Один мужик помог. Ты, говорит, спрячься где-нибудь и поплачь.

— Ну и как?

— Залез в обед на крышу, пока бригада в карты дулась, выревелся и спокойно досидел.

— Но я ж не в тюрьме.

— А какая разница? — изрёк столяр, опрокинув вслед за мной стакан «перцовки». — Как в песне поётся: нынче здесь, а

завтра там. Бабу тебе надо. Живёшь один, вот дурь и прёт, согнать её некуда.

— Ладно, философ! — засмеялся я. — Лакай свой бээф, а я к Климу зайду...

В мастерской самое обжитое место — кузница. В просторном общем помещении, от одних полуразбитых ворот до других, гуляют острые, как комариные жала сквозняки, на полу бугры осклизлой грязи, натекает из-под тракторов, а в кузнице — благодать! Попыхивает горн, пахнет угольной пылью, стучит молот. В мастерской есть курилка со столом, оббитым нержавеющей, чтобы слышнее звучали костяшки домино, но мужики предпочитают курить в кузнице. На целый день прикипают к берёзовым чурбакам, которые вместо табуреток стоят вдоль прокопчённой стены, пока начальник не турнёт их к трактору или комбайну.

В кузнице Клим был не один, а с Федькой, который только и выжидал момента, чтобы плюнуть на наковальню. Это была шутка, но Клим злился страшно, потому что при ударе раскалённого железа на влажном месте происходил резкий взрыв, и это больно било глухого кузнеца по слуховым перепонкам.

И в этот раз Федька, плюнув на наковальню, подвинулся ближе к двери. Клим положил раскалённую полосу на наковальню, ударил, раздался взрыв. Немой замычал и швырнул скобой в Федьку, но тот уже был за дверью. Клим покрутил пальцем у виска и сплюнул в сухую зольную пыль. Говорить он не говорил, но матерился довольно внятно.

За пару лет знакомства мы научились понимать друг друга. Он любил рассказывать о себе, и я знал историю его жизни. Речь и слух он потерял от испуга во время пожара на нефтебазе ещё до войны. Баки с бензином рванули так, что посёлок, где он жил, разровняло подчистую. Больше всего Клим любил вспоминать о войне, когда на всю округу остался единственным мужиком. Ходил по деревням, лудил, паял, кузнечил. Заодно, как деревенский пастух, которого кормят по очерёдности,

обходил всех желающих баб. Немота Клим многим бабам была на руку — не проболтается, если чего. Так и прокантовался всю войну, но уже после получил срок, за убийство в драке, бугай он был здоровенный. В лагере кашеварил, потом кузнечил в колхозе, на заводе, а сейчас был на пенсии и подрабатывал в мастерской.

Поллитра «перцовки» Клим ввинтил в себя одним махом, похлопал себя по грязному животу и поднял большой палец. Хорошо, мол, почаще бы только!

Я закурил и сел на берёзовый чурбак у стены, уже заранее зная, что он будет рассказывать о жене, которая отбирает у него все деньги, о приёмном сыне, требующем свою долю стариковской пенсии, о врачах, перед которыми благоговел, и таблетках, употребляемых им в немыслимых количествах.

Закончив разговор, Клим показывал кузнечные фокусы: целовал кувалду, вывернув её одной силой кисти, лизал раскалённое железо — это уже в благодарность за выпивку. А может быть за участие? Он был одинок, этот жалкий старик, в которого уголь и окалина железа въелись подобно каиновой печати, и похоронят его таким, в саже и копоти. Да и похоронят ли? Может, приедут чужие люди, завернут в мешок, бросят в кузов и отвезут в общую яму в углу кладбища, где закапывают всяких бродяг, а потом заровняют бульдозером.

О чужой судьбе судить несложно, но своей не ведает никто. И понимание этого всегда обжигало мою душу отчаянной пустотой и безысходностью, особенно после смерти матери, когда я остался один на один с необходимостью решить, как мне распорядиться собой. К этому меня поторапливала не только жизнь с её суматошной беготней, чепухой спешки, но и что-то другое, пока ещё неизвестное мне, но уже начавшее подкатывать к сердцу колючим холодком.

К счастью, человек никогда не остаётся один, и даже если у него нет настоящего и будущего, то всегда до последней минуты с ним пребывает его прошлое, от которого никуда ему не уйти. Временами оно выплывает из памяти, волнуя сердце, и,

кажется, что ты не из прошлого вышел, а из какого-то морока, похожего на весенний туман — снегоед, дожёвывающий остатки сугробов по укромным местам, где ещё прячется зима. И позади человека туман и впереди туман. И жизнь — это всего лишь короткая прогулка по солнечной поляне из одной непроходимой чащи в другую. И всё-то есть на этой поляне: и свет, и тьма, и цветы, и задубелый репейник, и тропок на ней видимо-невидимо, а всё же ты идёшь своей и на другую ни за что не перепрыгнешь.

Тем вечером в институт я приехал рано, потолкался в библиотеке, сдал книги, полистал «Огонёк» и двинулся по коридору в свою аудиторию. Ну, конечно же, Зинка стояла на лестничной площадке. Мы закурили. Она подняла на меня серые глазищи и спросила:

— Мужчина, вы о ком грустите?

Это её манера выражаться, чёрт бы её побрал, где только нахваталась? Наверно, в своей лаборатории, там уйма всяких пижонов.

Зинка дурачилась, она с вызовом смотрела на меня и, покачивалась растомлённым от долгого сидения и скуки телом. Я подозревал, что бездельничая весь день за лабораторным столом, Зинка только тем и занимается, как выдумывает, чем бы меня огоршить. Мы знакомы с ней второй год. Эту зиму она посвятила прикладной философии, суть которой сводилась к взаимоотношению полов.

— Женщина должна быть слабой. Она себя должна чувствовать немножечко рабой мужчины, — выступала Зинка. — Но только немножечко. Чуть-чуть. Но мужчины такие хамы. Не обижайся, Ваня, я не про тебя говорю, но почему им всегда сопутствует хамство?

— Просто они чаще, чем женщины, говорят правду, вот и создаётся впечатление невоспитанности. Вежливость сама по себе — производное ото лжи.

— Даже так? — нервно хохотнула Зинка. — Откуда у тебя такая строгость к слабому полу?

— Это тебя не касается, — подсластил я ей неуклюжим комплиментом. — Слушая тебя, я всегда уверен, что ты говоришь только правду.

Зинка закусила нижнюю губку и испытующе на меня глянула. Я покорно сыграл с ней в гляделки, нисколько не досадуя на то, что она использует для самозащиты дешёвое кокетство. Им Зинка пыталась скрыть своё смущение, и в отношениях со мной избрала маску «опытной женщины», что меня весьма забавляло и устраивало, потому, что позволяло сохранять в наших отношениях известную дистанцию. Я догадывался, что Зинка ждёт от меня большей решительности, но на это я пока что не был способен, и всякий вспыхнувший порыв гас во мне, не успев разгореться.

На восьмое марта мы группой собрались вместе. Немного выпили, от этого стало как-то веселее и оживлённее. Включили магнитофон. Зазвучало танго, медленное и расслабляющее. «Что-то вроде ликёра», — определила Зинка. Она пригласила меня танцевать. Ничего особенного не случилось, но Зинка всю неделю дулась, а потом как-то очень скучно сказала, что я такой здоровый и сильный, а с женщиной танцую, будто это не женщина, а бутылка с серной кислотой.

С тех пор и повелись у нас с ней такие странные отношения, которые бывают между людьми, которые узнали друг друга до последних изгибов характера, уже почти расстались, но ещё не разошлись навсегда. Я себя чувствовал виноватым перед Зинкой, она — обиженной, и её-то я понимал. В тот вечер она предлагала всё и получила почти отказ.

— У меня есть идея, — заявила Зинка, и не успел я ответить, как она повлекла меня вниз по лестнице.

— Куда ты меня тащишь?

— В кино! — нервно хохотнула она. — Говорят, что фильм про любовь, как раз то, что надо.

Выпитая «Перцовка» весело зашумела у меня в голове, и я не устоял перед тем, что мне было обещано.

— В вечернем институте можно учиться всю жизнь, — сказал я. — А кино, особенно про любовь, как сказал великий вождь, является важнейшим из искусств.

Зинка не была красавицей, но в ней было что-то такое, что привлекало внимание мужчин. Я ловил эти откровенные, брошенные второпях взгляды, они мне нравились и не нравились, но Зинка, казалось, их не замечала. Она ловко, не отодвигаясь от меня ни на миллиметр, лавировала между прохожими и поглядывала на часики.

Билеты Зинка взяла заранее. Мы протиснулись мимо билетерши, походили по фойе, разглядывая фотографии актёров, выпили тёплой шипучей воды в буфете и купили мороженого.

Зинка меня не обманула: кино было про любовь. Он и она на фоне индустриального пейзажа. Он женат, работает в какой-то закрытой лаборатории, занят по горло всякими научными проблемами, о которых говорится, походя, вскользь. Она — инженер, очень умная, кроткая, но невезучая на мужиков. В лаборатории последовал взрыв. Он, пострадавший при аварии, попадает в больницу, куда она бежит сломя голову. Словом, учитесь быть добрыми.

Концовка фильма была ясна как божий день. Старая жена получила отставку. А он с новой едет осваивать дальние края, начинать новую жизнь.

Следя за ходом действия на экране, я поглядывал на Зинку, которая уютно откинувшись на спинку кресла, взасос переживала происходящее и, казалось, ничего не замечала вокруг себя. В зале было жарко, и на верхней губе у неё выступили мелкие бусинки пота.

«Собственно, она неплохая девчонка, — думал я. — Но что меня останавливает? Она мне нравится, она красивая, добрая. Так что, я бегу от неё или от судьбы?»

На улице похолодало. Зинку начала бить мелкая ознобная дрожь, и она плотно взяла меня под руку. Мы медленно шли по улице, охваченные предчувствиями, которые с трудом

переводятся на человеческую речь, а если и переводятся, то сразу теряют половину своего смысла и силы.

Крупные влажные звёзды висели прямо над нами почти на уровне затуманенных морозом фонарей. И от этих безмолвно звучащих звёзд, от заиндевелых веток тополей, от воздуха, пропитанного морозом, хотелось петь и плакать, потому что вдруг пала стена одиночества, которой окружала нас жизнь и которой окружали мы себя сами, и воцарилась нерушимая тишина, внезапно захватившая и объединившая нас.

— Поцелуй меня, — сказала она.

Звёзды отразились в её глазах, запрокинутое вверх лицо побледнело и застыло, на нём жили только губы, горячие и вздрагивающие.

Мы долго стояли, прижавшись друг к другу. Зинка плакала. Горячие слёзы текли по её холодным щекам, она не вытирала их, а только слизывала с губ.

— Ничего, ничего, — шептала она. — Это я так, просто так. Сейчас пройдёт. У меня сегодня день рождения, понимаешь, и никто меня не поздравил. Даже ты... Мама уехала в командировку.

И мы пошли к ней.

Ночью повалил густой и липкий снег. За какой-то час на улицах выросли сугробы, а снег всё шёл и шёл плотной шатучей стеной. Я стоял возле окна и смотрел на улицу. Медленно рассветало. Серый свет прорезывался сквозь метель неуверенными зыбкими волнами, будто наощупь, выхватывая из хрустящей полумглы дерева и дома.

Мне нужно было уходить, но я медлил. Зинка сидела на кровати, закутавшись до подбородка в одеяло, и ждала, что я скажу.

— Прости, Зина...

— За что?

Она подняла на меня измученные бессонницей глаза.

— Понимаешь, как бы это сказать, — я зашагал по комнате, не зная, куда деть руки, размахивая ими, потом скрестил на

груди, спрятав ладони под мышки. — Понимаешь, я сейчас в растерянности. Я сейчас думаю, вернее, пытаюсь думать о том, вернее, о той безумной, иначе не назовёшь, о той безумной силе, которая сшибла вчера нас, бросила нас друг в друга.

— Зачем ты ищешь оправдание? Ты ни в чём не виноват. Я так хотела.

— Ты ошибаешься, Зиночка! Просто мы, даже не мы, а какие-то наши предки в тридесятom колене потеряли друг друга, и вот с той поры ищут. И когда им покажется, что они встретились, то это и есть любовь. Но, в конце концов, мы ищем не только любовь, а счастье, которое и заключается в высшей потребности соединиться друг с другом, ведь счастье в единении людей. Если люди, все вместе взятые, и имеют одну всеобщую глубинную мечту, так это стремление человечества слиться в конечный атом. Вот тогда и будет это полное счастье и полная любовь.

— А пока у тебя, значит, не полная?

— Понимаешь, Зинуля, всё хорошо, мне с тобой очень хорошо, очень, даже очень-очень! Но я плохой человек. Я люблю тебя и могу любить другую. — Мне захотелось пошутить, я, кажется, даже хихикнул, но то, что я сказал, затем, было дико и нелепо. — Понимаешь, у меня сердце, как гостиница «Россия» — на две тысячи номеров, а занятых нет.

Досужим трепом я хотел, как дымовой завесой, прикрыть неизбежное расставание и ни в коем случае не дать Зинке надежды на дальнейшее развитие наших отношений, но в ней проснулась кошачья настороженность и недоверчивость. Я хотел поцеловать её, она недовольно отвернулась и закрылась с головой одеялом. Но на меня это не произвело никакого впечатления. Наоборот, я ощущал какое-то идиотское удовлетворение от сознания власти над Зинкой и своей силы. Меня так и распирало от гордости за себя и внезапно возникшего желания овладеть ею.

— Сволочь! — Зинка сбросила с себя одеяло и восстала передо мной во всей своей ожесточённой наготe. — Мерзкий

дурак! Счастье! Любовь! Высшие соображения выкладываешь, пустышка! Да, пустышка! Нуль! Порядочности в тебе, честности не найти, хоть с огнём ищи. Единение, любовь, счастье! Уж ладно бы просто отряхнулся да ушёл, нет, тебе нужно ещё поизмываться, повыламываться!

Зинка упала на кровать ничком, и её плечи, усыпанные золотистыми веснушками, забились в частой дрожи. Я стал её целовать. Она не вырывалась. И была пронзительная сладость в этих солоноватых от слёз поцелуях.

«Вахтовка» машиноиспытательной станции по утрам уходила от автовокзала. Расставшись с Зинкой, я выскочил из подъезда её дома и побежал на центральную улицу города, где на остановке собирались наши сотрудники, жившие в этом районе.

Метель утихомирилась, было тепло, снег скатывался с крыш, и по оттепельному утру было видно, что он пролежит не дольше полудня, растает и наделает грязи. Уже сейчас в густой снежной жиже чётко отпечатывались следы людей и колёса автомашин.

Автобус ещё не пришёл, и я облегчённо вздохнул. Меня ещё не покинуло радостно-возбуждённое настроение от пережитого, и грудь распирала бесшабашная весёлость, с которой, к сожалению, нельзя было поделиться с другими.

Скоро мы были на окраине города. Немятый чистый снег, искрясь разноцветными брызгами молодого солнца, простирался по обе стороны шоссе.

О Зинке я старался не думать, но в душу неотвязно лезла тоска о чём-то безвозвратно потерянном. Тогда я ещё не понимал, что моя жизнь в эту ночь сдвинулась с мёртвой точки и понеслась неведомо куда. Всё решила, всё предопределила случайность, а не какая-то там судьба или чья-то воля. Случайность произвела нас на свет, и случайность столкнула нас друг с другом, дав малую толику удовлетворения иллюзией счастья и обещая в будущем разочарование и высасывающую душу неудовлетворённость всем, что есть вокруг. Таков мой

путь — и другого ничего нет. А может всё-таки есть, и зовут её Валентина? Я ведь уже заранее знал, что выйдя из автобуса, встречу с ней и буду стараться не отводить своего блудливого взгляда от её грустных вопрошающих глаз. Она ничего, конечно, не скажет, только вздохнёт и уйдёт в лабораторию. Валя когда-то была для меня всем, моим вторым я, светлой половиной моей души, от которой хочется подчас спрятаться, забиться куда-нибудь в нору, чтобы никогда не видеть себя целиком. Особенно сейчас.

Время многое вымывает из памяти, и в ней остаётся лишь малая толика от того, что когда-то населяло прошлую жизнь. Но это небольшое оставшееся уже незабвенно. Время отшлифовало его до ослепительной ясности и заставило сиять эти крупницы воспоминаний всеми гранями, как сияют лучи солнца в слезинке, набежавшей на ресницы ребёнка. И, вспоминая детство, я перебираю отточенные памятью дни, будто играю в разноцветные отполированные водой камушки, сидя на берегу реки. И в изумлении рассматриваю себя.

Тогда ещё возраст не провёл между нами разграничительную черту, и мы были просто детьми. Старые фотокарточки ещё и сейчас напоминают мне о том времени. Я стою в коротких штанишках на одной ляжке через плечо — круглая рожица, ровно подстриженная чёлка, на ногах сандалии. Рядом Валя, тоненькая, голенастая, на щеках густая россыпь веснушек и две упругие косички на весу. У каждого из нас в руке по яблоку. Прямо-таки Адам и Ева в райском саду детства.

Я люблю перебирать старые фотографии и могу заниматься ими часами. Вот первый класс. В центре снимка наша учительница Лидия Александровна. Помню, она страдала бронхиальной астмой, и нас страшно пугали приступы, когда начинала она вдруг начинать задыхаться. Это была добрая женщина, которая учила нас как умела. Меня она любила. Вот и на снимке я — её любимчик — рядом с ней по левую сторону. Видимо, я очень старательно ждал, когда из объектива «вылетит птичка»: рот у меня полуоткрыт, в глазах напряжённое

ожидание. Чуть повыше меня Валя. На ней коричневый фартук, кофточка с белым воротничком.

Нас дразнили женихом и невестой. Придумали это мой дядя и Валин отец: «А, вот и жених пришёл, — приветствовал он меня. — Заходи, гостем будешь, бутылку поставишь — хозяином будешь!»

Я смущался и краснел.

— Ты что под матицей стоишь? Свататься надумал?

Эти насмешки надолго отвели меня от Вали, и только после восьмого класса я опять открыл её для себя совершенно с неожиданной стороны.

Заболела учительница физики, и мы всем классом пошли в кино. Это было в конце моей пятнадцатой весны, выдавшейся в том году особенно буйной. Было удивительно тепло, даже не выпадали обычные у нас заморозки, вовремя прошли дожди — и заходила, заколобродила зелень, зацвели сады, не успевшее выгореть от зноя небо манило взгляд пронзительной голубизной и прозрачностью. Всё это бередило душу, она в эти дни словно вспоминала давний прекрасный, но забытый сон, и я особенно пристально вглядывался в окружающее, будто отыскивал в нём что-то давным-давно потерянное, которое, как невнятное эхо, сейчас кружило где-то вокруг меня.

Валя стояла с девочками возле клуба — тоненькая узкоплечая, платье на ветру облепило её фигурку, пепельные волосы разметались, и в этот миг меня всего с головы до пят окатило жгуче-ледяной волной кипящего озноба, от трепетного колотья зашло сердце и пересохло во рту. Я ещё не знал толком, что это, но земля уже всюю уходила из-под ног, чтобы я мог воспарить, как бумажный голубь, над пропастью, которую подготовила мне жизнь.

Так я влюбился. Но моя любовь была с самого начала для меня тягостью, да именно тягостью, потому что я был тогда до самооглупления стеснительным и, как следствие, самолюбивым. Я никак не решался признаться Вале в своём чувстве, но как я страдал, если она с кем-нибудь разговаривала, кому-нибудь

помогала или шла с кем-нибудь домой. Муки уязвлённого сердца отточили во мне подозрительность и страх, который неизбежно грядёт от всякой неуверенности в себе.

Стыдно сказать, но я выслеживал Валу, когда она возвращалась из школы или из кино. А сколько раз я собирался написать ей письмо и даже тысячекратно сложил его в уме, чтобы открыть всё, мучившее меня в то время? Но я не только ничего не сказал, но даже не написал, хотя она вряд ли ждала моего первого шага.

Это я узнал позднее, когда всё прошло и почти отгорело. А тогда дни летели метельной круговертью, жизнь мчалась сплошной раскалённой полосой, и разматывал я эту полосу прямо из своего сердца.

Стоит только безутешно пожалеть, что любовь не сблизила, а разобщила нас. Я до сих пор не могу с полной уверенностью сказать, понимала ли тогда Валя мои терзания, знала ли она, что одно, только одно её словечко, один добрый взгляд могли немислимо возвысить или унижить меня.

Сейчас на все мои упреки она тихо говорит: «Прости...» Но пролетевшего времени не вернуть, и какого золотого времени — юности, которая хоть и была коротка, но оставила столь живые воспоминания, что они до сих пор будоражат мою нераскаянную душу.

Теперь я понимаю, что тогда, любя и страдая, я расставался с отрочеством, где мне с лихвой хватало самого себя, чтобы ощущать приятную замкнутость мира, в котором всегда сходились концы с концами, и всё, что было внутри этой цельности, взаимно удовлетворяло друг друга. Но настал миг, и моё детское время остановилось, а затем и взорвалось.

Эта беда заставила меня остро почувствовать свою бесприютность и заоглядываться по сторонам в поисках укрытия от леденящего душу сквозняка одиночества, и я уверовал, что я могу его обрести рядом с Валею. Однако моим надеждам не суждено было сбыться.

До сих пор помню тот суматошный декабрь, когда я почти весь месяц кружился с табуреткой по комнате, разучивая вальс и танго. Стоит ли говорить, что новогодний бал снится мне до сих пор, как перешагнув порог класса, откуда были вынесены все парты, на негнущихся от страха ногах, увидел танцующих, услышал музыку, и меня сначала опалило ознобом, а потом жаром душевного потрясения. В таком состоянии я, конечно, не смог пригласить Валу на танец.

Простояв весь вечер у стены, я, наконец, решился и сунул ей в руку записку с объяснением в любви. Валя удивлённо на меня глянула и уронила бумажку на пол...

Около года назад я встретил её на машиноиспытательной станции.

— Я здесь теперь работаю, — сказала она. — В экономотделе. Оканчиваю институт, вот и устроилась по специальности.

— Как ты живёшь? — спросил я первое, что пришло мне в голову.

— Хорошо, — ответила Валя и, потупившись, замолчала.

Мне тоже говорить с ней было не о чем, и мы разошлись. Правда, уже тогда мне пришла в голову мысль, что устроилась на машиноиспытательную станцию она не случайно. Позже я уже окончательно убедился в этом. Хотя Валя не приходила в мастерскую, где была аккумуляторная, но где бы мы ни встретились, я замечал на себе её виноватый умоляющий взгляд, от которого мне становилось не по себе.

— 6 —

Человек, от которого на ближайшие два года полностью зависела моя судьба, был лейтенантом внутренних войск. Внешне, кроме высокого роста, он был, пожалуй, ничем не примечателен, разве что только его лицо выделялось среди наших бледных потрёпанных физиономий здоровой краснотой и жёсткостью.

— Вот, знакомьтесь, — сказал капитан Попов, когда мы с Бывалиным зашли к нему в кабинет. — Ваш начальник отряда лейтенант Зубов. Любите его, и он вас пожалует как родной отец: пряником или ремешком.

— Итак, — продолжил он, когда мы остороженько присели на стулья, — ваше первоначальное лечение закончено. Теперь вы поступаете в отряд, а в больницу будете приходиться по персональным вызовам для лечения и обследования.

Лейтенант Зубов испытующе поглядывал на нас, держа в руках папки с нашими документами. Взгляд у него тяжёлый и немигающий, не глаза, а два дульца, и такие мутные, что невозможно угадать, чем они выстрелят. Под этим взглядом я невольно заерзал на стуле, а Бывалин закашлялся.

— Поп? — поинтересовался лейтенант, перелистывая тощее дело Ерофея Кузьмича.

— Бывший священнослужитель, — смиренно ответил Бывалин. — Могу и по сапожному делу, и по столярному, а если что, и по печному. Голландки и другие печи знаю...

— Как же это тебя, батюшка, угораздило? Ну и дела! Кого только у меня не перебивало, а священнослужителя, хотя и бывшего, первый раз лицезрю, так что ли, по-вашему?

— Дела людские, — неопределённо и по вьёвшейся в его натуру привычке говорить витиевато отвечивал Ерофей Кузьмич.

— У меня чтоб без этого, — подытожил разговор лейтенант. — Без всяких религиозных штучек. Здесь мой приход. Понятно?

— Понятно.

— Что понятно?

— Каков поп, таков и приход.

— Правильно, — не обиделся начальник отряда. — Позже решим, куда тебя девать.

— Ну, а ты, браток, — обратился ко мне лейтенант Зубов, — как ты докатился до такой жизни? Бывалин, понятно, отсталый элемент, образование — с братом на двоих один букварь искурили, а ты? Почти окончил институт, работал в

скульптурном цехе художественного фонда и попал в наши помои.

— Случайно, — ответил я.

— Не надо, Конев, ля-ля! Ничего в жизни случайного нет. Всё в жизни определено от сих — и до сих. А если ты за рамки выхлестнулся, то держи ответ. В отряде я случайностей не потерплю. Не отлынивай от работы, не нарушай режим и освободишься по половине срока. Это и тебя касается, Бывалин.

Лейтенант поднялся со стула. Вслед за ним встали и мы.

— Сейчас шагом марш переодеваться и в отряд, — сказал Зубов. — Вот туда, — он указал в окно, и мы увидели барак, возле которого толпились одетые в чёрное люди. — Ты, Конев, сразу зайдёшь ко мне, я тебе дам поручение.

— Какое поручение?

— Лишних вопросов не задавай. Стенгазету надо сделать. Или ты забыл, что скоро октябрьские праздники?

— Так я рисовать не очень. Могу ещё лепануть кого-нибудь, хоть вас.

— Ну, до меня ещё дойдём, — улыбнулся Зубов. — Сначала я тебя слеплю. А рисовать, не ври, ты умеешь, а не умеешь — научим, не захочешь — заставим!

В хозчасти, отстояв очередь, мы получили кирзовые сапоги, портянки, нижнее бельё, хлопчатобумажные робы, телогрейки и шапки. Всё это было ношенным и застиранным, воняло санобработкой.

Кладовщик обладал наметанным глазом и сразу определил, что мы новички в заведениях подобного рода, поэтому не церемонился с нами: выкинул вещи и захлопнул деревянное окошко.

Мы стали переодеваться, но Бывалин утонул в своей робе, а мне она была коротка. Сапоги старику были велики, он резонно заметил, что скоро зима и пара лишних портянок ногам не повредит.

Я нерешительно постучал в окно.

— Урод! Размажу по стенке! — заорал обмундировщик и с треском захлопнул окошко.

— Ты бы, мил человек, не ругался, а вошёл в положение, — сказал Ерофей Кузьмич. — Ну, ладно у меня на вырост одежда, я согласен, а он-то не усохнет, имей совесть.

Окно резко распахнулось, и из него вылетел свёрток, перевязанный крест на крест брючным ремнём.

Переодевшись, мы вышли на улицу. Было солнечно и морозно. Деревья стояли опущенные белым, чутким, опадающем при малейшем шорохе, инеем. Было тихо, и наши сапоги глухо стучали по заледеневшей земле. Здание, в котором нам предстояло жить, было одноэтажным кирпичным бараком с пристроенным к нему деревянным тамбуром. Возле входа стояла врытая в землю бочка с окурками. На торце здания во всю высоту каким-то лечившимся здесь художником был нарисован плакат: огромная бутылка с водкой, откуда выползал разъярённый зелёный змий.

— Где отряд лейтенанта Зубова? — спросил Бывалин у мужиков, куривших возле входа.

— Здесь, Ерофей Кузьмич! Здесь дорогой! — засмеялся высокий парень в надвинутой на лоб ушанке, и мы узнали в нём Костю-хоккеиста. — Пошли, я сегодня дежурный, так и быть местечко по благу организую. У нас здесь, как в плацкартном вагоне, — пошутил Костя, открывая дверь в казарму, откуда на нас пахнуло кислятиной. — Двухъярусная система, и низ, как всегда занят, вот только одно местечко.

— Это для Ерофея Кузьмича, — сказал я. — Старикам везде у нас почёт.

— Ну а ты выбирай любую свободную верхнюю. Для вещей вон тумбочка. Шило-мыло и прочая чепуха.

Вошёл лейтенант Зубов, и Костя встал навытяжку.

— Товарищ лейтенант! Вновь прибывшие Конев и Бывалин устраиваются на новом месте.

— Пускай гнездятся. Бывалин!

— Здесь я, — ответил Ерофей Кузьмич.

— С понедельника в хозчасть! А ты, Конев, на завод в первую смену. А сейчас ко мне, получишь бумагу и краски.

В кабинете начальника отряда работал телевизор. Я не видел этого чуда цивилизации уже несколько месяцев и почти с радостью уставился на Горбачёва, который вдохновенно вешал лапшу на уши работягам какого-то завода.

— Ты, Конев, автоматически попадаешь в актив отряда, — сказал лейтенант, выдавая мне рисовальные принадлежности. — Стенгазета — важный фактор самовоспитания принудбольных. Так что, давай остро, без снисхождений, бичуй недостатки. А они у нас есть. Вот этих обязательно отобрази — они сейчас в карцере — Воронков и Дроздов. Работая на разгрузке вагонов, купили вина и нажрались вдрызг. Вот такой факт. Бери карандаши, краски и ступай, трудись.

Я не стал тянуть с заданием и принялся за работу. Писать буквы мне было всегда трудно, и я хотел уже взять другой лист, но подошёл Костя и сказал, что вышло здорово. Издевки в его словах я не заметил и ещё раз оценивающе глянул на свою работу. Буквы не вихлялись из стороны в сторону и были примерно одной высоты и толщины — работа годилась, а на премию я не замахиwался.

Костя примостился рядом со мной и смотрел, как я начерно карандашом набрасываю сюжет, заказанный начальником отряда.

— А ты ничего, можешь, — одобрительно хмыкнул он, наблюдая, как из-под моего карандаша появились наброски, повествующие о злочлечениях Воронкова и Дроздова. Особенно понравился ему последний, где поллитровка тащила упирающихся нарушителей режима в карцер.

— Обидятся ребята, — раздался за моей спиной знакомый голос. Это был Степан Федорчук. Он пришёл с завода после первой смены.

— Ну и что, что обидятся, — ответил за меня Костя. — Он ведь не виноват, его лейтенант заставил.

— Так-то оно так, а всё же, — со значением сказал Степан. — Я вот тоже хочу поучаствовать в стенгазете. Можно?

— Почему нельзя, — ответил я, отложив в сторону перо с тушью, которым обводил контуры рисунка.

— Стихи у меня есть. Разоблачающие в корень это самое пьянство.

— Да ну! — изумился Костя. — Я думал ты слесарюга, а ты оказывается и поэт.

— Да вы не бойтесь, я уже их Zubову читал, — сказал Степан, вытаскивая из кармана штанов замызганную бумажку. — Вот, слушайте.

Я водку пил, закусывал селёдкой,
Курил табак и снова водку пил.
Потом рыгал почти голимой водкой
И, прорывавшись, снова водку пил.

Терял сознание, опьянённый ядом,
Наутро вновь бросался на вино.
Глядел на жизнь я равнодушным взглядом,
И как живу, мне было всё равно.

Я в личной жизни многое изгадил,
Как вспомню, так охватывает жуть.
Теперь я протрезвел в родном отряде
И выбрал исправленья верный путь.

— Вот это да! — поразился Костя. — Ты оказывается не просто слесарь, а поэт, как Володя Высоцкий!

Степан самодовольно улыбнулся.

— Это что! Я и ещё могу, времени нет, сейчас одну рацуху толкаю. У меня к тебе просьба, — обратился он ко мне. — Там, где слова «в родном отряде» и про «исправленья верный путь», выдели красным цветом. Можно?

— Зачем тебе это? — спросил Костя. — Думаешь, капуста отсыпает?

— Да в деньгах ли счастье, — отмахнулся Степан. — Не соображаешь? Скоро седьмое, баба приедет на праздники, хочу получить на сутки свиданку. Ради этого и стишки написал.

— Прогнаться решил перед хозяином?

— Это как знаешь, считай, но хочешь жить — умей вертеться, это не мной выдуманно.

— Ладно, — сказал я, — будет тебе красным цветом.

В бараке стало шумно: явилась с кирпичного завода самая многочисленная первая смена. Несколько человек уселись перед телевизором, в котором продолжал кривляться и врать Горбачёв. Вдруг он заговорил о высоком нравственном облике советских людей и стал обличать алкоголиков и тунеядцев. Мужиков это задело, они начали покашливать и бурчать, потом послышались язвительные замечания:

— Во лепит! Чего же он про коммунизм помалкивает? Его же ещё восемь лет назад обещали ввести.

— Они давно уже при коммунизме живут!

— Горбатым евоная баба командует!

Я с удивлением прислушивался к выкрикам, поскольку не предполагал, что за казённым забором может существовать столь широкое свободомыслие. Хотя объявили гласность и так далее, люди не спешили всем этим воспользоваться, не торопились объявлять своё мнение во всеуслышание, предпочитая шептаться на кухнях. Впрочем, их осторожность была не лишней, что подтвердил своим появлением начальник отряда. Он, стоя у открытой двери, послушал выкрики своих недовольных подопечных, вошёл и переключил телевизор на другую программу. На экране под классическую музыку закружились и запрыгали фигуристы.

— Охолоньте от политики, — спокойно сказал Zubов. — С коммунизмом разберутся те, кому это положено, а вы заглохните и посапывайте в тряпочку. Разрешаю отдохнуть, ночью свободная смена идёт на станцию, разгружать вагон.

Это известие повергло присутствующих в уныние, но не всех. Из казармы раздалось сразу несколько голосов:

— А с чем вагон?

— С шампанским, — весело сказал лейтенант. — Наполовину с шампанским, и наполовину с шоколадом.

— Нет, правда, с чем?

— Цемент россыпью, — рассердился начальник отряда. — Всю ночь вёдрами будете таскать!

Больше вопросов не было.

Зубов подошёл к столу, на котором лежала почти готовая стенгазета.

— А ты, Конев, молоток! — похвалил меня лейтенант. — И вполне талант, такие люди нам нужны.

Начальник ушёл, а вокруг меня сгрудились несколько неодобрительно поглядывающих на меня личностей явно бандитского вида: на шеях наколки в виде колючей проволоки, на угрюмых рожах шрамы, руки в карманах и сжаты в кулаки.

— Ну, и что за талант тут у нас объявился? — пробурчал верзила, явный главарь этой шайки, и потянул на себя лист ватмана со стенгазетой. Несколько карандашей упали на пол, но я не стал за ними нагибаться, чтобы не подставить себя под неожиданное нападение: могли ударить исподтишка, для этих никаких запретов в драке не существовало.

Честно говоря, угроза заставила меня похолодеть, она была нешуточной и опасной своими последствиями: покажи я слабину, дрогни, и мой будущий статус в этой стае был бы определён на все дальнейшие два года — где-то ниже плинтуса. Эта опасность помогла мне собраться, в голове появилась лёгкость и во всём теле ощущение силы.

— Ещё не прописался в отряде, — глумливо ломая слова, произнёс главарь, — а уже лёг под актив. А ты знаешь, пидор, что за такое бывает?..

И он потянулся к моему лицу грязной лапой. Я отшатнулся и сделал шаг назад.

— Что, обхезался? Это зря: твоё очко, пидор, должно быть чистым.

Мерзкие слова резанули мою душу наждаком, и я, не замахиваясь, ударил обидчика носком сапога в колено. Раздался визг, блатарь рухнул на пол. Но на меня, набычась, кинулся верзила и так долбанул в грудь, что я отлетел к стене, но устоял на ногах и от следующего удара успел уклониться в сторону и ткнул в сопатку другого жулика. В этот момент верзила достал меня крепким ударом в ухо. Я отлетел к столу, где лежала стенгазета, и, наверняка, упал бы на пол, но меня удержал Костя.

— Что за хипеш? Почему разрешение у дежурного не спросили? Кулаками махать идите на улицу или в умывалку, если не бздите отрядного. У него хватит силы, всем так наставит банок, что никто на задницу неделю не присядет.

С ворчанием и угрозами свора отвалила прочь, а Костя весело хлопнул меня по плечу:

— Это они на каждого новичка наваливаются.

— И на тебя тоже?

— А как же? — ухмыльнулся Костя. — Но я в этих делах битый. Врезал одному в пятак, а другие сразу скисли. А ты молоток — не дрогнул. Но поостерегись: могут ещё раз навалиться, так если что, меня свистни.

— Спасибо, Костя, но я как-нибудь справлюсь сам, — пробормотал я, сворачивая ватман. — Кому стенгазету отдать, а то изорвут?

— Неси лейтенанту, — сказал Костя. — У него не пропадёт.

Начальник отряда был не один. Перед его столом, опираясь на костыль, стоял Михайлыч, а Зубов поглядывал на него с явным интересом.

— Ну и как ты докатился до такой жизни? — разрешающе махнув мне рукой, сказал он. — Я тебя по «Четвёрке» знал как отъявленного баклана, а сейчас вижу, что ты свою масть даже не поменял, а потерял вовсе.

— Так жистянка закрутилась, — нехотя вымолвил Михайлыч. — А ты, гражданин начальник, по какому случаю сюда залетел? Неужто проштрафился?

— Бог миловал, — осклабился Зубов. — Кому-то и здесь нужно топтаться. Ладно, ступай да приглядывайся к народу. У меня бригадир на неделе освобождается, так что пораскинь мозгами, как жить дальше.

Михайлыч, покачнувшись, повернулся на больной ноге и, мазнув меня тусклым взглядом, вышел из кабинета.

— Что, уже готово? — удивился Зубов.

— Статейки кто-нибудь без меня прилепит, — сказал я. — Тут поэт Федорчук объявился со своими стихами. Говорит, что вы в курсе дела.

— А как же! — воскликнул начальник отряда. — Сам майор Жернаков в восторге от его стихотворения. Велел перепечатать и отправить в политотдел для использования в антиалкогольной пропаганде. В отрядной стенгазете мы поставим их вместо передовицы. Тут у меня, Конев, мыслишка одна промелькнула, а не использовать ли эти стихи в художественной самодеятельности, как ты считаешь?

— Не знаю, товарищ лейтенант, — пожал я плечами. — Я ведь не артист.

— По-твоему, я артист, — заметно помрачнел Зубов. — Я вижу в этих стихах большой заряд антиалкогольной агитации. Вот представь: Федорчук звонким голосом декламирует первые две строчки: «Я водку пил, закусывал селёдкой», ну и так далее, а за ним начинают декламировать хором человек пять, нет, лучше десять: «Потом рыгал почти голимой водкой и, прорывавшись, водку в глотку лил!» Это ведь даже не самодеятельность получается, а продолжение медицинской процедуры, которую делают в больнице, всему контингенту профилактория. Ну, и как моя мыслишка?

— Надо поглядеть, что из этого выйдет? — сказал я. — Но торопиться не стоит, как бы наша братва от такого номера не обрыгалась прямо в клубе. А почему бы не заставить эти стишки всех выучить наизусть и пусть их читают вслух по очереди перед строем?

— Мысль интересная, — помолчав, согласился лейтенант. — Но её надо согласовать с руководством УВД, а там нашу инициативу определённо заволоkitят. Пока обойдёмся стенгазетой.

Своим дурацким предложением я отвлек Зубова от мысли поручить мне заняться репетициями, и он задумчиво произнёс:

— Спешка годится при ловле блох. Газету доделай сам, стихи поставь на месте передовицы. Ты как, со своим местом определился?

— Как пришёл, так сразу.

— У нас условия неплохие, — сказал Зубов. — В других ЛТП койки в три яруса, отапливаются печками, а у нас комплекс образцово-показательный, один из лучших в стране.

За дверью послышался истошный вопль Кости-хоккеиста:

— Отряд! Выходи строиться на ужин!

Десятки кирзовых сапог застучали, зашаркали по цементному полу, начальник отряда взял со стола шапку и водрузил на свою коротко остриженную голову.

— Что стоишь пнём? Бегом в строй!

Каждый в отряде знал своё место в коробке, кроме меня и Бывалина. Старик кинулся к последней пятерке, но она была полной, и его оттолкнули. Я схватил его за руку и поставил с собой рядом позади строя. Бугру это не понравилось, он перетусовал коробку и нашёл нам место по росту.

— Запевай! — скомандовал он, когда мы вполне по-солдатски затопали по асфальту.

— *Не плачь девчонка —*

Пройдут дожди.

Солдат вернется,

Ты только жди!..

Пронзительный фальцет запевалы меня так ошарашил, что я замер как вкопанный и получил крепкий тычок в бок. «Куда я попал? Где мой автомат? Где присяга?..» Нет, это была не легендарная и непобедимая, а орава алкашей, орущих солдатскую песню. И я был одним из этих несчастных,

обиженных судьбой людишек, у которых после того, как они пробултыхались в вине много лет, осталось лишь одно временами вспыхивающее желание — набить утробу, чтобы укротить голод. Поэтому меня не удивило, что еду здесь называют хавкой, о чём меня снисходительно уведомил Михайлыч.

Столовая, как это и положено казённому общепиту, на полусотню метров вокруг отвратительно пованивала перекившим борщом, сгнившей картошкой, капустой и хлоркой. Толкаясь, мы ввалились в неё и по десять человек сели за столы, покрытые клеёнкой. На краю каждого стола находился бачок с пищей и чайник, а посередине — высилась стопка алюминиевых мисок и лежали ложки.

Мне подтолкнули миску, я ковырнул содержимое и невольно скривился — варёная капуста, на которой лежал осклизлый кусок рыбы. Хавка была та же, что и в больничке, допитания за вредные условия труда на кирпичном заводе нам не полагалось.

— Ешь! — шепнул мне Бывалин. — Тебя объявили в списке рабочей команды, что пойдёт выгружать цемент. Зажмурься и съешь, хотя это почти не съедобно.

Я украдкой огляделся. Мои товарищи по несчастью, не кочевряжась, трескали капусту с хлебом за обе щёки, и я последовал их примеру. Меня ждала тяжёлая работа, от которой я отвык, и заправиться калориями было необходимо.

Обглодав рыбу, я выпил кружку чуть сладкого чая с куском белого хлеба и встал из-за стола. Состояния сытости я не ощущал уже давно, и сейчас мой желудок пребывал в недоумении, как от мизерного количества пищи, так и от её качества.

Бугор стоял в дверях столовой и не давал улизнуть из неё тем, кто был назначен в разгрузочную команду, поэтому я отошёл в сторону и в первый раз за этот день закурил сигарету. Курево помогло утишить посасывание в желудке, табачным дымом я даже согрелся и, услышав команду на построение, без промедления нашёл себе место в строю.

Возле КПП нас ждал автобус, которым мне посчастливилось занять свободное место. За месяц в карантине я привык валяться на кровати и день, проведённый на ногах, меня крепко утомил, веки от навалившейся на них дрёмы, стали неподъёмно тяжёлыми. Меня охватило счастливое предчувствие сна, в котором несвободный человек обретает, пусть не реальную, но столь необходимую ему волю. Прошло несколько мгновений, и мне уже нет никакого дела, что в автобусе не переднем сиденье бодрствует и бдит лейтенант Зубов, я уже выпорхнул из своей клетки и воспарил над сумерками человеческой жизни в бездонную высоту, с которой, как на ладони, видна моя беспутная жизнь.

– 7 –

Я не забыл первый в своей жизни барак, где мы жили с мамой. Комната узкая, как траншея, грязное от угольной пыли окно, одна на двоих койка, печка. Всё это потом повторялось не раз, только в других местах.

В шахтёрском посёлке жил народ сборный. Вербованные, которых привезли в Кузбасс из России, в лаптях с быстрым цокающим говором, местные из разорённых деревень, демобилизованные фронтовики и всякая приклатнённая публика. На отшибе от посёлка, оцетинилась колючей проволокой лагерная зона для пленных немцев.

Я довольно равнодушен к деньгам, наверное, потому, что моим первым воспоминанием были деньги, мешки денег, завалы пахнувших типографской краской пачек денег в банковских упаковках. Мама работала кассиром, и в дни выдачи зарплаты задерживалась допоздна, пока не выдаст всю наличность, я был с ней и частенько засыпал где-нибудь в углу кассы на мешках с деньгами.

По тем временам кассир был заметной фигурой. Маме выдали белый полушубок, валенки, она ездила в банк с двумя

автоматчиками, в кошёвке, а в оглоблях был призовой жеребец, шахтная знаменитость, упругий, как пружина, Зайчик.

— Одевайся, Ваня, — как-то сказала мама. — Поедем со мной в город, надо тебе сапоги к весне купить.

Я обрадовался до немоты. Не далее как вчера я просился у матери прокатиться, а тут счастье такое свалилось неожиданно-негаданно, поэтому быстро оделся и выбежал на улицу.

Конюх Артём сидел на облучке в шубе борчатке и курил козью ножку. Солдаты, закинув за спины автоматы, разговаривали, загородив тропинку, с вербованными девчатами.

Я подошёл к Зайчику и почувствовал, как от того остро пахнет потом и свежим сеном. Жеребец нервно переминался с ноги на ногу, косил злым лиловым глазом, из ноздрей струились белёсые завитки пара. Сбруя на нём была добротной работы, надраенные медные кругляшки сияли от утреннего зимнего солнца, и, казалось, жеребец был не в сбруе, а в панцире. От нервных движений Зайчика кожаные ремни скрипели, а под дугой, расписанной синими птицами, позванивал колокольчик.

Народу на улице было мало, и я жалел, что меня, гордо восседавшего на облучке рядом с Артёмом, почти никто не видит. Зайчик осторожно шёл под гору, всхрапывая и оседая на круп. Остро светило солнце и пахло угольным дымом из протопленных утром печей.

Посёлок был невелик. За вентиляционной подстанцией, которая гудела всей утробой, засасывая в шахту свежий воздух, мы свернули в чахлый лиственный лес. Через час мы его миновали и въехали на окраину города.

Сначала пошли кривобокие с рваными толевыми крышами насыпухи, бараки, окружённые колючкой и сторожевыми вышками, и без этого окружения, дырявые, с надолбами жёлтого льда сортиры, чахлые деревья на обочинах, потом впереди замигал светофор, стало гуще машин и людей. Зайчик нервно всхрапывал и скользил подковами по льду. Артём, сдерживая жеребца, крепче накрутил вожжи на руки.

За светофором улица расширилась, из-за угла, потренькивая, вынырнул трамвай. Вагоны были битком набиты людьми, они висели в дверях и даже сзади последнего вагона.

— Самый центр! — Артём махнул кнутовищем в сторону громадного белого здания, перед которым стоял высоченный чугунный человек в шинели до пят. Я посмотрел и увидел на торце белого дома портрет этого же человека, только нарисован он бы не в шинели, а в кителе. Голова его занимала верхние два этажа, потом шло туловище, штаны с красными лампасами и блестящие сапоги. Лицо у человека было спокойное и доброе. С отеческим вниманием он смотрел на центральную площадь, внимая каждому взгляду.

У здания госбанка было тесно от множества саней и автомашин. Кассиры со всей округи съехались за деньгами для шахтёров, рабочих и охранников. Автоматчики сразу углядели среди других солдат своих земляков. Артём разговорился с конюхом из соседней шахты, а мама, заняв очередь в кассу, повела меня на рынок.

Безногий инвалид на деревянной коляске пел возле входа, подыгрывая на балалайке:

В ноги бросилась старуха,

Я её прикладом в ухо.

Старика прикончил сапогом,

Да! Да!

Несмотря на мороз, калека был в одном пиджаке, из-под которого выглядывала тельняшка и синие наколки. Рядом с ним лежала шапка, в которой поблескивала мелочь. Ему подавали, но мало и редко.

Вокруг торговали и покупали. Перед моими глазами мелькали пальто, шапки, шарфы, рукавицы, телогрейки, отрезки материала, кружева, ковры, различные вышивки. В углу барахолки мычала и бляла выставленная на продажу скотина. Возле пивнушки толкались и матерились пьяные мужики, и к ним неторопливо двигался милиционер.

— Атаc! Краснопёрый!

Мужики притихли. Милиционер внимательно осмотрел очередь и выдернул из неё тощего мужика с зелёным лицом. У того свалилась головы шапка и упала в снег. Пробежавший мимо пацан с размаха пнул её в толпу. Мужик кинулся за ней, милиционер следом, а вокруг, радуясь бесплатной потехе, хохотал народ.

Обувной ряд был жидковат, всего с десятков продавцов. Торговали валенками, чинеными ботинками, латаными сапогами. Мама примерилась к резиновым сапогам, но продавец заломил несусветную цену. Поторговалась и отступилась. Ладно, сказала она мне, закажу тебе сапоги на шахте. Я обрадовался. Мне нравились сапоги-самоклейки, которые были в моде у шахтёров. Их делали из резиновых автокамер.

В продуктовом ряду мы купили миску горячей картошки и солёный огурец. Поели с куском своего чёрного хлеба, притулясь к ларьку, и запили обед общественным кипятком из бака.

У покосившихся ворот безногий инвалид, потряхивая белой от инея головой, продолжал терзать балалайку.

У банка народу и саней стало поменьше. Артём лежал в кошёвке на соломе, укрывшись попоной, и дремал. Солдаты курили и хмуро смотрели по сторонам. Старший из них глухо сказал:

— Надо до темноты вернуться на шахту. У нас инструкция...

— Сейчас, сейчас! — заторопилась мама. — Очередь, наверно, подошла.

Она ушла в банк. Через полчаса позвала солдат, и они вынесли из банка деньги. Три мешка, да ещё продуктовую сумку.

Артём протёр покрасневшие от дремоты глаза, попрыгал, постукивая себя в обхват руками, чтобы согреться, и сел на облучок.

Из города выехали, когда уже свет начал меркнуть. Солнце проваливалось в огромную багряно-синюю тучу, затянувшую горизонт, снег и иней на деревьях стали голубыми.

Отфыркиваясь, Зайчик ходко нёс кошёвку по жёсткой дороге, полозья посвистывали, морозный воздух щипал ноздри, я поглядывал по сторонам, пытаясь угадать, кто оставил следы на обочинах дороги.

— Иди сюда, — сказала мать, — а то замёрзнешь...

Я перелез через облучок, закутался в попоны с головой и лёг на солому между жёстких с острыми углами мешков с деньгами...

— Трах! — с хрустом сломался выстрел.

Кошёвка ударилась во что-то мягкое, её развернуло в сторону, и я полетел головой в сугроб.

Пуля попала Зайчику в голову, он сделал несколько судорожных прыжков и рухнул поперёк дороги, перевернув сани.

Несколько минут над полем стояла тишина. Потом, громко вскрикнув, выругался Артём:

— Ах, мать вашу! Ногу, кажись, подвернул. Все живы, что ль?

Солдаты вжались в сугроб, выставив впереди себя автоматы.

— Лежать! — крикнул Артём, увидев, что мама хочет подняться и подползти ко мне.

На её движения из леска ударил выстрел. Пуля вспушила над головой сугроб и с визгом ударилась о дерево.

— Кто это? — спросила мама.

— Кто! Кто! — прошипел Артём. — Бандиты! Лежите тут, не высовывайтесь. Как-никак два автоматных ствола. А ну-ка, хлопцы, вжарьте по кустам.

Автоматы ударили раскатисто и гулко. В кустах от посыпавшегося с ветвей снега за клубилась белая пыль. В ответ никто не стрелял. Выждав минут десять, солдаты для верности ещё раз обстреляли кусты и осторожно вышли на дорогу. Хромая, к ним подошёл Артём, осмотрелся по сторонам и махнул рукой:

— Выходи!

Поддерживая друг друга, мы с матерью выбрали на дорогу. Она кинулась к саням. Слава богу, деньги были на месте.

Артём, сняв шапку, стоял над мёртвым Зайчиком. Жеребец лежал на боку, в его неподвижных глазах безжизненно отражался свет луны, и начавшая погуливать позёмка шевелила хвост и гриву.

— Всё, отъездился! — вздохнул Артём, надел шапку и, достав из кармана нож, начал снимать с жеребца сбрую.

— До утра от него одни кости останутся, — сказал автоматчик, бросая в сани хомут. — Я на втором посту стоял, рядом с посёлком, так отбою не было от одичавших собак.

— Эти твари страшнее волков будут, — подтвердил другой солдат. — Огня не боятся, оружие чувствуют и прячутся.

— Во всём война виновата, — сказал Артём, связывая оглобли вожжой. — И люди одичали, и звери. Неделю назад магазин на станции, говорят, беглые лагерные обворовали. Да и то, куда им теперь податься? У них жизнь, как чемодан, куда ни кинься, везде крышка. Ну, запрягайтесь, что ли...

Кошёвку с деньгами и сбруей волокли до шахтного посёлка на себе. Я шёл, уцепившись одной рукой за мать, а другой за сани. Усталость и пережитый страх лишили меня способности воспринимать окружающее. Пришёл я в себя только на окраине посёлка.

Возле конторы было много людей. Шахтёры ждали получку и не расходились. Деньги перенесли из саней в кассу, и мама начала выдавать зарплату, а я уснул на шубе в углу, рядом с батареей отопления.

Поговорили о нападении на кассира в посёлке, да и забыли.

Новое горе заслонило старое. Загорелись в шахте два горизонта. Целый месяц трупы из забоев доставали. На розвальнях, завёрнутых в мешковину, мёртвых везли на кладбище.

Я бегал смотреть к шахте, но близко к огромному сараю, где громыхала клеть главного ствола, не пускали. Вокруг стояло

оцепление. Солдаты отталкивали зарёванных баб, огромные овчарки рычали на толпу и рвались с поводков.

Оцепление размыкалось, когда нужно было кого-нибудь опознать или забрать домой мёртвого «вольняшку», а немцев и власовцев сразу везли на кладбище, где их кое-как закапывали в мёрзлой земле.

Пришла весна, тусклая в этих краях, сиротская, и на посёлок с кладбища потянуло сладковатым запахом. Вода размывала зимние могилы и обнажила человеческие останки. Кто постарше и посмелее, ходили на них смотреть, но я не отходил от барака, видел только, как с террикона, грохоча, проковылял мимо барака трактор с широким лобовым ножом, сгрёб трупы в овrag и заровнял их тяжёлой мокрой глиной.

С весенним теплом население барака ожило, люди стали чаще выходить на улицу, рассаживались на завалинках и скамейках. Бабы искались: вычёсывали друг у друга вшей, мужики играли в домино, а я в сапогах-самоклеях бродил по лужам, в которых плавало расплавленное солнце.

Весна и лето прошли безмятежно, и ни один из этих дней не оставил в памяти язвущей занозы.

...Ещё не пали зазимки, как однажды мама, придя среди дня с работы, начала собирать вещи.

Я смотрел, как она заталкивает в мешок свои юбки, кофточки, платья и ничего не понимал. Завязав мешок, мама села и заплакала, прижав меня к себе.

— Я должна ехать, — сказала она. — Ты поживёшь пока у дяди Артёма. Потом я приеду. Вот устроюсь на новом месте и приеду за тобой.

Расставание с матерью меня не огорчило, я даже обрадовался, что буду жить у Артёма и ходить с ним на конюшню.

Вечером, когда стемнело, мы подошли к низкому покосившемуся домику на краю посёлка. Мать постучала в окно. Артём вышел в накинутах на плечи полушубке, взял мои вещи и спросил:

— Зайдешь?

— Некогда. С углевозом до города доберусь, а то опоздаю.

— Ну, давай! Ты не забывай нас, пиши...

Мама поцеловала меня и быстро пошла к шахте, где отфыркиваясь, пытался к составу, гружённому углём, паровоз.

Мы с Артёмом постояли, пока паровоз не свистнул, и не потянул вагоны.

— Ну вот, — сказал Артём. — Проводили мать, пойдём теперь в избу.

Вера, жена конюха, приняла меня с жалостливой теплотой, накормила и уложила спать на печи за ситцевой занавеской. Я долго не мог заснуть, прислушивался к завыванию ветра в печной трубе. Мне было жёстко и неудобно. Чужой дом, чужие, хотя и знакомые люди. Я не мог понять, почему попал сюда, почему уехала мать, почему не сказала, когда вернётся.

Через месяц в доме дяди Артёма появился отец. Каким-то образом он узнал, что мама оставила меня одного, и приехал забрать сына в Новосибирск, где жил со своей новой женой. Не помню, чтобы я обрадовался его появлению, но и не испугался.

Отец был великий красноречивый и наобещал мне уйму подарков, если я буду жить с ним.

Свою новосибирскую зиму я не запомнил, кроме некоторых мелочей: катание на сани по замёрзшей Оби и жалобный взгляд мачехи, которым она окидывала меня время от времени. Отец со мной почти не общался и поминал маму нехорошим словом, значения которого я не понимал, но запомнил навсегда:

— Она аферистка, Ванька! Забудь её навсегда — она аферистка!

Это не добавляло мне тёплых чувств к родителю, и я, наверное, истосковался бы у него до какой-нибудь нервной болезни, но вот оно, счастье! Отворилась тяжёлая, обросшая льдом дверь, и в комнату вошла в белом полушубке и суконной шали мама. Я, как уцепился за её юбку, так и не отпускал. Отец не удержался и упрекнул маму, что она меня бросила. Она не ответила и, не прощаясь, мы заторопились на вокзал.

Это приключение было скоро забыто, но, повзрослев, я о нём вспомнил и спросил маму о том, что случилось с ней на шахте. Она отмолчалась, и под влиянием громких разоблачений ужасов сталинского режима я стал подумывать, что и мама пострадала от репрессий. И, признаться, разочаровался, когда узнал, что вся головка шахты (директор, главбух) проворовались, и мама, напуганная их арестами, бежала, куда глаза глядят. Но она была нужна следствию и суду как свидетель. Её, конечно, быстро нашли, допросили. Найти меня ей, кажется, помог следователь, который вёл «шахтное» дело...

— Кончай ночевать!

Я открыл глаза и встряхнулся. Салон автобуса был пуст и залит светом.

— Для тебя включил, чтобы не споткнулся. Спешу, а то не достанется, — крикнул мне шофёр и захлопнул за мной дверцу.

Вагон был нагружен цементом, но не навалом, а в бумажных мешках, что было для нас большим облегчением. Разгружать рассыпной цемент адова мука, он лезет под одежду, в глаза, в нос, в уши, словом во все дырки, разъедает потную кожу, набивается в волосы, но последнее, нам, стриженным наголо, не грозило.

— Сколько по накладной грузу? — спросил лейтенант у получателя цемента.

— Сорок тонн, — сказал очкастый старичок в потёртом зимнем пальто с каракулевым воротником.

— Меньше вагона! — бодро воскликнул Зубов. — Навались, мужики! Железная дорога требует вагон, так что работать без перекуров, чтобы не простыть. Разбирайте тряпошные мешки.

Последнее приказание лейтенанта обличало его как заботливого начальника. Он мог, конечно, заставить нас таскать цемент без всякой защиты, но не забыл прихватить с собой мешки, и мы их живо расхватили, и накрыли ими свои головы и плечи наподобие накидок.

К счастью, вагон стоял вровень с платформой, к нему не нужно было устраивать сходней, и мы сначала нехотя, а потом всё живее устремились в его сумрачное чрево, едва освещённое лампой - переноской.

Я пересчитал всех по головам, нас, кроме бугра, было двадцать человек. На каждого выходило по две тонны груза, или сорок пятидесятикилограммовых мешков, которые нужно было вынести из вагона и сложить на платформе в штабель. На деле таскали мешки не двадцать человек, а четырнадцать: двое подавали мешки на плечи грузчикам, двое складывали их в штабель на платформе, а у двоих обнаружилась хворь: у одного грыжа, у другого вступила в спину боль, и он, скрючившись, стоял возле вагона и терпел укоризненные матерки от работяг. Подхватив на плечо, жёсткий, как кирпич, мешок, я покачнулся, но устоял и, втянув в ноздри цементную пыльцу, заспешил на платформу.

«Да, это шабашка! — подумал я, бросая мешок с плеча, и, поправив накидку на голове, не спеша направился к вагону. — Сорок тонн это восемьсот мешков, на четырнадцать спин выходит почти по шестьдесят».

После пятой ходки я уже вполне согрелся и не чувствовал довольно крепкого морозца, а после десятой почти вскипел и, оглядевшись, убедился, что мои товарищи чувствуют себя не лучше. Пора было сделать перекур, кто-то об этом заикнулся, но бугор на него цыкнул:

— Погодь, зуб слиняет и курнёшь!

Лейтенант Зубов, точно, собирался уехать, он стоял возле автобуса и что-то втолковывал шофёру. Наконец зажглись фары, взревел мотор, и начальник отряда отправился на побывку к жене, где его ждал горячий ужин и тёплая семейная постель. Я проводил взглядом автобус и потянулся к карману за сигаретами. Неподадалёку послышался треск, вспыхнул огонёк, и скоро белые лоскутья пламени охватили груды разломанных досок, которую тут же окружили люди и запротягивали к огню

руки, кто погреться, кто схватить горящий кусок дерева и засмолить от него самокрутку или дешёвую сигарету.

К ночи стало морознее, и скоро у меня заглодела спина, стало прихватывать уши, я потоптался, попрыгал, и нехотя пошёл в вагон, за мной потянулись и другие. Обрато я уже не спешил бежать с мешком цемента на платформу и шёл размеренно, разумно экономя силы, чтобы не вспотеть, а постоянно находиться в разогретом состоянии.

Здоровый, как бык, бугор устал мёрзнуть возле костра и, накрывшись мешком, подставил свои широченные плечи под цемент:

— Клади два мешка!

Мужики закинули на него центнер, он даже не покачнулся и лёгким скользящим шагом вынес их на платформу, чтобы вернуться опять в вагон.

— Догоняй, слабаки! — оскалился бугор, делая третью ходку.

Некоторых пример бугра оживил, но ненадолго, наши силы были уже на исходе. Для меня каждый следующий мешок был намного тяжелее предыдущего, ноги и тело налились цементной тяжестью, как я не берёгся и не укрывался, цементная пыль просочилась сквозь одежду, смешалась с потом и теперь разъедала кожу. Тело стало зудиться, порой нестерпимо, и я, щадя ватную куртку, тёрся спиной об угол дверного проёма вагона.

Мешков заметно убыло, но и наши силы были на исходе. От бессилия чем-то себе помочь мы стали ругаться, злобно поглядывать друг на друга, и кто-то, пробежав мимо костра, где грелись объявившие себя больными мужики, пнул одного так, что тот рухнул с платформы. Это нас развеселило, оттого, что кому-то стало плохо, мы даже воспрянули духом, и кто-то крикнул:

— И другому дай пенделя!

— У меня грыжа! — взвизгнула будущая жертва. — Вы все видели в бане, какая у меня кила!

Мы задвигались побыстрее, но, сделав пару ходок, опять скисли, бросили работу, сгрудились возле костра, тупо смотрели на пляшущее пламя и раскалённые угли и уныло молчали. Настроение не улучшилось и с прибытием автобуса, он был пока нам не нужен, поэтому мало кто поглядел в его сторону, пока не хлопнула дверца, и к нам не подошёл шофёр с большой сумкой в руке.

— Гуляй, братва! — весело объявил он. — Зуб подогнал вам шесть буханок хлеба и банку повидла. Велел передать, чтобы не мякли и вагон разгрузили до полуночи.

Моё нутро уже успело зацементироваться, и голода я не чувствовал, но это продолжалось недолго. Скоро в моих руках оказались два толстых ломтя белого хлеба, покрытых сантиметровым слоем яблочного джема.

— Наш лейтенант клёвый мужик! — с придыханием восхищенно вымолвил кто-то.

— С Зубом жить можно! Он нашего брата понимает! — зашумели почти все разом.

Помнится, даже я вякнул что-то одобрительное в адрес начальника отряда, давясь сладким куском белого хлеба.

Расправившись с доппайком, я скоро почувствовал, что меня не покачивает, и я твёрдо стою на ногах, спина готова принять на себя столько мешков с цементом, сколько потребуется для того, чтобы опростать вагон полностью.

Старичок-приёмщик тоже повеселел и бодро воскликнул:

— Навались, ребята! Осталось всего ничего.

Мужикам не понравилось, что их погоняет какой-то хмырь, и того чуть не затоптали, и только чудом он удержался на краю платформы и не упал на рельсы.

— Осталось мешка по три на брата! — объявил бугор. — Надо побыстрее их дотаскать, пока нас от жратвы в сон не потянуло.

Шофёр завёл мотор автобуса, чтобы его прогреть, это нас подстегнуло. И я свой последний мешок вынес из вагона чуть не бегом, швырнул его возле штабеля, он разорвался и обдал

цементной пылью приёмщика, но меня уже рядом с ним не было, я вбежал в автобус и, рухнув на сидение, в изнеможении смежил веки.

— 8 —

К большому для себя удивлению я на разгрузке не простыл, и в понедельник, после завтрака, вместе с первой сменой, гремя сапогами по замёрзшей дороге и спотыкаясь на комьях грязи, брёл к заводу, который находился в полутора километрах от ЛТП. Нас никто не охранял, колонну сопровождал дежурный прапорщик, который шагал в стороне, не обращая на нас внимания.

Над производственными корпусами, котельной, огромным, похожим на крытый стадион, зданием глинохранилища, висела пелена плотного предзимнего тумана. На железнодорожной ветке пыхтел над дюжиной вагонов и открытых платформ мотовоз, медленно волоча их на территорию завода.

За проходной наша нестройная колонна распалась окончательно, и все стали расходиться по рабочим местам.

— За нашим отрядом, — сказал Степан, — закреплена одна нитка, это две обжигальные печи, сушилки и формовочный цех. Я о тебе с мастером поговорил, пойдёшь откатчиком на формовку. В печи жара, а у нас прохладно, да и заработки неплохие.

Степан явно брал меня под покровительство. Он имел лёгкий и уживчивый характер, никогда не унывал и не киснул от передрыг, которые ему выпадали в жизни.

— Зайдём к Кильдымычу, — сказал он, когда мы пришли на формовку. — У сменного мастера забавная кликуха, его зовут Кильдымычем, он постоянно в комнатухе своей, в кильдымчике, сидит.

Кильдымыч был здоровенный мужик лет сорока пяти, с одним глазом и в очках. Он сидел на скрипучем стуле и

перебирал на столе производственные бумажки. На нас он даже не посмотрел и на приветствие ответил побряхтыванием.

— Докладываю, — тараторил Степан. — Ночью чуть с кровати не упал, во сне такую красотку мацал, что не хотел и просыпаться!

— Привет, — сказал Кильдымыч, — кормят, видно, вас там одним рыбьим жиром, вот и бьёт в голову дурь.

— Так точно! — подхватил Степан. — Сегодня на завтрак минтай подали, так еле проглотил, настолько был жирный, кирза в масле и чай густой, ложка стоймя стоит.

— С ума сойти, — усмехнулся мастер, — завидки берут, как вы там жируете.

— Так давай к нам. Спрячем в строй и уведём.

— Да вот беда какая, почки отказывают. Пить нельзя, а у вас трезвенников не берут.

Кильдымыч повернулся ко мне:

— Этот что ли откатчиком?

— Этот, — ответил Степан и хлопнул меня по плечу. — Ну, я пошёл в слесарку.

— А ты иди в раздевалку, — сказал мне Кильдымыч, — найди себе там какую-нибудь спецовку, потом новую выпишу.

В раздевалке было темно и сыро. Узкие забеленные на всю высоту окна едва пропускали свет, пахло потной непросохшей одеждой, мылом и гнилой застоявшейся водой. Шкафчики для рабочей и чистой одежды стояли вдоль стен вплотную друг к другу. Проход между ними был застелен скользкой деревянной решёткой, которая прикрывала бетонный жёлоб для стока воды.

Я снял телогрейку, сунул её в свободный шкафчик, выбрал из кучи наваленной на полу одежды целые куртку, штаны и натянул их поверх своей одежды.

В раздевалку заглянул Кильдымыч.

— Ну, что, готов? — спросил он. — Пойдём, я тебя проинструктирую, распишешься за технику безопасности.

Чёрный задымленный пролёт цеха придавил меня своей высотой. В воздухе качалась на свету тонкая полоса пыли.

Потолок и стены вибрировали от гула невидимых мощных машин.

— Это наверху, на вальцах тонкого помола, — сказал Кильдымыч. — Оттуда глина через течку, вон видишь кожух в потолке, поступает в глиномешалку. В глиномешалке её заливают водой, перемешивают и пропаривают. Это делает заливщица. Из глиномешалки замес попадает в верхний шнек прессы. Там его перелопачивает вал и спускает в нижний шнек, где тоже есть вал, наподобие как в мясорубке. Под сильным давлением брус глины выходит через мундштук, видишь, вон деревянный, водой поливается. Полуавтомат рубит брус на кирпичи, которые ложатся на рамки и катятся к шагающему устройству. Оно подаёт рамки с кирпичом на подъёмник, ровно десять штук. Тут уж начинается твоя работа...

Кильдымыч взял меня под руку и подвёл к подъёмнику.

— Конечно, нужно было бы тебе с денёк поучиться, поднатаскаться, да вишь как получилось, — виновато пробурчал он. — Некому работать. А бабу не поставишь. Хоть и выносливые они, бабы, а рычаг отжать не могут, мужицкая сила нужна. Будешь рамки на рожки сажать, целься аккуратнее. Отжимай рычаг осторожнее, руку от себя немного отводи, а то саданёт по кумполу, не приведи, господи! На вот, распишись...

Кильдымыч достал из внутреннего кармана широченной куртки свёрнутый вдвое засаленный журнал, вытащил из-за уха очиненный карандаш и, написав мою фамилию, дал мне расписаться.

— Степан! Степан! Ну-ка, поди сюда! — позвал он слесаря.

— Ну, что тебя разобрало! Чего надо? — Степан недовольно высунулся из-за прессы.

— Иди сюда! — голос Кильдымыча перекрыл вой начавших набирать обороты электромоторов.

Задержавшись, чтобы показать, как ему некогда, Степан подошёл. Он был расстроен: можно было бы сейчас, когда запустят пресс, запереться в слесарке и заняться шабашкой, но

надо какое-то время побыть возле нового откатчика, чтобы помочь ему освоить нехитрое ремесло.

— Подучишь нового откатчика! Смотри аккуратнее, — приказал Кильдымыч.

— А это? — Степан пощёлкал пальцами. — Детишкам на молочишко...

Кильдымыч побагровел, видимо, хотел выругаться, но сдержался, и, повернувшись всем телом к Степану, проворчал: «Запишу».

Постепенно цех заполнялся людьми. Мундштучники, укладчики рамок, отбраковщики, лафетчики, — все сплошь женщины, — выходили из раздевалки и занимали свои рабочие места. Делали они это неторопливо и уверенно.

На меня никто не обращал видимого внимания, но я нутром чувствовал общий интерес к себе и весь подобрался.

К соседнему прессу развалистой походкой прошёл из раздевалки Костя. На ходу он напялил на руки рукавицы, отшвырнул ногой валявшиеся на рельсах кирпичи и одним рывком скатил с платформы электролафета гремющую вагонетку.

Мне тоже не терпелось скорее приступить к работе, чтобы за общей занятостью, сутолокой, шумом спрятать себя, свою неуверенность и краску стыда на щеках.

— Не тяни, показывай, — сказал я Федорчуку.

Взревел, почувствовав сопротивление вала, электромотор. Многотонная чугунная громада прессы вздрогнула, но влитые в железобетон анкерные болты удержали его на месте. По смоченной водой прорезиненной ленте из мундштука потёк сплошной глиняный брус. Смычок полуавтомата туго натянутой струной бил по воздуху звонко и резко. Вот он отсёк от бруса первый кирпич, второй, третий, целую рамку кирпичей, и она покатила по визжащим роликам на шагающее устройство.

Многоголосый шум, вой, визг, свист, щёлканье со всех сторон впились в меня, будто старались смять и оглушить. Невольно я шагнул к Степану, но отшатнулся: он левой ногой

резко толкнул вагонетку в подъёмник, и она мягко вошла десятью рядами рожков в поднышающую стену кирпичей, окутанную густым белым паром.

Степан всем телом навалился на рычаг, поднял десять рамок с кирпичами, звякнул защёлкой, и вагонетка сама покатила по рельсам на электролафет.

Пока Степан возился с первой вагонеткой, на подъёмнике уже набралась вторая. Он с лязгом и грохотом сорвал пустую вагонетку с платформы электролафета и, не глядя, катнул её в подъёмник...

Постепенно начальная запарка спала. Обозначился чёткий ритм работы, и Степан начал объяснять мне азы нехитрого ремесла.

— Рожками не целься, — бормотал он, смахивая с кончика носа крупные капли пота. — Вагонок всего пять. Привыкни к каждой. Угол подъёма определяй рычагом. Одни вагонки лёгкие, другие тяжёлые, тут ничего не попишешь, такими их слесаря уродили. Торопись спокойно, вагонки не бойся, но опасайся, как-никак центнеров семь весит с кирпичом.

Вслушиваясь в слова Степана, я чувствовал, что мне становится легче, многоголосый шум формовочного цеха перестал терзать слух. Я уловил в нём осмысленность, которую определяли хлёсткие, как удары бича, взмахи полуавтомата, отсекающего смычком от бруса один кирпич за другим. Мне не стоялось на месте. Отстранив Степана и плохо слушая, что тот мне говорит, я двинулся навстречу дымящейся стене кирпича: «Семь, восемь, девять, — отсчитывал я. — Моя!»

Вагонетка мягко врезалась в слегка подрагивающую стену сырых кирпичей, и, почувствовав, что рожки дошли до упора, я всем телом навалился на рычаг. Выжимая его, заметил, что все на меня смотрят, но это только лишь подстегнуло. — Раз! — Рычаг защёлкнулся.

Степан легонько, одной рукой помог выкатить вагонетку из подъёмника.

— Молоток! — сказал он совершенно серьёзно. — Только наваливайся больше телом, а не рукой. Одновременно тяни вагонетку на себя.

Даже Кильдымыч вышел ради такого случая из своего «кильдымчика». Но к нам не подошёл, стоял на противоположной стороне возле второго пресса и удовлетворённо жмурился. Судя по всему, он был доволен.

Внезапно тяжёлое дыхание пресса прервалось. Замерли ленты транспортёров, ролики шагающего устройства и ступенчатые цепи подъёмников. Остановился и второй пресс. Воцарилась тишина, зыбкая, почти нереальная. Я воспринял её с опозданием после того, как Степан плюхнулся на скамейку и сказал глухим ватным голосом:

— Пока отвоевались. Кури! Глины нет.

Тяжело переваливаясь, куда-то протопал Кильдымыч.

Бабы отхлынули от пресса и, сбившись в стайку, начали переговариваться.

— А эти, местные? — спросил я.

— Местных тут почти нет. Мужики, в основном, наши — из зоны, а баб из деревень возят, они здесь отработывают, кто три месяца, кто полгода зимой за кирпич, который колхозам и предприятиям завод отпускает.

В мутном просвете выходной двери цеха появился Кильдымыч.

Осторожно ступая по мосткам, под которыми текла вода из мундштука, он двигался к прессу и весело кричал:

— Давай, давай! Сейчас подойдёт глина!

Женщины неторопливо вставали на свои места.

— Последняя неделя, бабоньки, как раз должны на прогрессивку вытянуть!

Из течки посыпалась глина, пресс заработал чётко, без перебоев, выгоняя из своего нутра скользкий глиняный брус. Не прошло и двух часов, как я притерпелся к своей работе, и она мне в чём-то даже понравилась. Скорее всего, тем, что я видел результаты своего труда сразу, а кирпичи на полках вагонетки

отдавали хлебным теплом от опилок, которые добавляли в глину для равномерного обжига кирпичей в кольцевой печи.

— По две камеры с каждой стороны загрузили, — сказал, проходя мимо, Кильдымыч. — Почитай, десять тысяч штук рубанули. Давай, давай!

В двенадцать часов дня Степан выключил главный рубильник и обесточил все электромоторы.

— Иди в слесарку, а я пока за хлебовом сбегаю, — крикнул он мне и нырнул в дверь.

В слесарке за столом, обтянутым нержавеющей сталью, сидели Кильдымыч, Костя и слесарь с кольцевой печи, работающий по свободному найму. Они собрались играть в домино.

— Садись четвёртым, — поманил меня Кильдымыч. — Устал, поди?

— Не очень.

— Да что там, — махнул рукой мастер. — Я, брат, сам на откатке семь лет отмантулил, знаю, что почём. План поднимают, а работать некому, на вашем заведении и держимся.

В домино я играл плохо, но Кильдымыч в этом деле был мастак. Стараясь играть так, чтобы не слишком ему мешать, я постепенно приходил в себя.

— Ничего, постепенно привыкнешь, — сказал Кильдымыч, припечатывая костяшку к стальной обшивке стола. — Через неделю войдёшь в норму. У нас работать можно. Не то, что раскалённые кирпичи из печки таскать. У них там хоть и заработка побольше, но на вашей кормёжке тянуть трудно.

— Да, — сказал слесарь, — у нас на печи летом — труба. Жара под семьдесят, воздух, что твой кипяток.

— А тут, — продолжал Кильдымыч, — полторы сотни у тебя будет. А куда больше? На своё содержание заработаешь.

Дверь в слесарку распахнулась и боком, осторожно неся котелки с обедом, вошёл Степан.

— Суп гороховый, минтай с картошкой, — объявил он. — Завтра, Костя, твоя очередь за обедом идти.

— Схожу, — сказал Костя, доставая из кармана куртки ложку. — Скоро в темноте светиться начнётся.

— Что так? — спросил слесарь.

— Не понял, что ли, — засмеялся Степан. — В минтае ведь повышенное содержание фосфора. Научно доказано.

— Да, — сказал Кильдымыч, — кормят вас, ребята, как на убой, сплошные жиры и витамины.

Суп был чуть тёплым, но, проголодавшись, я съел свою порцию полностью, и в эту же крышку от котелка Костя бросил несколько картошек и осклизлый от пара кусочек рыбы.

— Нет, я мужики, решительно пересмотрю свою позицию, — сказал Степан, сплёвывая под стол рыбки косточки. — Сейчас жить можно. Вот выйду по половинке и займусь делом.

— Каким? — оживился Костя. Он уже поел и вытирал котелок обрывком газеты.

— Дел уйма, только стоит вокруг оглядеться, — сказал Степан. — Государство оно не глупое, понимает, что нужно свободу людям давать. Вот и закон вышел об индивидуальной деятельности. Как раз к моему выходу всё на местах обмозгуется.

— Ну и чем же заниматься надумал? — спросил я.

— Полно дел, только надо, чтобы репа чуток варила. — Степан достал из нагрудного кармана спецовки карандаш и начал рисовать на столешнице. — Вот река наша великая Волга. Вот наш посёлок. А это островки. Взять такой островок в аренду у поссовета, вывезти туда весной несколько семей кроликов, а к осени они размножатся, хоть косой коси. И главное, бежать им некуда. Я узнавал, где-то полтинник кило мяса, не считая шкурки.

— Голова! — сказал Кильдымыч. — Ну, прямо Рокфеллер.

— А сколько таких островков по Союзу! — оживился ободрённый вниманием Степан. — Если их все или хотя бы половину заселить, то по кроликам мы бы Австралию запросто перекрыли.

— Пропьёшь ведь прибыль, — усмехнулся Кильдымыч.

— Ни в жисть! Я ведь на свои никогда не пил. Только на шабашки. А у нас ведь как? Норовят все бутылку поставить. А скажешь, что не надо бутылки за десятку, а заплати деньгами трояк, так за жмота ославят. Вот и приходилось бутылками брать. Кому телевизор починишь, кому стиральную машину... Вон жена прошлый раз приезжала, говорит, что участкового нашего жена поедом ест. Ты, говорит, зачем Степана в ЛТП оформил? У них цветной телевизор полетел, в КБО пять раз ремонтировали, на неделю того ремонта только и хватает.

— Это точно, — вздохнул Кильдымыч. — На Руси мастеровой человек обязательно пьющий, до смерти работает, до полусмерти пьёт. Действительно, мы сами бутылками его портим. А тебе, Стёпа, сколько денег для полного счастья нужно?

— Денег, — задумался Федорчук, — от миллиона бы не отказался. А я бы и заработал миллион, если бы не препятствовали. Я вон своей бабе посудомоечную машину сделал, комбайн целый. Если в условиях производства, так он рубли стоил бы, а продавать можно на сотни. А кому он нужен, у нас ведь всё вроде наше, завод взять этот даже, а коснись чего, так хозяина не найдёшь. Ведь ты, Кильдымыч, не хозяин ему, и директор ему не хозяин. Как так получается, вроде должны болеть за своё родное, а на деле как? Неделю назад кладовщик взял и за сотню отпустил налево кирпичную машину, теперь ему тюрьма. Что ж его, хозяина, взяли и арестовали?

— Ты не путай, Степан, — нахмурился Кильдымыч. — Какой он хозяин? Те, кому положено, решают эти вопросы, а наше с тобой дело давать план.

— Нет уж, нет, — разошёлся Степан. — Я не об этом. План мы дадим, но кто мы такие? Ну, ладно мы, мы люди подневольные, а ты? Ты всю жизнь здесь работаешь, а можешь ли ты твёрдо и честно сказать, что завод твой, ну цех наш твой?.. Вот видишь, нет. Ты не хозяин, а мастер на окладе плюс прогрессивка и тринадцатая. Электромоторы вхолостую гудят, кирпич косой идёт, на полках то семь, то тринадцать штук, и

нам с тобой до лампочки. Нет у нас хозяйского взгляда, ибо не наше всё.

— Чего же ты предлагаешь? — перебил Степана мастер.

— А чо, выхода нет, что ли? Если бы я был здесь хозяином, то и работал бы соответственно.

— Ну, ты, Степан, договоришься, что раскулачивать тебя придётся, — встрял в разговор Костя.

— И, правда, мужики, — спохватился Кильдымыч, — кончай шабашить.

После обеда работа шла с перерывами: не хватало глины. Как объяснил мастер, завод уже выработал ближние карьеры, и теперь глину возили издалека. Самосвалы были старенькими, разбитыми и часто ломались. После обеда часть из них уже стояла на ремонте, поэтому подача глины шла с перебоями, порциями.

Но этому никто, пожалуй, кроме мастера, не огорчился, и я тоже. Женщины, оставив пресс, сбивались в кучку и о чём-то судачили, я сидел на скамейку и, привалившись к стене, закрывал глаза. В больничке я привык спать от души, и сейчас меня с непривычки клонило в дремоту.

Я не пытался оценивать своё положение, в которое попал. До того ли мне тогда было? Но в глубине души копилось что-то неприятное, злое. Хорошо, думал я, я буду десять или двадцать месяцев катать вагонетки на кирпичном заводе, понуждаемый условиями своего положения, но стану ли я от этого лучше? Избавлюсь ли от своих грехов, если через мои руки пройдут сотни тысяч кирпичей, тысячи тонн глины? В это я не верил. Тогда что такое этот труд, кроме того, что я должен содержать себя и всех тех, кто обо мне печётся с таким старанием? Ответа пока у меня не было. Может быть, через годы буду вспоминать об этом времени с благодарностью, кто знает, но сейчас моя жизнь была заперта в замкнутое пространство, и в окружающей меня тьме нет ни одного просвета.

Первая смена строилась возле проходной завода. Все мы были разогретыми после душа, и прятались от зябкого ветра за кирпичной стеной ограды, злобно ругая опоздавших.

— Все собрались, что ли? — спросил прапорщик, сияя медью пуговиц на ладно пригнанной к телу шинели. — Разберись по пятёркам! Быстрее! Сами себя задерживаете.

Последним притащился мужичонка в длинной до колен телогрейке. Его встретили матом и тычками загнали вглубь строя.

— Шагом марш! — скомандовал прапорщик, и мы тронулись скорым шагом по осклизлой грунтовой дороге.

— Подтянись! — покрикивал прапорщик. Он был, видимо, недавно из армии, и ему нравилось командовать и чувствовать себя начальником. — Подтянись! Сами себя задерживаете!

Тяжёлые железные ворота зоны дрогнули и, лязгая на направляющих роликах, поехали в сторону. Вышел дежурный наряд и весело поглядывал, как прапорщик подгоняет отставших.

Первая пятёрка, головной ряд колонны, сделала несколько шагов вперёд и остановилась. Дежурный прошёл вдоль неё, заглянул в авоську, которую держал мужик с опущенными клапанами ушанки, другого охлопал по оттопыренным карманам и скомандовал следующей пятёрке выдвинуться на линию контроля.

— Вроде лысый не очень шмонает, — слышал я за спиной быстрый шёпот.

— Это как повезёт, — прозвучало в ответ. — У него, гада, нюх на это дело, как у псыры...

И, правда, у старшего прапорщика было феноменальное чутьё. В четвёртой пятёрке он без всякой видимой причины выдернул из строя принудбольшого и, задрав на животе телогрейку, вытащил у него из-за пояса резиновую грелку.

— Всё, попух мужик!

— Теперь ему хана!

— Надо же, а по половинке шёл!

— Разговорчики! — ошетинился старший прапорщик.

У меня в карманах, кроме курева, ничего не было, и когда дошёл черед до нашего ряда, он возле меня даже не остановился, просто прошёл мимо, обдав сладковатым запахом дешёвого одеколona.

– 9 –

Главврач капитан Попов, казалось, забыл о моём существовании, за месяц меня ни разу не вызывали в «рыгаловку», я понемногу пришёл в себя, и моя жизнь приобрела некоторую определённую и устойчивость. Я работал, ел, спал и ничего, кроме тягостных воспоминаний, меня не беспокоило. Прошлое продолжало гнаться за мной по пятам, обжигая душу напоминанием, что у меня больше нет ни настоящего, ни будущего, и теперь мне предстоит жить только минувшим, бесстрастно просеивая его в поисках причины всего, что со мной случилось.

Тяжёлая работа откатчика помогала мне забыться, бывали дни, когда я едва-едва добирался до своей койки, особенно тяжёлой для меня была третья, ночная смена, с постоянным недосыпом, к которому невозможно было привыкнуть.

Но через месяц я всё-таки втянулся в ритм новой жизни, тело окрепло, сердце перестало тархтеть в груди, ночные кошмары отступили, сон стал крепким, каким только и может быть у человека со спокойной совестью, но вот как раз с ней-то у меня были серьёзные заморочки. Ведь что только не вспомню, то словно обожгусь: и тут я был неправ, и здесь вёл себя как хам и подонок — словом, ни одного светлого облачка на уплывающем горизонте моей жизни.

Я был одинок, но одиночество не тяготило меня, скорее наоборот, как, впрочем, и других. Во всяком случае, тут можно было услышать разговоры о чём угодно, только не о своих родных и близких. О них мы предпочитали молчать, каждый

перемалывал свою боль в одиночку, поскольку у каждого она была своя. И никто не лез к другому в душу, это если и случалось, то доходило и до мордобоя.

Кого только среди нас не было, каких только людей не собрала здесь пьяная судьба, и у каждого была своя кривая дорожка, у каждого имелась своя изломанная и запутанная планида. Враньё, что пьянство стирает личность, так можно говорить о людях, которые пьяны, но стоило нам отойти от похмелья, чуть подлечиться — у каждого сразу проявилась своя физиономия, свой норов, пусть и дурацкий, но свой.

Самую мутную прослойку в отряде составляли бывшие уголовники и никогда не работавшие бичи. Эти ничего не знали, ничего не умели и ничего не делали. Лишённые свободы и вина, они все свои силы употребляли на то, чтобы увильнуть от работы, достать чаю и зачифирить, а после, покуражиться, но так, чтобы не узнал лейтенант Зубов. Доставали они и вино, и водку, правда, это случалось редко, но всё же случалось. К тем, кто не знал настоящей зоны, они относились с презрительным превосходством и затирали всех, кто был слабее и не мог дать отпор.

Блатная шушера сделала ещё одну попытку навалиться на меня кодрой в умывалке, где я курил после отбоя. И худо бы мне пришлось, не поспей на выручку Костя. Вдвоём мы их порядком отвалтузили, и с той поры они от меня отстали, но я крепко помнил, что от блатоты надо держаться в стороне и не подставлять ей спину, чтобы не получить в неё нож или шило.

В столовой они первыми бросались к бачку, который стоял на столе, старались урвать себе более сытные куски, из-за чего случались стычки. Михайлыч, которого назначили бугром, первым делом навёл в этом вопросе порядок, но и ему это удалось не сразу и пришлось об кое-кого разбить кулаки.

Мы работали пять дней в неделю. Суббота и воскресенье считались выходными, но и в эти дни частенько случались авралы, и мы шли на разгрузку вагонов или в другие места, где требовалась наша помощь. Для райцентра мы делали много:

копали траншеи для отопления и линий связи, разгружали уголь и дрова, помогали строить больницу, и районное начальство было в восторге: так повезло не каждому району — иметь под боком в своём распоряжении несколько сотен крепких безотказных работников.

Дни шли, высыпаясь по одному из того мешка, с которым отправил меня сюда народный суд, набив его полным под завязку сроком. Прошли октябрьские праздники, в начале декабря, перед Днём Конституции, наконец-то лёг снег, и у нас прибавилось хлопот, мы расчищали территорию зоны, дороги и железнодорожные пути.

Морозы уже доходили до двадцати градусов, и формовочный цех продувало вдоль и поперёк. Но Кильдымыч расстарался и где-то спёр, наверно, у выгрузчиков кирпича, и подарил мне обрезанные по щиколотку валенки и просторную и не продуваемую никаким ветром куртку из мягкого и толстого брезента, чтобы я не простыл и не сорвал своей болезнью график социалистического соревнования со сменой, которая заступала после нас.

Никогда не мечтал стать маяком и ударником, но пьянка до чего только не доводит слабовольного человека, вот и мне пришлось побывать в передовиках и даже получить из рук Зубова переходящий вымпел, и моя унылая физиономия украсила почётную доску ЛТП.

Начальство на меня положило глаз и вскоре снабдило ещё одним увлекательным поручением — назначило агитатором по выборам народных судей. Для меня это стало большой новостью. Я думал, что все принудбольные лишены избирательных прав, но они и за колючкой на кирпичном трёхметровом заборе продолжали числиться полноправными советскими гражданами, вот такой юридический шарж.

Однако нам и без понимания своего юридического статуса было ясно, что нас загнали сюда не из-за каких-то высших соображений, а чтобы мы своим босяцким видом не портили картину социалистического благоденствия, с его воспетым

литературными и прочими корифанами непогрешимым «облико морале». Но, кажется, главное значение имело использование нашего труда, почти рабского, на плантациях кирпичного завода и в других местах, где отказывались работать добропорядочные люди.

Капитан Шишков объявил меня агитатором с таким апломбом, будто наградил орденом Святого Ебукентия, специально учреждённым Минздравом и МВД для таких положительных личностей как я, с надписью золотом по красной эмали «Исправленному — верить!»

— В воскресенье встреча судьи с коллективом, — сказал Шишков. — А сейчас дуй в избирательную комиссию за листовками и расклей их во всех отрядах, в клубе, больнице и столовой.

До райцентра, что был от ЛТП в двух километрах, я добрался без затруднений, на хлебовозке, привозившей хлеб из пекарни. Давненько мне не приходилось бывать среди обычного, не спутанного судебным приговором народа. Шофёр тормознул на углу оживлённой улицы, я с некоторой опаской вышел из кабины и огляделся по сторонам. Неподалёку на заснеженной площади торчал памятник вождю, за ним, посверкивая широкими окнами, стояло здание райисполкома.

Была суббота, но несколько членов избирательной комиссии находились на месте, и я без всяких проволочек получил агитационные материалы, свернул их в толстый рулон, связал шпагатом, и, подхватив на плечо, потопал к большаку, чтобы поймать попутку.

Возле большого продуктового магазина я остановился, пересчитал имевшиеся у меня деньги и подошёл к прилавку, где сразу прилип увлажнённым взглядом к бутылкам с вином и водкой. Сглотнув слюну, я превеликим трудом преодолел искушение и стал изучать продуктовую витрину. Десяти рублей хватило на сигареты, две буханки белого хлеба, килограмм халвы и пятьдесят коробок спичек, на которые в профилактории почему-то возник дефицит, как впрочем, и на «Приму». Такое

часто бывало: то одно пропадёт из продажи, то другое, но почему это случалось, никто, даже всеведущий в политике капитан Шишков, не знал. Не спускали замполиту из ЦК КПСС сведения столь секретного характера, и ему приходилось выкручиваться самому, когда его спрашивали об этом принудбольные, сдвинутые на политике.

Дежурный по профилакторию разрешил мне доложить замполиту о выполнении задания, а сам принялся проверять содержимое сумки. Он вскрыл пару пачек сигарет, осмотрел буханки и ничего запретного не обнаружил.

Покупки я занёс в отряд и доверил их своему соседу по койкам Михайлычу. Бугра следовало уважать, что заметно облегчало жизнь, и эту нехитрую мудрость я просёк вскоре, как очутился в загоне.

Шишков с интересом просмотрел все бумажки, которые я ему приволок, и, постучав ногтём по широкому лбу изображённого на листовке угрюмого и пустоглазого человека, уважительно вымолвил:

— Иван Федотыч большого ума судья! Уже на пятый срок идёт.

Чтобы спрятать ухмылку, я отвернулся и закашлялся: выходит, что срок есть не только у меня, но и у судьи, подумать дальше, так все в нашей стране имеют сроки, и в зависимости от того, что это за срок, соответственно и живут, и радуются. А Ивану Федотычу, стало быть, корячится пятая ходка в народные судьи, что ж, не хило.

— Мне надо, наверное, как агитатору, выучить биографию судьи, чтобы рассказывать её на встрече с кандидатом, — проявил я инициативу.

— Конечно, конечно, — сказал замполит. — Эти бумаги раздай по отрядам. Но завтра будет иной сценарий: из области к нам едут журналисты и писатели. Будем работать на них. Иван Федотыч проведёт судебный процесс по освобождению двух-трёх человек досрочно, в клубе состоится встреча с писателями. У тебя завтра выходной?

— Как у всех.

— Будешь у меня на подхвате, — бодро сказал Шишков. — Ты ведь вроде скульптор и всю эту творческую шатию-братию в области знаешь?

— Кое-кого. А кто приедет?

Капитан заглянул в лежавший перед ним на столе листок бумаги.

— Киногруппа с телевидения. От писателей старшим поэт Беркутов, с ним Тёмин, прозаик, и юморист Медвежатников. Ты кого-нибудь из них знаешь?

Я судорожно сглотнул слюну и с трудом соврал:

— Никого, товарищ капитан. Я ведь общался только с художниками.

Замполит снабдил меня банкой клея, кистью, и я к вечеру освободился от наглядной агитации, часть расклеил в помещениях, а часть роздал отрядным буграм, пусть люди читают и просвещаются положительным обликом Ивана Федотыча.

— Ты где таскаешься? — встретил меня упреком Михайлыч. — Я чай заварил, Бывалину сказал, чтобы не уходил в кино, а ты запропал с концами.

— Едва с листовками разобрался. А что сегодня за фильм?

— «Премия». Уже второй раз крутят эту лабуду, как мужики отказались от премии. Это надо ж такую лапшу на уши работягам вешать.

— А я слышал, что режиссёр, сценарист и актёры, и прочая обслуга отказались от зарплаты, когда делали этот фильм, — сказал я, изобразив вполне натурально недоумение.

Михайлыч испытующе на меня глянул и погрозил пальцем.

— Врать надо уметь с детства, а тебе этому учиться уже поздно.

Недавно освободившийся бугор оставил Михайлычу на память чайный сервиз на шесть персон, заварочный чайник и сверкающий никелированными боками полуведёрный электрический самовар.

Михайлыч отдал мою сумку, я вынул из неё покупки, половину сигарет отдал бугру, хлеб и халву положил на стол. Бывалин выложил кулёк конфет, а бугор добавил на пиршественное застолье пачку печенья.

— Ты сегодня весь день возле начальства тёрся, — сказал Михайлыч. — Может, проведаль, чем нас завтра займут? Вагонов нет на подходе?

— Про работу не слышно, — я осторожно для пробы сделал малюсенький глоточек смоляной густоты чая. — Завтра ждут из области киногруппу и писателей. И судья явится освобождать по половинке нескольких человек.

— Повезло кому-то, — вздохнул Ерофей Кузьмич. — А я уж и не чаю, что выйду отсюда.

— Что, тяжело обувку чинить? — спросил Михайлыч. — Могу посодействовать, чтобы перевели на кирпичики.

— Я уж не знаю, где для меня сейчас хорошо будет.

— Есть такое место, где тебе самое место, — сказал бугор. — У бабки под юбкой!

— Не обижай старика, — заступился я за Бывалина. — Он безвредный.

— Потому и сидит со мной за одним столом, — важно провозгласил Михайлыч. — Я его в обиду не дам. А что за киногруппа? Что за кино снимать будут?

— Я сценарий не видел, но, надо думать, затеяно это для галочки.

У бугра чай в бокале был много крепче моего, его лицо скоро покраснелось, глаза заблестели, от чефира он поймал кураж, и я поглядывал на него с опаской, не учудит ли себе какого-нибудь членовредительства этот заслуженный хулиган и лагерный сиделец. Однако всё обошлось, мы умяли хлеб и халву, и я, с разрешения Михайлыча, который стал от чефира покладистым и благодушным, залёг на свою верхнюю койку и отрубился так крепко, что не слышал шума и гама, который сотрясал казарму, когда из клуба явились мои сожители.

Меня ждал трудный день: имя одного из писателей, которые завтра придут в ЛТП, было мне не просто знакомо, поэт Беркутов прошёлся по моей жизни и оставил в ней такое, что никогда не забывается, а в прежние времена смывалось только кровью. Но поединки не для таких слабаков, как я, единственное, на что я ещё остался способен, — только расцарапывать коросты, которыми покрылись нанесённые мне когда-то обиды, и жаждать мщения, — это происходило внутри меня и только иногда выплескивалось яркими сновидениями, которые заставляли, то судорожно сжиматься, то учащённо биться уязвлённое сердце.

Я никогда не страдал излишним самолюбием, но во мне была бездна дури и беспричинной неудовлетворённости жизнью. Я не умел ждать, не умел терпеть; всё, чего бы мне ни захотелось, я стремился получить в ту же минуту. И вместе с тем я был излишне доверчив, поспешно отдавался первому, нахлынувшему на меня чувству. Я принимал людей не такими, какими они были на самом деле, а какими их рисовало моё излишне горячее и склонное к приукрашательским фантазиям воображение.

Добрые и честные поступки, которые я иногда совершал, неизменно оборачивались против меня. Так и с моей поспешной женитьбой. Надо было или сразу уйти от Зинки, или продолжать ни к чему не обязывающие отношения. Так нет, мне захотелось быть честным, я почувствовал себя, по меньшей мере, коварным совратителем и поспешил немедленно исправить свой проступок предложением руки и сердца.

Жгучее чувство вины вспыхнуло во мне, когда мы встретились на следующий вечер в институте. Зинка была в тёмном платье, глаза и губы не накрашены, — грустная и какая-то потерянная. Мне было стыдно смотреть на неё, я называл себя в душе подлецом и негодяем. Я находился как будто в каком-то горячечном бреде и видел единственную возможность

спасти её и себя. Что из того, думал я, что у неё до меня были другие, нет, я не буду таким как они, мы не расстанемся, мы будем всегда вместе.

После лекций я дождался Зинку, и мы пошли по тёмной заснеженной улице. Она молчала и шла, слегка отстранившись от меня, будто чужая.

— Зина, — сказал я осевшим от внезапной хрипоты голосом, — что мы теперь будем делать?

— Ничего делать не надо. Ты получил всё, что хотел.

Она закурила и жадно затянулась дымом.

— Всё нормально. Не расстраивайся, Ванечка, я у тебя не последняя. У тебя всё ещё впереди.

— Но я не хочу! Не хочу! — почти закричал я, схватив её за руку. — Не хочу, чтобы было так, как ты говоришь!

— Глупый ты мой, любимый мой, — прошептала она. — Я ведь плохая, ты ведь знаешь.

— Нет, нет, ты хорошая, очень хорошая, — бормотал я, целуя её влажные от слёз податливые губы. — Я буду любить тебя всю жизнь.

Почему в этот миг никто, хотя бы бес, не ткнул меня в плечо и не шепнул, что люблю я вовсе не её, а себя, что меня распирает гордыня, потому что, видите ли, хочу спасти падшую женщину? Но никто меня не образумил, и я, сам того не сознавая, любовался собой, своим прекрасодушием и принимал это, вполне искренне, за любовь.

Мы тут же, не сходя с места, решили объявить наше решение её матери и оставшиеся дни я не находил себе места. Горячка схлынула, и здравый смысл стал мне подсказывать, что я поступаю неразумно, однако гордость и дурацкое упрямство твердили мне о невозможности отступить от принятого решения, заглушая внутренний голос, который предупреждал, что я когда-нибудь горько пожалею о своём торопливом и недалёковидном поступке.

Мать Зинки отнеслась ко мне доброжелательно, но без особого, как я заметил, восторга. Впрочем, она была

современной деловой женщиной, и у неё имелось много своих проблем, поэтому дочери предоставлялась полная свобода выбора. Я или другой, для Раисы Петровны это имело мало значения, что сразу стало ясным, как только разговор зашёл о квартире.

— Жить будете здесь, — решила будущая теща. — Я уйду к Фёдору Матвеевичу.

Кто такой Фёдор Матвеевич, она не сказала, но нетрудно было догадаться, что своим замужеством дочь развязывала ей руки.

Заговорили о свадьбе. Я был против большого застолья, и Раиса Петровна с этим согласилась.

До регистрации брака оставался месяц, и каждый день мою душу терзали сомнения. После первого всплеска чувств мной овладела апатия, сквозь которую нет-нет, да стали прорываться каверзные вопросы: а правильно ли я делаю? не тороплюсь ли? Немалых усилий воли мне стоило побороть чувство внутренней пустоты и равнодушия ко всему, включая и свою будущую жену. Зинка догадывалась, что мне скучно и старалась чем-нибудь развлечь, но это мало помогало. Бывало, развеселюсь от кривляния какого-нибудь телешута, но ненадолго, и начинаю киснуть и позёвывать.

— Ты, Ванечка, какой-то скучный, — шутливо говорила Зинка, — будто не жених, а старый-престарый муж, которому нужен только телевизор и газеты.

Я на какое-то время стряхивал с себя оцепенение, мы веселились, хохотали над всякими пустяками, вместе готовились к экзаменам, ходили в институт, но моя жизнь так и не приобретала понятного смысла, и я пребывал в недоумении и нерешительности, однако с этим вскоре было покончено. Зинка нашла способ покончить с моей хандрой, хитро и чисто по-женски.

После того случая близости между нами не было, и меня неудержимо влекло к ней. И она стала до определённой черты позволять мне многое, но когда я распаялся, ускользала из

моих слишком горячих объятий. Я обижался, порой даже уходил, хлопнув дверью, но, остыв, опять возвращался. Отпущенное мне на раздумье загсом время пролетело в суматохе приготовления к свадьбе и горячечной неудовлетворённости от неуступчивости женщины, которую я уже считал своей.

За день до свадьбы настроение мне испортила Валя.

Я пошёл в местком закрыть бюллетень и встретил её в коридоре лабораторного корпуса. Увидев меня, она резко отшатнулась к стене и крепко сжала побледневшие губы.

— Здравствуй, Ваня, — сказала она, пристально глядя мне в глаза.

— Здравствуй! — ответил я, прочувствовав болезненность этой встречи.

— Я видела её, — Валя, не отрываясь, смотрела на меня и на её ресницах дрожали слёзы. — Не разбираешься ты в людях, Ваня, Глупый ты, глупый! Она тебя предаст, вот увидишь, пройдёт время и предаст.

Её слова царапнули меня по сердцу и озлили. Я терпеть не мог, когда кто-либо вмешивался в мои поступки, пусть даже ошибочные. В такие минуты я яростно протестовал против самых очевидных вещей, и переубедить меня было невозможно. Так было и на этот раз.

— Ты тоже предала меня! — скривился я, стараясь вложить в свои слова побольше яда. — И вообще, что тебе от меня надо?

— Я люблю тебя! — всхлипнув, сказала Валя. — Люблю, но неужели ты не простил меня? Я искуплю, искуплю всё, что было. Только не женись на ней, прошу! Я же вижу её насквозь, я женщина, меня не ослепляет то, что ослепило тебя.

— Поздно!

— Пусть поздно! Но я хочу, чтобы ты знал, что у тебя есть я, кто любит тебя и будет ждать всю жизнь.

Пожав плечами, я не оглядываясь, бросился вверх по лестнице. «Надо же, какие страсти-мордасти! — злорадно думал я. — Где ты была раньше? Что думала, когда выходила замуж?»

Меня охватила волна нехорошего веселья от того, что я, наконец-то, отомщён — чувство постыдное для человека, но только не для меня.

Вечером я рассказал о Вале своей будущей жене, всё рассказал, и о детской влюблённости, и о тряпочках, и о том, как мы перевернулись на лодке, и о том, как написал ей любовное признание — всё! Я злобно юродствовал, насмехался над своим прошлым, оплёвывал его, и находил удовольствие в растаптывании своего чувства.

Зинка внимательно слушала, кое-что даже переспрашивала, но не веселилась, а даже поскущела и загрузила.

— Ты что не смеёшься? — скривился я. — Ведь смешно же. Детские, юношеские бредни, чепуха какая-то!

— Нет, это не чепуха, Ваня! Ты её любишь!

— Что! — вскричал я, возмущённый до глубины души. — Я её люблю? Это после того, как она поступила? Нет уж, нет! Это не любовь, а чёрт знает что такое!

— Тебе просто не хочется признаваться, что ты её любишь, — твердила Зинка.

— Нет! Нет! Тысячу раз нет! Я люблю только тебя, — и подхватив её на руки, начал кружить по комнате. Я действительно любил её в этот миг.

Ночью перед свадьбой я плохо спал, и утром встал с тупой головной болью. В доме уже начали собираться мои родственники. К обеду пришёл автобус, и мы поехали в загс.

Глядя на кипящую вокруг меня суету, на свою разнаряженную невесту с толпой подружек, я опять почувствовал, как мной овладевает скука. Я не находил в себе ни искорки радости, будто это разворачивается не моя свадьба, а какого-то чужого человека, а я здесь оказался случайно, как посторонний зевака.

До регистрации оставалось где-то полчаса, и я ушёл в комнату для жениха, открыл окно, сел на подоконник закурил. На улице кипела жизнь, шли по своим делам люди, мчались

автомашины. Из окна на меня повеяло свободой, которую я потеряю всего через несколько минут.

«А что? — с озорством подумал я. — Взять сейчас — да и махнуть через окно и уйти отсюда совсем. Послать к чертям всю эту свадьбу-женильбу!»

Я глядел на улицу, и меня так и подмывало желание убежать.

— Здравствуйте, — услышал я старческий голос позади себя.

— Я — Зинин дядя, Гаврила Максимович.

Передо мной стоял низенький старичок со старомодной стрижкой под «бокс», в двубортном костюме и хромовых сапогах, обутых в лакированные галоши. Эти галоши меня развеселили.

— Здравствуйте, — сказал я новоявленному дяде и угостил его сигаретой.

«Куда бежать? — подумал я, разглядывая дядю. — Всё, приехали...»

– 10 –

Сегодня Михайлыч перед тем, как оторвать голову от подушки, не ворочался, не кряхтел, а поднялся рывком, сунул ноги не в чуни, а в сапоги и, застёгивая на ходу штаны, направился к выходу. Я, открыв один глаз, проследил за ним и понял, что на подъём явился начальник отряда, и тоже не стал залёживаться и медлить с одеванием: спустился с верхней койки на нижнюю, надел на байковые кальсоны штаны, забил ноги в сапоги и, прихватив полотенце с обмылком, направился в умывалку.

Всё это я успел сделать до того, как в двери ворвался бугор и завопил:

— Отряд, подъём!

Народ никак не откликнулся на истошный крик Михайлыча, и он, ругаясь, кинулся раскачивать двухъярусные койки с таким остервенением, что несколько человек кубарем свалились со

своих лежбищ на цементный пол, а некоторых заставили подскочить с постели пинки и зуботычины, которыми награждал своих подчинённых бугор с обеих рук и ног. Наконец-то все прониклись, что в отряд на подъём явился лейтенант Зубов, и заторопились, чтобы не оказаться последним, кто встанет в строй. Последнего Михайлыч брал на заметку, и всю неделю над ним изгалялся нарядами на уборку умывалки и сортира.

Зубову внешний вид подопечных не понравился, и он отправил всех бриться, отмывать шеи и уши, предупредив, что построение будет через два часа, и в одиннадцать утра все должны быть в бараке, чтобы отправиться на торжественное мероприятие в клуб строем и с песней.

— Ты вчера на Шишкова трудился? — остановил меня Зубов.

— Он меня назначил доверенным лицом народного судьи.

— Поздравляю, — осклабился лейтенант. — Но ты особо не упираться, знаешь почему?

— Никак нет.

— Для тебя главное — отряд. Ты здесь живёшь, спишь, ешь и работаешь. Словом, родина твоя здесь. Просеки это до самой задницы. Пока я вижу только листовки, а в третьем отряде, — я сейчас мимо проходил, — на стене висит плакат: «Все — на выборы!» А у нас пусто, чтобы через час плакат висел там, где положено!

Порядком скиснув от начальственного нагоняя, я вышел в тамбур покурить, следом за мной туда явился Федорчук.

— Что, брательник? Поточил лейтенант свой зуб об твою черепушку? — хохотнул Степан и ударил меня по плечу. — От начальства надо держаться в стороне, а вот к столовой поближе.

— Я сразу просёк, что он гнилой, — злорадно сказал баклан, который наседал на меня в первый день моего пребывания в отряде. — Это же запахло прогибаться перед замполитом.

— Тебе сказано было, чтобы ты от него отпал, фуфло! — вступился за меня Костя-хоккеист. — Нет, я тебе, Хорёк, точно настучу по балде!

— Свою бы репу поберёг, пан-спортсмен, — пробурчал, выходя из тамбура, мой вражина. — Дойдёт очередь и до тебя.

Костя пнул дверь, она гулко захлопнулась и тотчас открылась. На пороге стоял Михайлыч.

— Что за хипеш?

— Хорёк опять навонял, — сказал Степан. — У тебя молоток и гвозди есть?

— Зачем? Гроб кому-нибудь сделать решил?

— У нас всё казённое, — отшутился Федорчук. — Зубов велел Ваньке повесить предвыборный плакат, вот и нужен инструмент.

— А где плакат? — обрадовался я.

— Как, где? В сортире стоит, лицевой стороной к стене. Вчера его приволокли из клуба и туда сунули.

— Тоже нашли место, — поморщился Михайлыч.

— Так суббота была, все помещения мыли и драили. Другого места не нашлось.

Михайлыч принёс молоток и гвозди, плакат вынесли на улицу, Степан приставил к стене лестницу и прибил наглядную агитацию к деревянной стенке тамбура.

— Косо! — закричал кто-то из толпы зевак.

— У самого тебя косо, — веско заявил Степан. — Главное, чтобы крепко держалось и не свалилось на чью-нибудь башку.

Из казармы вышел Зубов, оценил работу и одобрил.

— Молодец, Конев.

— Товарищ лейтенант! — обратился к начальнику отряда Федорчук. — Слышно, что писатели к нам приедут.

— А тебе не всё равно? Как приедут, так и уедут.

Степан смутился и огорчённо глянул в мою сторону.

— Он хочет свои стихи им показать, — сказал я.

— Разрешаю! — благосклонно глянул на Степана начальник отряда. — Пусть знают наших, что и мы здесь не пальцем деланы, а тем, чем положено.

— Может и мне дадут выступить? — охрабрел Федорчук.

— Как ты, Конев, считаешь? — покосился в мою сторону Зубов. — Может выпустить на сцену Федорчука?

— Наверно, не стоит, — осторожно сказал я. — В его поэзии нет социалистического реализма.

— Как нет? — вскинулся поэт. — Я водку пил, закусывал селёдкой!..

— Стоп, стоп! — остановил я витию. — Это реализм, конечно, но не социалистический, а похмельный. Боюсь, тебя не поймут.

— Что, эти поэты винище не лопают?

— Нет! — на полном серьёзе сказал я. — Они питаются исключительно нектаром и амброзией.

— Значит так, — потряс головой, затуманенной моими бреднями, начальник отряда. — Сиди, Федорчук и посапывай, а твои стихи мы пошлём в нашу газету. Это будет повернее, чем чирикать со сцены, да и тебе зачтётся, я вырезку положу в твоё личное дело.

Я слушал лейтенанта в пол-уха, у меня не выходило из головы, что через пару часов я встречу с Беркутовым. Интересно, с какой стати этот лирический чистоплюй поперся в нашу смрадную обитель? Он был большим любителем покрасоваться и поважничать перед интеллигентной публикой, выдавая себя за поэта-метафориста. Ему нужны были восторги интеллектуальных барышень бальзаковского возраста из университета, научных сотрудниц музеев города, на худой конец обитательниц НИИ, которые весьма пристально оглядывали и оценивали мужские статьи поэта, заимевшего скандальную популярность своими разводами и женитьбами. В ЛТП была сплошь алкоголизирующая публика, Беркутов это знал и всё-таки решил сюда явиться, что могло иметь только одно объяснение: он ехал глянуть, как я выгляжу, долго ли мне осталось трепыхаться, и не могу ли я, случаем, помешать ему кувыркаться с Зинкой на кровати, которую сделал мой старый приятель и любитель клея БФ столяр Николай. Долго думать об этом подонке я не стал и решил вести себя смирно, но если

Беркутов будет искать встречи, то от неё не уклоняться, всё-таки он был, пусть и мерзкий, но свидетель моей недавней жизни, из которой я беспощадно и навсегда вычеркнул пером правосудия, а на место, где было моё имя, упала грязная клякса.

Я слишком долго находился на улице, насквозь продрог и, спохватившись, поспешил в помещение, где прилип задницей к горячей батарее. Ко мне подкатил Костя и объявил новость:

— Одного из нашего отряда будут сегодня освобождать.

— Кого?

— А вот того дедулю. Ради такого случая он два последних зуба порошком надраил. Как же, такая везуха!

Я счастливца не знал и сейчас в первый раз обратил внимание на замызганного старикашку, которому, как выяснилось вскоре, стукнуло пятьдесят два года от роду, но он был совершенной развалиной. Пользуясь случаем, наше начальство решило от него избавиться: пусть подохнет под забором, но не на казённой кровати, чтобы не испортить статистику учреждения, которому полагалось своих пациентов оздоравливать, и жмурики ему были не нужны.

— Глянь-ка, кажись, судья заявился, — толкнул меня Костя.

Окно не успело замёрзнуть и сочилось влагой, однако через него было хорошо видно остановившуюся перед штабом машину, к которой поспешали майор Жернаков и капитан Шишков. Замполит на подкованных подмётках хромовых сапог подкатился к «Волге», распахнул дверцу, и наружу сначала высунулась папаха-пирожок из светло-серебристого каракуля, а затем и сам Иван Федотыч — белолицый и крепкий, как крутопосоленный гриб, номенклатурный субъект, выглядевший моложе своих, объявленных в избирательных листовках, пятидесяти пяти лет.

— А где киношники? Писатели? — поинтересовался я.

Косте помешало ответить дежурный, который завопил, что есть мочи:

— Отряд, строиться на выходе, без верхней одежды!

Зубов был недоволен: команду к построению подали с опозданием, другие отряды с песнями направились к клубу, а мы только вываливались из барака и становились в строй. Не дожидаясь, пока все займут свои места, лейтенант скомандовал:

— Шагом марш! Запевай!

Под злыми и бдительными взглядами начальника отряда и бугра мы затопали сапогами и загорланили песню. С точки зрения любого демократического чужестранца всё это выглядело дико: люди, которых лишили элементарного права любого человека употреблять алкогольные напитки и подвергают, под видом лечения, варварским пыткам и принудительному труду, не только не бунтуют, но и с воодушевлением маршируют и горланят песни. На это способны только русские, даже такие любители шагистики, как немцы, слабаки по сравнению с нами в стремлении обезличить и унижить себя перед произволом власти, ощущая при этом чувства, сравнимые с экстазом. И меня после нескольких шагов в строю стало охватывать воодушевление и желание так впечатать подошву кирзового сапога в асфальт, так проорать куплет дурацкой песни про солдата в увольнении, чтобы с высоких тополей возле штаба осыпался иней, и вороны возле столовской помойки поднялись и, галдя, закружились над ЛТП. Подобное моему возбуждению отразилось и на лицах других принудбольных, но далеко не всех. Многие лишь шаркали постариковски подошвами сапог по асфальту и беззвучно разевали рты, они уже выпали в осадок и не доживали даже, а дотлевали оставшиеся им дни.

Ивана Федотыча вахтпарад, устроенный в его честь, не заинтересовал и он, сопровождаемый элтэпэшным начальством, прошёл в клуб, за ними двинулись и мы, стараясь не шуметь и вести себя чинно, поскольку каждый на себе изведаль, что народный суд — мероприятие, серьёзней не бывает.

Киногруппа была уже в клубе, осветители установили и опробовали софиты, оператор нацеливался объективом кинокамеры то на стол президиума, за которым в гордом

одиночестве восседал Иван Федотыч, то в зал, битком набитый людьми в чёрных хлопчатобумажных костюмах, стриженных наголо, с измождёнными пепельно-серыми лицами. Режиссёр обхаживал нашего дедулю, которому предстояло сыграть роль главного героя в предстоящем действе, показывал, где ему сидеть, где стоять, в какую сторону смотреть, произнося покаянную речь.

— Начинаем! — объявил режиссёр, и ярко вспыхнули три софита, на миг ослепив собрание, но только не Ивана Федотыча, который объявил судебное заседание открытым и предоставил слово представителю учреждения, чтобы тот зачитал ходатайство о досрочном освобождении имярек, в виду его успешного излечения и надлежащего поведения.

Я не вслушивался в слова начальника штаба, а рыскал глазами в поисках мордастой физиономии Беркутова и вдруг столкнулся с ним взглядом. Он сидел за софитом и виден был плохо, но я заметил, что он, увидев меня, скривился и спрятался за спину громоздкого писателя Тёмина, с коим мне приходилось заседать вокруг пенька в мастерской Стекольниковова.

— Суд может быть уверенным, что, получив свободу, вы не приметесь за старое? — спросил Иван Федотыч, уставившись в кинокамеру.

— Теперь не до винопития, — проямлил дедуля. — Печёнка насквозь худая. Мне бы сейчас на родительское кладбище попасть, не в казённую же яму ложиться.

— Вам есть, где жить? — осведомился судья.

— А как же, — удивился уже почти поверивший своему счастью везунчик. — У меня свой дом, на меня записан. Слёзно прошу снисхождения.

— Будем надеяться, что пребывание в ЛТП пойдёт вам на пользу, — важно сказал Иван Федотыч.

Затем он взял в руку папочку с личным делом другого кандидата на освобождение, молодого паренька, который только год назад после службы в армии устроился на пивзавод и за полгода сделал такие успехи в питье, что его определили на

двенадцать месяцев в ЛТП. Парень перед судьёй дрожал, как осиновый лист, каялся и клялся, и был освобождён по половине срока.

Огласив решения, Иван Федотыч удалился, а на его место взошёл замполит и объявил, что наше учреждение удостоили своим появлением самые настоящие писатели. Это было повеселее, чем суд, и все присутствующие оживились, когда за столом президиума довольно вольготно уселся Тёмин, упал на стул жирной задницей Беркутов, и рядом с ним расположился юморист Медвежатников.

— А что это, в натуре, писатели? — раздался из наших рядов окрашенный характерными зэковскими интонациями издевательский голос.

В зале прошелестел лёгкий шумок, замполит привстал со стула и погрозил кому-то кулаком.

— В натуре, в натуре писатели, — поднялся Тёмин. — И ксивы у нас есть, красные, с золотыми тиснениями.

Он вынул из кармана писательский билет и, развернув, показал всему залу.

— Вас, наверно, и менты стороной обходят?

— Нет, не обходят, — попытался завладеть вниманием зала Тёмин. — Тому свидетельство — наше появление здесь. Раз уж мы начали с вопросов, так давайте и продолжим в том же духе.

— А о чём можно спрашивать?

— Обо всём, — сказал Тёмин. — Но мы писатели и привычны говорить о литературе. Пожалуйста, о чём вы хотели спросить?

Поднялся доходяга с заднего ряда стульев, где вольготно развалилась кодла Хорька:

— Есть звон, что писатели большие бабки рубят за свои книжки, или всё это брехня?

Вопрос вызвал интерес, зашевелились и открыли глаза даже те, кто намеревался подремать, бабки не переставали интересоваться нашего брата, потому что на руки их не выдавали, и большая часть заработанных нами на заводе и других работах денег шла на содержание ЛТП. Курево, конфеты и чай нам

давали в элтэпэшном лабазе под запись, а остаток заработка зачисляли на лицевой счёт, и среди нас имелось немало придурков, которые были уверены, что выйдут на волю состоятельными людьми.

— Вас, как я понял, интересует не только заработок писателей, но и где они прячут свои деньги от любопытных глаз и чужих шаловливых ручек? — сказал Тёмин. — Так вот все деньги писатели хранят не в посудном шкафу, а в сберкассе.

Замполиту нездоровое оживление принудбольных не понравилось, он подошёл к краю сцены, утишил, как укротитель, одним взглядом развеселившуюся публику и объявил:

— Вопросы задавать только по теме. У тебя, прапорщик Злыдень, что за вопрос?

— Про Серёгу Есенина...

— И что вы хотели спросить? — встрял Беркутов. — Есенин мне близок по духу, так что спрашивайте.

— В своих стихах Есенин часто пишет о кабаках и гулянках с шалавами. Говорят, что он не просыхал, и почти все свои стихи написал под кайфом?

Шишков, глядя на Злыдня, укоризненно покачал головой, но вопрос своей замполитской властью не отменил.

Беркутов приподнял свою тушу над столом, и этим движением достиг того, что в зале воцарилась тишина. Раскормленный на Зинкиных блинах и пирогах с печёнкой, маститый поэт смотрелся крупным начальником, а мы ещё не разучились сникать перед властью, поэтому сразу прикусили языки и навострили уши.

— Есенин писал стихи всегда на трезвую голову и обязательно в свежей рубашке, а на двери своей комнаты оставлял записку, что он ушёл в кабак. Отсюда и разговоры о пьянстве поэта...

Нам такое стерильное поведение Есенина показалось клеветой на поэта. В зале зашумели, раздалось несколько

недоумевающих выкриков, а с задних рядов явственно прозвучало:

— Откуда ты всё это знаешь? Может у Есенина в комнате под кроватью сидел?

— Куда ему под кровать с таким брюхом! — издевательски крикнул кто-то.

Беркутов побледнел, упал на стул и выпучил глаза на Шишкова. Но в зале разобрались и без замполита. Четверо прапоров кинулись к заднему ряду, откуда началась буза, схватили смутьянов и выволокли их из зала с такой скоростью, что я не успел обернуться, чтобы полюбоваться этим захватывающим зрелищем.

Капитан Шишков растерянно глянул на писателей, и Тёмин, коего происшествие весьма позабавило, весело объявил:

— Продолжим, друзья, нашу творческую встречу! Представляю вам нашу областную знаменитость — пародиста-юмориста Григория Медвежатникова.

Замполит показательно захлопал в ладошки, и все его радостно поддержали. Смехачей мы любили, и когда они выступали по телевидению, к ящику было не протиснуться, но и приезжий юморист оказался заводным малым, почти час смешил нас и потешал своими стишками. После такого успеха Тёмину и Беркутову выступать было явно не с руки, они это поняли, заставив Медвежатникова рассказать несколько крутосолёных анекдотов, которые в мужской аудитории прозвучали также к месту, как гармошка на завалинке, и весьма понравились хозяину загона. Майор Жернаков от хохота даже прослезился и начал сморкаться и кашлять, ухая, как ушастый филин.

Меня медвежатниковский юмор позабавил, но не более, я нет-нет да поглядывал на Беркутова, испытывая мстительное удовольствие от того провала и унижения, которые он поимел от тех, кого числил человеческим отребьем и мусором. Глянула бы сейчас Зинка на своего хахалю, вот он, этот петух драный, сидит оплётанный и не утрётся. Впрочем, Зинка его бы

пожалела, у ней есть чем жалеть, и спереди, и сзади. Я невольно закрипел зубами, но никто мной не интересовался, все, выпучив глаза, слушали последний ударный анекдот Медвежатникова, исполненный им не только в жанре художественного слова, но и с мимикой и жестикуляцией, по мастерству не уступающей распальцовке Михайлыча.

Закрывая встречу, капитан Шишков назвал мою фамилию и велел мне подойти к сцене. Я переждал, пока все покинут зал, но с места не сдвинулся, ожидая, пока меня позовут ещё раз.

— Конев! — крикнул замполит, подслеповато щурясь в сумерки зала. — Ты здесь?

— Здесь, — я поднялся со стула.

— Иди сюда. Тебя спрашивают наши гости.

Тёмин со мной поздоровался с радушностью близкого друга, хотя мы были едва знакомы.

— Здравствуй, Иван! — сказал Беркутов, подождав, пока от нас все отойдут.

— Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый!

— Зря хамишь, — скривился Беркутов. — Я к тебе с приветом от Зинаиды.

— А это что за хрень? — поразился я. — Спроведила меня сюда на два года, а теперь приветы шлёт. Вы там как? Трахаются или под ручку ходите вокруг моей кровати?

— Мы с Зинаидой сошлись, — порозовев, вымолвил Беркутов.

— Как это — сошлись?

— Ну, вступили в брак, — сказал он.

— Какие сложности! — хохотнул я. — Нельзя было просто трахаться, нет, вам подавай свадебный марш Мендельсона, фотографии у Вечного огня и с белоснежными голубями. Ты в который раз женился?

— Это не имеет значения. Просто я тебе сообщил о нашем решении, — Беркутов справился с волнением и весьма нагло ухмыльнулся.

— А тебе не надо моего благословения на брак? — вскипел я, хватаясь за спинку стула.

Беркутов отпрянул от меня и направился к ожидавшему его Шишкову, который поглядывал на меня крайне неодобрительно, если не сказать зло.

– 11 –

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что никто не виноват в том, что случилось со мной, кроме меня самого. И ЛТП — далеко не худшее из того, что неизбежно обрушилось бы на меня, поскольку все мои беды вытекали из моего характера: прожив половину жизни, я так и не усвоил главное, чем надлежит руководствоваться каждому человеку — быть таким же, как все, не выделяться из общей массы, не возноситься над другими. Я слишком ценил своё мнение, спешил его немедленно обнародовать, упивался мнимой независимостью и гордился этим. Однако, жизнь оказалась много сложнее, чем я предполагал в самых безудержных фантазиях и гораздо жёстче, чем смел я о ней помыслить. К тому же у меня была дурная привычка сходу подмечать в людях недостатки и сразу давать понять, что знаю им настоящую цену. При этом всё хорошее в человеке отметалось. Я предпочитал видеть в каждом скорее плохое, чем хорошее. От этого дурацкого максимализма я не избавился до сих пор. Поэтому не удивительно, что многие от меня отворачивались. У меня было много шапочных знакомых и собутыльников, но никогда не было настоящего друга.

А что можно сказать о моей вполне пижонской манере относиться ко всему, что происходит в жизни, со скучноватой насмешкой, даже издёвкой, и деланным безразличием? Вот и на своей свадебной вечеринке я сидел с невестой во главе стола и с усмешкой наблюдал за гостями, будто не моя это свадьба, не моя невеста, не мои гости.

Вскоре все захмелели, начали кричать «горько», я холодно и крепко целовал Зинку в покрашенные губы и чувствовал себя так, будто отсиживал время на скучной работе. Я слышал, что говорят за столом и думал, какую чушь несут все эти случайно собравшиеся люди. В их веселье мне виделся какой-то судорожный надрыв, нарочитость и опять же скука и скука.

— Завидую и поздравляю, — сказал Генка Полев, когда мы курили с ним на балконе.

Я пожал плечами и не ответил. Подгулявшая свадьба переместилась с этажа на улицу. Появилась гармошка, на которой наяривал мой родственник дядя Петя, мои тётки пошли в пляс с частушками, присвистом. Каблуки дробно вколачивались в асфальт и в руках мелькали разноцветные косынки.

*Растатуриха высока на ногах,
Накопила много сала на боках!
Я стояла возле царских дверей,
Мне понравился плешистый архирей...*

— визгливо, не в лад пела моя двоюродная сестра Елена, деревянно подпрыгивая вокруг незнакомого мне мужика, но тоже гостя.

Почувствовав, как краска беспричинного стыда заливает моё лицо, я ушёл в зал. Там вниманием гостей завладела Раиса Петровна, моя тёща. Она демонстрировала не пляшущей части гостей приданое.

— Квартиру отдаю — мало? Сама к Фёдору Матвеевичу ухожу, незачем молодым жизнь заедать. Подарила ковёр, сами знаете, четыреста рублей, деньгами — тысячу восемьсот, две чернобурки, часы электронные, постельное бельё — десять комплектов, сервиз китайского фарфора на двенадцать персон — ничего не жалко, пусть живут, радуются друг другу.

— Наш Ваня тоже не из последних, — заулыбалась, сказала моя тётка Шура. — Сколько у тебя, Ваня, на книжке?

— Да хватит вам о деньгах и тряпье! — возмутился я. — Всё наше. Угощайтесь, гуляйте!..

Мне было неприятно смотреть, как они пыжались друг перед другом. Не успели выпить по паре рюмок, и поползла изо всех кичливость, загорелось выпятить свою родню и себя на первое место.

Какая скомканная свадьба была, такая и жизнь пошла. Нет, мы жили мирно, без ругани, без сшибок, но была в этой жизни безысходная пустота, раз и навсегда определённая заведённость. Всё было известно наперёд, дано раз и навсегда. Я бросил институт, стал работать в худфонде, жена закончила учёбу и устроилась по специальности, всё шло своим скучным, до оскомины, чередом.

Светлым пятнышком стала дочка, она была и, вправду, мила, я с ней много играл, водил в садик, мы вместе гуляли, она забавляла меня, но не более. Я мечтал иметь сына, но Зинка не хотела об этом и слышать. Нашу дальнейшую жизнь она норовила построить на свой манер, где беременности и родам не было места, а я проявил слабость и не настоял на своём.

Когда Оленька подросла, и ей уже было где-то пять лет, Зинкой вдруг овладело желание жить «не хуже, чем другие». Я много зарабатывал, в доме у нас всё было, но жене не хватало общества, разговоров, общения, она была очень живой, и моя молчаливость ей порядком поднадоела.

У нас стали собираться компании. Зинкины сослуживцы, инженеры и инженерши, вносили в нашу трёхкомнатную квартиру суматоху и путаницу, которая меня поначалу забавляла и почти нравилась. Это были беспечные посиделки с небольшим количеством вина и бесконечным чаепитием, танцами, сумбурными разговорами и трепетным исполнением под гитару всякой околomuзыкальной песенной лабуды.

Как муж хозяйки дома я имел то преимущество, что не обязан был участвовать в этом бедламчике, но зато мог слушать сколько угодно, а если надоело, то уходил на балкон или на кухню.

О чём только ни говорилось на этих вечеринках! Это был безоглядный и никого не обязывающий трёп людей, у которых

здоровое тело, сытый желудок и жаждущий утоления зуд на языках. Все они воображали, что идут в ногу со временем, поэтому легко жонглировали именами местных знаменитостей. Некоторые из них бывали у меня дома, их где-то доставала жена, используя свои изо дня в день растущие интеллектуальные связи.

В один из вечеров в нашей квартире появился местный поэт Беркутов, тяжёлый рыхлый субъект лет около сорока, с наглым прищуром налитых пьяной кровью глаз. Он немедленно завладел вниманием гостей и потребовал спеть хором «Рябину», и сам первый начал песню хриплым простуженным басом. Гости, было, подхватили песню, но скоро выдохлись — не знали слов.

Беркутов оглядел застолье и сказал:

— Народ вас не знает, и вы не знаете народа, захребетничаете...

Зинка поднесла поэту большую рюмку водки. Он заглотив её залпом, шумно отдышался, и его понесло стихами. Беркутов читал громко, нараспев, помогая себе энергичными взмахами крепко сжатой в кулак руки.

Ему шумно аплодировали. Взбодрённый сорванным успехом Беркутов подобрел, немного раскис и замазлившимися глазами стал смотреть на Зинку, которая, оживляя перерыв, села за пианино. Играла она неплохо, а несколько вещей ей удавались превосходно.

Когда она закончила, Беркутов, тяжело ступая, подошёл к ней и стал целовать руку.

Я вскипел, но не от того, что кто-то целовал ей руку, а от того, как она это воспринимала. В её лице появилась этакая томность, ни дать — ни взять, светская дама.

— Послушайте, — обратился я к Беркутову. — Вот вы о народе толкуете, но ваши стихи, я думаю, для народа — пустой звук. Так что напрасно пыжитесь. Должности поэтов все давно заняты, как впрочем, и прозаиков, и художников, и скульпторов и так далее. Для удовлетворения эстетических потребностей

народных масс достаточно пяти-шести поэтов, с полтора десятка прозаиков, пяток художников, а всех остальных с лёгкой душой можно списать за ненадобностью, потому что те, кто нужен народу, давно утверждены отделом культуры ЦК КПСС, и вряд ли вы числитесь в списке бессмертных.

— Это кто? — завопил Беркутов, нависая через стол надо мной. — Как он смеет! Как он смеет судить об искусстве!

— Да бросьте вы, — небрежно бросил я и уточнил, — я гораздо ближе к искусству своими шабашками, чем вы своими стишатами. Впрочем, не буду вам мешать. Продолжайте свои игрища, а я пройду по улице, потолкаюсь среди народа, которого не понимаю, может быть, кого-нибудь и пойму, так соображу с ним на пузырь...

Зинкины сослуживцы и гости, которые знали меня до сих пор покладистым мужем, запереглядывались и негодуяще зашумели. К Беркутову подскочили две девицы и увлекли его разговором. Я пожал плечами, вышел в коридорчик прихожей, сунул ноги в растоптанные туфли и спустился на улицу.

Потолкавшись среди мужиков, которые во дворе играли в домино, я вышел на центральную улицу города к скверу, делившему улицу на две части. Случившееся забавляло меня, правда, к веселью примешивался горьковатый привкус злости, но больше всё-таки было смешно. Я не жалел о своей вспышке, женины посиделки уже давно раздражали меня скукой и глупым кудахтаньем по поводу столичных, годичной давности, новостей, доставленных из Москвы вместе с колбасой фирменным поездом.

Часы на башенке, врезанной в крышу углового дома, пробили девять часов. Я нашупал в кармане ключ от мастерской Стекольниковой и пошёл к телефонной будке позвонить домой и предупредить жену, что не приду ночевать.

— Как там у вас? — спросил я, набрав номер домашнего телефона.

— Пьём чай, — беззаботно защебетала Зинка. — Беркутов на такси помчался за рукописью своей новой поэмы. Приходи.

— Нет уж, — сказал я. — На стихи меня не тянет. Я пойду в мастерскую, может быть, поработаю, а может быть и усну.

И, повесив трубку, через мутноватое стекло телефонной будки посмотрел на улицу. В кинотеатре закончился сеанс, и оттуда выплеснулась шумная толпа. В сутолоке я вдруг увидел знакомое лицо и бросился бежать, лавируя между встречными.

Это была Валя. Она стояла на углу улицы с молодой женщиной, и я с разбегу чуть не налетел на них.

— Здравствуй, — сказала Валя. — Ты куда это торопишься?

Я молчал, глупо краснея, будто меня застали за чем-то неприличным.

— До завтра. Я пошла, — сказала Валя знакомая и окинула меня с головы до ног запоминающим взглядом.

— Так куда мы спешим? — повторила Валя свой вопрос. — К молодой жене?

— Хватит смеяться, — сказал я, беря её за руку. — Пойдём со мной.

Она покорно пошла рядом. Мы шли по улице, и я не чувствовал в себе прежнего отчуждения к ней, которое всегда останавливало и отрезвляло меня.

— Куда мы идём? — спросила Валя, крепко взяв меня под руку. — Может быть ко мне, если ты хочешь?..

— Зайдём в мастерскую, — сказал я. — Это рядом во дворе.

В мастерской — подвальном помещении бывшей церкви — было темно. Я включил свет и помог Вале спуститься вниз по шатким ступенькам.

— Как интересно, — сказала Валя, разглядывая поголовье стекольниковских бюстов, которые он расставил в несколько рядов на стеллаже. — Это твои?

— Нет, не мои, — ответил я и достал из-за ширмы гипсовую голову смеющейся девочки. — Вот моя работа.

Валя посерьёзна.

— Дочка?

— Да.

— Сколько ей сейчас?

— Шесть лет.

— Мне нравится здесь, — сказала Валя. — Но уж больно пол грязный. Давай приберусь.

— Не надо. Бестолку здесь наводить чистоту, завтра опять гипсом заляпаем.

Мы замолчали. За окном клубился сумрак угасающего летнего вечера.

Вдруг Валя тихо засмеялась.

— Странно, — сказала она, откидывая со лба прядь волос, — и правда, разве не странно, Ваня, что мы с тобой сегодня встретились и сидим здесь?

— Ладно, пойдём, — сказал я, поднимаясь с продавленного дивана.

— Куда? — Валя приблизилась ко мне почти что вплотную. — Подожди, я так давно тебя не видела.

Я посмотрел в её запрокинутое лицо и движимый внезапным порывом поцеловал.

— Не здесь. Только не здесь! — горячо прошептала Валя, прикикая ко мне всем телом. — Я столько ждала тебя! Боже мой, сколько я тебя ждала!

Утром, открыв глаза, я увидел незнакомые шторы на окнах. Вали рядом не было, она хлопотала на кухне, готовя завтрак. Из неплотно притворенной двери тянуло жареным луком.

Соскочив с дивана, я натянул на себя штаны и рубашку и стал искать куда-то запропастившиеся носки.

— Вот они, — сказала Валя, войдя в комнату. — Я их постирала.

Не глядя на неё, я пригладил руками взъерошенные волосы и спросил:

— А где дочка?

— В школе... А я позвонила на работу и сказала, что сегодня не буду. Ведь ты не уйдёшь, правда?

Мы расстались под вечер, но я пошёл не домой, а в мастерскую к Стекольникову. По дороге я купил бутылку вина, и мы допоздна разговаривали.

— Дуришь, парень, — покачал головой Стекольников, когда я рассказал ему о Вале. — Тут надо решать определённо. А то себя измучаешь и им жизнь перековеркаешь.

Поздно вечером я пришёл домой и лёг спать в своей комнате. Утром мы с Зинкой мирно позавтракали, будто ничего особенного не случилось. Она похвалилась, что в воскресенье на посиделки придёт режиссёр драмтеатра, была весела, улыбочива, однако теперь я смотрел на неё другими глазами. Да и сам стал другим.

— Вот что, посиделки можешь продолжать, но я на них присутствовать не хочу, поэтому предупреждай меня заранее, чтобы я уходил.

— Что ж, — холодно глянула на меня Зинка, — может быть так оно и лучше.

Через несколько дней я перевёз к Стекольникову в мастерскую диван, кое-что из вещей и посуды и зажил на два дома. Даже можно сказать на три. Человек быстро приспосабливается к тому, что потакает его слабостям, и я сразу же оценил всю кажущуюся прелесть полученной свободы. Я мог вести себя так, как хотел, жить там, где в данный момент находил нужным. Иногда я неделями жил дома с Зинкой, иногда, когда пошли загулы, оставался в мастерской, иногда уходил к Валентине. По возможности я старался скрыть от жены существование этой связи, но она не интересовалась, где я провожу своё время, тем более, что почти всю зарплату я отдавал ей, а сам жил на шабашки, которых мне хватало для удовлетворения моих скромных потребностей в дешёвом вине и скудной закуске.

Краешком сознания, к которому ещё могла достучаться совесть, я понимал, что веду себя недостойно, но меня захватила приятная необязательность в отношениях с обеими женщинами, я даже гордился, что мне удалось создать свой гаремчик и, не скрою, стал строить планы, как вовлечь в него ещё одну, приятную во всех отношениях врачиху, но тут меня так ушибло

разгромное мнение выставкома о моей работе, что я забыл обо всём на свете и ушёл в загул.

Самым болезненным стало обретение горькой истины, что, сколько бы я ни бился, мне раз и навсегда отведено место скульптора-самоучки, и сопротивляться этому мнению было бесполезно. Оно облепило меня как липкая паутина, и если когда-нибудь я разорву её, то ещё долго за мной будут тянуться её смердящие обрывки.

Меня поддерживал лишь Стекольников, но многим помочь он не мог. У него тоже были свои заморочки, и часто его заказные работы худсовет принимал со второго, а то и с третьего раза со всякими придирками и нервотрёпкой.

Причины, почему я ему был интересен, Стекольников не скрывал.

— Ты, Ваня, талантлив, — говорил он, когда я показывал ему новую работу. — Вот я и хочу поглядеть, что из этого получится. Может талант пробить себе дорогу в наше время, или всё-таки не может, и мастеру нужно ещё и другие качества иметь, чтобы выжить в искусстве?

— 12 —

Прошли октябрьские праздники, затем день милиции и прочих нечистых. Я притерпелся к жизни взаперти, заимел привычку брать книги в библиотеке и развлекался чтением, но чёрт не забывает своих присных, и как-то на доске объявлений я узрел свою фамилию в кондуите, который ежедневно приносили из больнички. Напоминание о ней меня тотчас перекорежило, а желудок стал произвольно то взбухать, то сжиматься, готовясь опорожниться в самом неподходящем для этого месте.

— На тебе лица нет, — обеспокоенно сказал, подхватив меня за локоть, Бывалин. — Сердце?

— Вызывают в рыгаловку, — пробормотал я сквозь зубы.

— Так меня тоже туда требуют, — почему-то обрадованным голосом произнёс Ерофей Кузьмич. — Я поэтому и в бараке остался. А тебе на завод в какую смену?

— Во вторую.

— Давай подымим и пойдём на казнь.

Федорчуку удалось залежаться на койке после подъёма, он с полотенцем и мылом прошлёпал мимо нас в умывалку.

— Привет, антисоветчики!

Мы с Бывалиным недоумевающе переглянулись, и когда Степан, подрагивая от холодной воды, выскочил из умывалки, загордили ему путь.

— Это почему мы антисоветчики?

— А кто же вы такие? Из-за вас, да из-за меня тоже, советский народ не смог выполнить главное — построить к 1980 году светлое будущее тире коммунизм.

— Хотели построить коммунизм, — проворчал я, — а построили ЛТП.

— Это точно, — сказал Степан. — Не сгодились мы советской власти, она и без нас живёт и побеждает.

— Вам что, ребята, говорить больше не о чем? — осадил нас Ерофей Кузьмич. — Не зовите лихо, оно само без спросу явится.

— Алкашам да бомжам чего бояться? — Я бросил окуроч в пустое ведро. — Тем более, что Горбачёв объявил гласность.

— А кто такой Горбачев? — остро зыркнул на меня припухшими глазами Федорчук. — Ты знаешь, как расшифровывается его фамилия.

— Знаю: Горбатый, башка с заплатой.

— Нет, я по-другому понял фамилию Горбачёв: Граждане, Обождите, Радоваться, Брежнева, Андропова, Черненко, Ещё, Вспомните!

— Скор ты, Стёпка, на всякую дурь, — неодобрительно покачал головой Бывалин. — Гляди, не ровен час, чёрт тебя подтолкнёт, и костей не соберёшь.

— Чёрт толкает, а бог подхватывает, — ухмыльнулся Степан, но было заметно, что слова старика его задели. — Или в сем месте бога нет?

— Вот он, наш бог, — показал я рукой в окно. В штаб, поглядывая в нашу сторону, шёл майор Жернаков.

— Это — хозяин, — значительно произнёс Федорчук. — Ты после укола не раскисай, у меня не стоит сегодня на откатке за тебя мантулить.

До больницы от нас было метров сто, и, взяв с собой только шапки, мы добежали до неё и почти не задохнулись. В тамбуре я прислушался: Бывалин дышал гораздо ровнее меня, а у меня хоть и не болезненно, но явно, давало знать о себе сердце.

В кабинет главврача была небольшая очередь, мы сели на стулья, и Ерофей Кузьмич тихо сказал:

— Ты с этим Федорчуком будь аккуратнее...

— Как это?

— Да так: обходи его стороной, сдаётся мне, что он постукивает.

— Неужели? — заинтересовался я. — И кому?

— Скорее всего, куму, как выражаются знающие люди, и не только ему.

— Значит, от этого у нас нигде укрытия нет, только в могиле?

Бывалин помолчал, потом предложил:

— Пойдём, покурим.

Капитан Попов был требовательным, и туалет блистал чистотой: кругом белый кафель, никелированные ручки дверей, воздушное полотенце, большое зеркало, щётка для сапог. Большая, вырезанная из берёзового капа, пепельница на треножнике из никелированных трубок курилась от непогашенной сигареты, как жертвенный алтарь, на котором возжигали табачные зловония.

Бывалин оглядел туалетные кабинки и, убедившись, что они пусты, сказал:

— Степан не просто так обозвал нас антисоветчиками, он нас теребил, а сам только и ждал, чтобы мы лягнули супротивное власти.

Подозрительность старика была мне неприятна тем, что он, скорее, был прав, чем ошибался. В Степане меня настораживали суетливость и заглядывание в рот начальству. Конечно, он из кожи лез, чтобы откинуться по половине срока, а может и раньше, но его рвение слишком бросалось в глаза и, странное дело, и Хорёк, и его подручные обходили Федорчука стороной. Это могло говорить об одном, что он не так прост и опирается на чью-то неслабую поддержку.

— Ну, я ещё молодой, а тебя зачем мучить? — сказал я Бывалину. — Ты ведь никакого интереса для общественного производства не представляешь.

— Я и сам так же думаю, — вздохнул Ерофей Кузьмич. — Никакого с меня интереса. Пенсийка у меня есть, небольшие деньги, но на трезвую жизнь хватит. Я ведь пострадавший безвинно, хотя, каюсь, попивал не в меру. Но где найти сочувствие? Попал в машину — и не вырвешься, а тут машина отлажена и на диво зубаста.

— Отлажена, — согласился я. — И раскручена — не остановится.

— Вот и терпи. Самое трудное — это человеку с собой справиться, усмирить себя, подогнать в соответствие с жизнью. У меня характер покладистый — и то вот маюсь, а у тебя натура — ёж. Сейчас зайдёшь к врачу и диспут начнёшь. Поостерегись себя самого.

— Конев! — донёсся из коридора голос медпрапорщика, который был у главврача в шестёрках. — Ты там не задремал на очке? Попрою на ковёр!

— Здравствуйте! Как поживаете? — доброжелательно улыбнувшись, сказал главврач, усаживая меня на кушетку. — Как себя чувствуете?

— Хорошо, — попытался улыбнуться я, но почувствовал, что у меня от страха задеревенел язык. — Даже превосходно.

— Вот и прекрасно. А я, знаете, был приятно удивлён, когда узнал, что вы скульптор. Уж вам-то надо знать, что искусство, интеллектуальный труд требуют ясного мышления, алкоголь и искусство несовместимы.

Это заявление доктора, совершенно напрасно, вызвало мой протест.

— Почему же, — возразил я. — Не всегда так. — И я назвал известного скульптора, лауреата многочисленных премий, работы которого были широко известны в стране. — Этот скульптор всегда под станком держит бутылку сухого вина и систематически к ней прикладывает во время работы. И, представьте себе, делает трезвые до скукоты вещи. Кондовый реалист.

— Словом, он совсем не отличается, к примеру, от вас? — благожелательно сказал капитан.

— В принципе, ничем, — брякнул я и сразу прикусил язык, но было уже поздно.

— Интересно, интересно, — сказал Попов, внимательно глядя на меня. — С вами, кажется, всё ясно... Посему, если не возражаете, — он хмыкнул, — продолжим курс вашего лечения.

Такой поворот дела меня совсем не устраивал. Всем нутром я сразу же ощутил судороги, которые корчили меня совсем недавно.

— Может не надо, товарищ капитан? — жалобно вякнул я. — Я чувствую себя совсем здоровым, честное слово.

— Надо, дружок, надо, — сказал капитан Попов и успокаивающе похлопал меня по коленке. — Вы больны, и глубоко больны, уверяю вас. А моему опыту вы, надеюсь, доверяете?

— Я здоров, — повторил я, мучаясь желанием дать доктору какую-нибудь взятку, мол, бюстик ваш слепить могу... Но ничего не сказал.

— К сожалению, вы, Конев, больны, — утвердил своё решение Попов. — Судите сами. Только сейчас вы одобрили поведение скульптора, который во время работы употребляет спиртные напитки. Причём он для вас пример для подражания. Простите меня, но это типичный пример мышления человека, страдающего хроническим алкоголизмом. Причём случай классический. Ясненько?

Бес противоречия, как ни истреблял я его сам и другие, ещё жил во мне.

— Не ясно, совсем не ясно. Я не понимаю, почему я не могу распоряжаться собой. Ведь здоровье моё. Кому какое дело, как я к нему отношусь. Оно моё — это тело и всё, что в нём есть. Захочу завтра на себя петлю наброшу, захочу в вине сгорю, и никто мне в этом не указчик.

Попов заинтересовался.

— Да тут целая философия! А не жалко себя-то, ведь жизнь-то одна, другой не будет?

— Я не про себя, а в отвлечённом плане говорю, — сказал я, уже жалея, что затеял этот разговор, но отступить было поздно. — Возьмём усреднённого положительного непьющего человека. Бережёт он себя, бегаёт утром и вечером от инфаркта, тяжести поднимает, здоров и предполагает жить вечно или бесконечно долго. А в один прекрасный момент — чик! — и ему хребет автобус переехал, или он сам на личных непосильным трудом заработанных «жигулях» в столб шарахнулся. И всё — слёзы жены, венки от месткома, чёрная рамочка в газете. Спрашивается, зачем бегал, куда бежал, ведь от судьбы не убежишь!

— Так, так! — подхватил Попов. — А другой пьёт всякую дрянь и, глядишь, до восьмидесяти кандыбаёт, и всё ему нипочём, по всем законам природы должен бы умереть, а живёт? Так, что ли?

— Ну, так.

— Слабоватая логика, — сказал капитан, подвигаясь ко мне поближе. — Слабоватая, потому что однобокая, логика, заранее

оправдывающая то, что противно человеческой природе. Поразмыслите, Конев, и согласитесь со мной, что главное — не сколько жить, а как жить. Вот в чём дело. Доживёт, допустим, алкоголик, хотя это редкость, до семидесяти лет, но что он видел в жизни, кроме грязного стакана, да заплёванных подворотен? Так, одну серую полосу, утро с похмелья, вечер во хмелю. И это жизнь? Другой трезвый человек за день увидит больше, чем алкоголик за всю жизнь. А польза какая от пьяницы? Никакой, так, человеческий мусор!

— Значит, ему отказано в праве быть самим собой. А что, если пьяница хочет быть пьяницей, а не каким-то трезвенником?

— И это липа, Конев, так, дымок словесный. Пьяница социально опасен. Это газетная истина, кстати, самые трудные — это простые истины. Изолируем же мы другие группы больных. Алкоголики ничем их не лучше, а даже, хуже. А насчёт того, имеет ли человек право распоряжаться своим здоровьем по собственному усмотрению, скажу, что имеет, но только в сторону его укрепления. Здоровье населения — это богатство страны, и плохо, если оно разбазаривается. Я уже не говорю о том вреде, который пьяница наносит близким и окружающим.

Впоследствии я не раз вспоминал этот разговор с Поповым и во многом с ним соглашался, но далеко не во всём. Вот судьбы, например, определяют подсудимому по верхней планке пять лет, хотя можно было дать и три года. Но три и пять — это разница и громадная. Один день, один час, даже одно мгновение могут оказаться в жизни решающими. Сами-то судьбы зону не топтали, знают о ней понаслышке. Я, конечно, не предлагаю пропускать предварительно весь наш судейский корпус через мордовские лагеря, прежде, чем они будут судить, но знать, чем пахнут тюремные нары, они должны, как и вкус тюремной баланды и уродства лагерного быта.

— Интересно было с вами побеседовать, — сказал Попов. — Вы, бесспорно, умны, но, несомненно, нуждаетесь в лечении. На следующий раз можете ко мне не заходить, а сразу

направляйтесь в процедурную. Однако, если у вас возникнут интересные мысли по поводу алкоголя и всего, что с ним связано, то милости прошу ко мне, я буду рад вас выслушать и обменяться мнениями.

И врач посмотрел на меня с такой нескрываемой издёвкой, что я запомнил этот взгляд на всю оставшуюся жизнь.

Ерофей Кузьмич в кабинете врача не задержался, и скоро выпятился оттуда задом, поклонился и нахлобучил на лысину шапку.

— Поторапливайтесь, — сказал прапорщик и зацокал подковками по кафельному полу коридора. — Раздевайтесь до трусов и милости прошу на процедуру.

Я последовал за ним, но каждый новый шаг был для меня заметно труднее предыдущего, пережитые полтора месяца назад мучения в этом приюте скорби и унижений встали в моей памяти с удручающей ясностью, а неизбежность их повторения была неотвратимой. Я искоса глянул на Бывалина: старик был внешне спокоен, но бледен и покрылся потом, думаю, ледяным. Движения его были заторможены, и каждый шаг он совершал с неуверенностью, присущей слепцу.

В раздевалке на крючках висело много одежды, а добрая половина пола была заставлена сапогами. Прапор вынес из чуланчика ведро, наполненное жидкостью, и стал алюминиевой кружкой плескать её, не скупясь, в голенища сапог. Когда я освободился от своей обуви, прапор не обнёс её своей кружкой и пояснил:

— Капитан велел сапоги обработать раствором формалина, чтобы ноги у алкашей не потели.

Ерофей Кузьмич задвинул свои сапоги под лавку.

— У меня ноги не потеют.

— Сейчас засандаю двойную дозу антабуса и сразу вспотеют! – вспыхнул прапор. — А ну, дай сюда сапоги!

Бывалин насупился и заслонил свою обувь худыми жилистыми ногами.

— Его благородие так шутить изволит, Ерофей Кузьмич, — сказал я. — Отдай ему сапоги, формалином их дезинфицируют от грибковых заболеваний.

Процедурная напоминала банный зал: скамейки, тазики, забеленные стёкла окон, деревянные решётки на полу, но всё это пахло не мылом, не распаренными берёзовыми и дубовыми вениками и отсыревшим паром, а нестерпимо воняло водкой, которую прапор разливал в стаканы, а медсестра обходила больных и каждому ставила укол апоморфина в руку.

Дошла очередь и до меня: сначала я получил укол, а затем прапор сунул мне в зубы полстакана водки.

— Пей!

Водка провалилась в меня жгучим комком и, не растекаясь по жилам, запульсировала сгустком тепла под ложечкой. От апоморфина зажгло уши, щёки, живот опоясало тесным и понемногу сжимающимся обручем. Я себя чувствовал отвратительно, но Ерофею Кузьмичу было ещё хуже: всё его тело покрылось бело-красными пятнами, а дыхание стало прерывистым и частым. Внезапно я почувствовал, как теряю зрение, всё вокруг потонуло в зеленоватых сумерках, и в них звучал властно-завораживающий голос капитана Попова:

— Вам плохо! Вам очень плохо! Вас неудержимо тянет облегчить желудок!

С диким утробным воплем вырвало одного, затем другого, и вот уже два десятка мужиков стали корчиться в рвотных судорогах, извергая из себя клубы слизи и пены.

А я всё не мог никак избавиться от переполнявшего меня смрада, корчился перед тазиком и капитан Попов с каким-то диким торжеством приплясывал передо мной, как тунгусский шаман, и вскрикивал:

— Вам плохо! Вам очень плохо!

Но и после облегчения желудка мне стало едва ли лучше, все мужики, кроме меня и Бывалина, отблевавшись, ополаскивали тазики под краном и шли одеваться, а мы находились в прострации. Ерофей Кузьмич тяжело постанывал, а я едва себя

сдерживал, чтобы не разрыдаться и не забиться в истерику. Расплакаться было бы последним делом, слабаков здесь не жалели, а затапывали без пощады и даже с какой-то радостью, видимо, от того, что кто-то был ещё более унижен, чем они, более слаб и несчастен. Поэтому я стиснул зубы и попытался встать на ноги, и мне это удалось во второй попытки.

Санитар приволок резиновый шланг и принялся окатывать помещение водой, и я понял, что нам пришла пора сваливать. Подхватив за локоть Бывалина, я повёл его к двери. Старик после нескольких неуверенных шагов окреп и уже не нуждался в моей помощи.

— А кто за вами тазики будет мыть? — заорал санитар и повернул шланг в нашу сторону.

— Иди, — сказал Бывалин. — Я приберусь.

В раздевалке было пусто и холодно, на вешалке сиротливо висели только мои и Бывалина шобаны, из упавшего сапога капал раствор формалина. Я стал торопливо натягивать на себя нижнее бельё и трясся от озноба, пока не догадался подпрыгнуть к батарее отопления и упасть на неё всей задницей.

— Поймал кайф? — сказал, заглядывая в раздевалку, прапор. — Вали отсюда по-скорому и старика прихвати.

— Что и отдохнуть нельзя? — осмелился буркнуть я.

— Отдыхай! — обрадовался прапор. — Сейчас на рыгаловку второй заход будет, я и тебя туда замету, по второму разу.

Из процедурной вышел Бывалин, видок у него был — краше в гроб кладут.

— Крепка советская власть, — мрачно вымолвил старик. — Крепче спирта.

— 13 —

Выборы народных судей были назначены на последнее воскресенье декабря, и я возмечтал лежать на кровати до тех пор, пока не заболят бока, но мне помешал посыльный из штаба.

— Рви в клуб, там замполит икру мечет! — востормошил он меня ни свет, ни заря.

Я помотал сонной головой и с трудом разлепил глаза. В окне морозной наледью были покрыты все стёкла, и от стен тянуло холодом.

— Ты меня не видел! — я сунул голову под подушку, но посыльный сдёрнул одеяло на пол и стал трясти койку.

Михайлыч всхрапнул, как конь, и зло пнул посыльного своим мозолистым копытом.

— Заглохните оба! А ты, Ванька, дуй в штаб, или в клуб, но сгинь с глаз долой!

К мнению бугра полагалось прислушиваться, и я осторожно, чтобы не потревожить начальника, оделся, в умывалке несколькими каплями ледяной воды промыл глаза и вышел на крыльцо. Мёрзлые доски заскрипели подо мной, и караульный пёс, которого на коротком поводке вёл прапорщик, повернув в мою сторону башку, сверкнул клыками, но не рыкнул.

Ночью выпал снег, успевший к утру промёрзнуть и сейчас он весело похрустывал под сапогами, будто о чём-то по-своему со мной разговаривал. Над крышей клуба показался край морозного, в протуберанцах, зимнего солнца. Дым из трубы котельной вставал отвесным и плотным жгутом, верхний его конец был разлохмачен и слегка наклонился в сторону, противоположную ветру, присутствие которого над землей почти не ощущалось. Мороз был явно за тридцать, у меня стали слипаться от инея глаза, по спине потянуло холодом, будто я прижался к льдине, кирза на сапогах зажелезнела и плохо гнулась, а дверь столовой, которую я едва открыл, закуржавела и захлопнулась за мной с чавканьем, как мокрая пасть голодного чудовища.

В зале всё было готово для завтрака. Я подошёл к своему столу, заглянул в бачок, взял алюминиевую миску и бросил в неё черпак синей картошки, кусок рыбы, хлеб и принялся работать ложкой.

— Почему не со своей бригадой? — подлетел ко мне коршуном прапор.

— Замполит Шишков ждёт меня в клубе.

После горячего чая с хлебом и кусочком масла я окончательно согрелся и, скользя на подмётках, резво домчался до клуба, где Шишков схватил меня за рукав и подвёл к столу, над которым висели буквы «С» и «Т».

— Будешь сидеть на бюллетенях, — сообщил он. — Бухгалтершу на скорой увезли, заменишь. Дело простое: выдавай бюллетень для голосования под роспись, вот листы учёта, вот ручка. В гримёрке для членов избирательной комиссии чай, пирожки, конфеты.

— Разве я в ней состою?

— А как же, — сказал капитан. — Тебя избрали ещё месяц назад. Так что почувствуй ответственность.

По правую и левую сторону от меня стояли столы, каждый на две-три буквы; к проведению голосования были привлечены женщины из obsługi ЛТП, а из принудбольных всего двое — я и киномеханик. Мы с ним перемигнулись, он сидел недалеко — на буквах «Ш» и «Щ», и собрались покурить, но со сцены Шишков подал команду:

— Объявляю десятисекундную готовность! Девять, восемь, семь, шесть, пять... Громкоговоритель готов? Включай!

Усиленные многоваттным динамиком над ЛТП прозвучали сигналы точного времени. Шесть часов утра. Одна шестая земной суши вступила в яркую полосу освещённости социалистической демократией, которая будет продолжаться до восьми часов вечера.

Забухала входная дверь, и в зал, шурясь от яркого света, вошли со своими жёнами майор Жернаков, начальник штаба, капитан Попов и начальники всяких служб. Они вполне искренне поздравляли друг друга с праздником, на этот раз — днём избрания в народные судьи Ивана Федотыча, загадочного кореша всей этой эмвэдэвской братвы, упакованной по случаю

праздника в парадные шинели, хромовые сапоги и сшитые на заказ неуставные шапки из серебристого каракуля.

Начальство проголосовало первым. Жернаков и Шишков остановились недалеко от моего стола, и замполит недовольно пробурчал:

— Из политотдела есть распоряжение строем людей на голосование не водить.

— А у нас, что, без этого демократии мало? — удивился майор. — Или ты иностранных корреспондентов пригласил? Тогда, конечно, строем нельзя, а группами можно. Мы ведь имеем дело с больными, а за ними нужно присматривать.

— Да мне всё равно, что в лоб, что по лбу, — вздохнул замполит. — Однако, перестройка, надо соответствовать моменту.

— Заглянем-ка, политрук, лучше в буфет! — предложил Жернаков. — Надеюсь, у тебя есть что-нибудь соответствующее моменту.

— Как нет! — оживился Шишков. — Заодно позвоним Ивану Федотычу, доложим, что мы его помним и любим.

— Вот это ты, верно, напомнил! — заявил майор. — А то чуть всю малину не испортил — как голосовать? Как надо, так и проголосуют!

Первым избирателем, который протянул мне свою офицерскую книжку, был молодой розовощёкий лейтенант Сергеев, вчерашний студент мединститута, избравший себе в пациенты алкашей и тунеядцев. МВД обеспечивало своих людей лучше, чем Минздрав, и выбор Сергеева был для меня понятен. Отпустив элтэпэшного эскулапа с бюллетенем для голосования, я заозирался по сторонам, прикидывая, как мне куда-нибудь смыться, чтобы насладиться «Примой», первой за сегодняшнее утро. Мои беспокойные оглядывания и ёрзание на стуле привлекли внимание соседки, обслуживающей буквы «П» и «Р». Она была битая лагерная труженица и разгадала мою суету с одного взгляда.

— Что, поднять хочешь? Иди в комнату, что за моей спиной, я тебя подменю. Потом меня отпустишь, а то без курева уши опухли.

В комнате на двух столах и стульях была сложена одежда. Я подошёл к окну, приоткрыл форточку и с наслаждением затянулся сигаретой, единственным удовольствием, к которому ещё имел доступ. Табачный дым запудривал мозги хмелящим дурманом, растекался приятным покалыванием по рукам и ногам. Я курил «Приму», пока мне не начало жечь кончики пальцев, и сразу же запалил другую сигарету, которую выкурил уже без прежней поспешности, со вкусом, рассматривая кольца и полосы табачного дыма, которые струились в едва открытую форточку.

— Ты там не угорел? — хихикнула соседка. — Сейчас толпа повалит из столовой. Пригляди здесь, а я приобщусь к разврату.

Вихляясь тощим задом, она исчезла за дверью комнаты, а я упал на стул и, вытянув ноги, блаженно закрыл глаза. Но долго насладиться покоем мне не дали. Появился некто в белой куртке с подносом в руке и поставил передо мной стакан кофе и очень аппетитную с виду булочку.

— Набирайся, Конев, сил, — бросил в мою сторону, пробегая мимо, замполит. — Сейчас на нас навалится избиратель!

Перед клубом уже стояли два отряда принудбольных, и никому не хотелось морозиться.

— Первый отряд, на голосование справа по одному шагом марш! — разрешил проблему майор Жернаков. — Третий отряд, левое плечо вперёд и с песней до котельной и обратно, на голосование!

К регистрационным столам выстроились длинные очереди. Ко мне стояли всего человек десять-пятнадцать, а вот на букву «К» и у моей соседки на «П» и «Р» народу сгрудилось — не пересчитать. Выдача бюллетеней осуществлялась по кивку офицера, который стоял рядом со мной. Содержащийся в заключении полноправный советский гражданин называл свою фамилию, начальник отряда кивком подтверждал её

правильность, далее в соответствующей графе избиратель делал роспись в получении избирательного документа и вставал в другую очередь — к урне, возле которой за демократическим отправлением выборов наблюдал один из офицеров управления ЛТП.

— Я и не думал, что здесь столько народу, — пробормотал я, с испугом поглядывая на толпу избирателей.

— Ерунда, тут их бывало и больше, — сказала моя соседка, лихо расправлявшаяся со своей очередью и не упускавшая из виду ничего, что творилось вокруг. — Через пару часов мы эту пургу разгоним. Только курить хочется, до не могу.

Ни у кого из тех, кому я вручал избирательный бюллетень, в глазах не было ни малейшего интереса к тому, что сейчас происходит. Человек, не глядя, получал бумажку и, не заглядывая в неё, бросал в обитый кумачовой тряпкой ящик. У кого были деньги, те шли в буфет за сигаретами, пирожками и газировкой. У кого карманы были пусты, те выглядывали, где бы стрельнуть, на худой случай, окуроч, второпях домусоливали его и под бравурную музыку и песни спешили в свой барак, где, пользуясь праздничным послаблением внутреннего распорядка, зарывались с головой в постель и впадали в спячку до праздничного обеда с непременною ватрушкой с творогом и кружкой кофе или киселя после лапши с куриными головами и рисовых тефтелей с капустным гарниром.

К двенадцати часам, как выразился замполит, мы отстрелялись, тут же подбили бабки, то есть подсчитали количество проголосовавших «за» и «против», и всё, конечно, было в ажуре, о чём Шишков доложил в районную избирательную комиссию. Вся эта колготня заняла около шести часов, но вот я удостоился чести подписать протокол голосования и стал поглядывать в сторону буфета, откуда уже доносились призывные запахи. Однако в званые я не попал, там на столе стояла водка, но мне и киномеханику вручили по целлофановому пакету и указали на дверь, что меня вполне устроило: я не хотел лишаться своего праздничного обеда, а

полученный паёк с дополнительным питанием предполагал, что в столовой меня ждёт роскошная жратва.

Наш отряд уже отобедал, но бугор про своего коечного соседа не забыл: первое и второе, а также ватрушка с творогом и кружка киселя дожидались меня на столе под надёжной охраной Кости-хоккеиста.

— А это что у тебя? — сказал он, жадно поглядывая на пакет, который я положил на стол. — Шабашка?

— Вряд ли так можно назвать честно заработанное мной в поте лица, — я открыл бачок, в котором на дне забултыхалось оставленное мне варено. — Поэтому я жертвую тебе свой праздничный обед, а сам обойдусь своим приработком.

— И ватрушку не жалко?

— Не жалко, — произнёс я чуть дрогнувшим голосом.

Ватрушку я бы и сам срубал за милую душу, но обед был обещан весь целиком, а постряпушка входила в него по меню и не подлежала изъятию.

— Ну, ты, Ваня, меня обрадовал! — восхитился Костя. — А я тебя за это таким табачком угощу — закачаешься!

Пожертвовав обедом, я почти сразу же пожалел о своём бескорыстном поступке: хотя куриные головы и рисовые тефтели меня не вдохновляли, но я потерял ватрушку, а это, — о чём можно было судить по подрумяненной корочке, — была такая вкуснятина, что я слегка загрустил и, вздохнув, неуверенно потянулся к полученному от избиркома подарку.

Костя уже дохлебал лапшу, взялся за второе, но это не мешало ему подглядывать за тем, что я делаю.

— Вот это жратва! — поперхнулся он варёной капустой, когда я развернул газету, в которую был завернуто доппитание. И там действительно было, на что посмотреть таким бедолагам, как мы: большой кусок докторской колбасы, плавленый сырок, две булочки с сыром, банка шпротов, шоколадный батончик, пачка печенья, пачка вафель «Артек», шоколадные конфеты россыпью...

— Везёт образованным людям, — с искренним сожалением сказал Костя. — Меня вот в избирком не позвали. А я, между прочим, мастер спорта СССР. Когда играл, это звучало, а сейчас плюнуть и растереть. Мог бы не один институт закончить, мог бы... А мы с братом на двоих букварь искурили — вот и всё моё учение.

— Подай хлеб, — сказал я, уже смирившись с тем, что с Костей придётся поделиться.

— Я уже почти полгода колбасу не видел, — вздохнул Костя.

— Что про нас говорить, полстраны без колбасы живёт и ничего страшного. Корабли бороздят океанские просторы, заводы дымят, шахтёры рубят уголёк... Зачем колбаса с туалетной бумагой, когда у каждого в холодильнике есть мясо?

— Давай, поделимся: я тебе мясо, — предложил Костя, доставая из бачка куриную голову, — а ты мне колбасу. Идёт?

Наступил самый неприятный момент — делёжка подарка. Я никогда не был жмотом, но, признаться, чувствовал себя, по крайней мере, неудобно: жалко было отрезать от колбасы много и мало отрезать было нельзя, чтобы не обидеть приятеля. В конце концов, я разрезал колбасу на две части, одну побольше, другую, поменьше, и буркнул:

— Угощайся!

Костя задумался, ему явно хотелось взять больший кусок, но, вздохнув, он решил на меньший.

— Можно я конфетку возьму, — сказал Костя, с трудом дожёвывая бутерброд. — Надо это дело чайком запить. Нажрался я сегодня, как Винни-Пух в гостях у Кролика. И ты поторапливайся, а то мне курево карман жжёт, это такой, я тебе скажу, улётный кайф...

От колбасы мой желудок пришёл в изумление и, съев два больших бутерброда, я решил сделать перерыв, чтобы моё нутро освоилось со свалившимися в него деликатесами. Дежурный по столовой прапорщик слинял, остались повара и уборщики посуды.

— Доставай, что у тебя за курево?

Костя оглянулся по сторонам, полез рукой за пазуху и вытащил из-под брючного ремня книгу в твёрдой обложке.

— Вот, «Малая земля» Леонида Ильича, знаешь такого?

*Водка стала стоить восемь,
Всё равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу —
Нам и десять по плечу!*

— Устарело! Сейчас водка давно за десять рублей, да и той торгуют с одиннадцати. Курево где?

Костя снова пооглядывался, приложил палец к губам, чтобы я помалкивал, и раскрыл том с фронтовыми воспоминаниями дорогого Леонида Ильича.

На левой стороне распахнутой книги сиял улыбкой и золотыми звёздами автор, а с правой стороны во всю толщину был сделан вырез, в котором лежала пачка «Беломора».

— Вот это портсигар! — удивился я. — Первый раз вижу такое.

— Какие твои годы, — усмехнулся Костя и, вынув папиросу, откусил край мундштука, осторожно снял папиросную гильзу, высыпал из неё в ладошку табак и, отщепив от пластинки серого цвета крошку, размял её с табаком и снова снарядил папиросу.

— Да это никак дурь! — догадался я.

— Молчи громче! — цыкнул на меня Костя. — Улётный кайф. Прикуривай, пока никого нет.

Себе он сделал большую самокрутку, поджёг её спичкой, затем дал огонька и мне. Я осторожно, прислушиваясь к себе, курнул разок, другой, но ничего необычного для себя не ощутил. А Костя заметно заторчал после того, как искурил половину самокрутки, довольно взмывкивал и поглядывал на меня затуманенным взглядом.

— Ну как, проняло?

— Туфта какая-то! — я швырнул недокуренную папиросу в сторону и достал свою любимую «Приму».

— погоди! — заторопился Костя. — Я тебе сейчас ещё один косячок забью в самокрутку. Меня с первого разу тоже не разобрало.

— Хорошего помаленьку, — я уже опомнился окончательно, видимо, от того, что зажгло кончик языка, а в глазах вспыхнули и разлетелись на множество искр раскалённые угольки.

— Ты, Костя, оставайся, а я побегу в барак.

— О том, что знаешь, молчок, — трезво глянул на меня он. — Знаешь, дурь чья? Хорька.

— Ты что, её у него отобрал?

— Я не баклан, — осклабился Костя. — Случайно подглядел, как он её прячет. И знаешь где? В цехе... Я её цап-царап!

— Тебя за это на нож поставят!

— Замучаются ставить. Но мне на этих крысятников в радость глядеть, как они бешеной пеной исходят, готовы на стенку броситься, да не знают, кто их так обул.

— Но они могут узнать, если принюхаются и приглядятся к тебе, — по-настоящему испугался я за приятеля.

— Где наша не пропадала! — отмахнулся Костя. — Кулаками махать не впервой. Но и ты помалкивай.

— Нужда мне припала наступать в это дерьмо!

Я подхватил со стола пакет с остатками доппайка и пошёл на выход из столовой.

На ЛТП опускались зимние сумерки, громкоговоритель умолк, в окнах клуба было темно, праздник советской демократии подошёл к концу, но кое-кто его продолжал в застольях, потому что выборы были неплохим поводом повеселиться, если не душу, то усталую, забитую словесным мусором голову, и сполоснуть мозги исконно русским напитком.

Я судорожно сглотнул сухой комок в горле, даже случайная мысль о водке заставила меня покрыться холодным потом: «Боже мой! Я уже никогда не избавлюсь от ужаса, который мне довелось испытать здесь, и капитан Попов с тазиком в руке будет за мной гоняться до моей кончины».

Михайлыч возле барака лениво покрикивал на тех, кто собрался в кино, чтобы они становились в строй. Он жадно взглянул на пакет, который я держал в руке, и прохрипел: «Я забил сорок!» Я сначала не понял, а потом вспомнил, как в детстве у нас был обычай просить друг у друга что-нибудь: «Оставь сорок!» Что там шевельнулось в мутной душе старого хулигана, неизвестно, но меня его слова тронули, и я протянул ему шоколадный батончик.

Начальник отряда в комнате отдыха играл в шахматы, в углу казармы на койках сидели на своём толковище Хорёк и его подручные, они на меня не оглянулись, чему я был рад, поскольку легко догадался, о чём у них шёл базар. Утрата дури, за которую были заплачены немалые деньги, сделало жизнь этих отморозков насыщенной подозрениями ко всем, включая самого Хорька. И он клялся самыми страшными клятвами найти крысятника и выпустить из него требуху, как можно скорее, пока он не извёл наркоту в табачный дым.

Стараясь не глядеть в их сторону, я подошёл к Бывалину, который отсвечивал лысиной на подушке, но не спал.

— Не худо бы, Ерофей Кузьмич, чайку изобразить, — сказал я и потряс пакетом.

— А я пролежал весь день, но сна — ни в одном глазу, — обрадовался моему приходу старик. — Зубов ещё не ушёл, но я извернусь и вскипячу кипятивником полулитровую кружку. Заварка у меня есть, индийская со слоном.

Он достал из тумбочки глиняную посудину и самодельный, от Федорчука, кипятивник — изолированный провод, на одном конце которого была вилка, а на другом — два бритвенных лезвия, изделие весьма эффективное для любителей побаловаться чайком как единственным разрешённым удовольствием на всех зонах, независимо от установленного для них режима содержания контингента.

Пользоваться кипятивниками было запрещено, но начальство на нарушителей смотрело сквозь пальцы, и заглянувший в жилой отсек Зубов даже вида не подал, что

увидел, как двое его подопечных, отдуваясь и похрустывая кондитерскими сладостями, пьют чай, а в кружке, укутанной вафельным полотенцем, томится и набухает вторая засыпка.

— Хорош кучковаться! — крикнул начальник отряда. — Через минуту всем быть на прослушивании речи Горбачёва по телевизору. Хорьков, тебя это в первую очередь касается и твоих дружков тоже.

Нам Зубов ничего не сказал, мы и не шевельнулись, как сидели, так и продолжали сидеть, когда Хорёк со своей кодлой быстро собрались и отвалили.

— Может, и нам надо идти? — дёрнулся Ерофей Кузьмич.

— Разве мы плохо сидим?

— Очень даже хорошо, — как-то жалко вымолвил Бывалин. — Это я так сказал, от страха, что вдруг лейтенант на меня рыкнет. А у меня душа обрывается, когда кто-нибудь на меня кричит. У тебя не так?

— Не знаю, — буркнул я, хотя порой холодел от страха не только от чьих-то угроз, но и безо всякой видимой причины.

— Не знаешь и не знай, — хмыкнул Бывалин. — Не суть важно, общество извергло нас из себя или мы по своей воле отпали от самого справедливого в мире человеческого общежития, бесспорно одно, что мы — падшие люди, ещё не долетевшие до дна преисподней, но продолжающие своё падение. И ты, и я находимся вне людского круга. К жулику наши простодырые обыватели могут испытывать самые разные чувства — от ненависти до любви, но алкаши вызывают у них омерзение, и знаешь почему?

— Я как-то над этим не задумывался.

— Да потому, что трезвенники видят в нас нечто противное своей природе и не хотят признавать в нас себя, какими они могут стать, окунувшись в пианство. Вором дано быть далеко не каждому, а в пьяницы путь не заказан никому.

— В чём ты хочешь меня убедить? — спросил я. — Что, алкаш гаже жулика или бандита? Или пьянство — не смертный грех, как и убийство?

— Нас, скорее, надо причислить к самоубийцам. А это смертный грех.

— Ты меня, Ерофей Кузьмич, удивил, — сказал я. — Разве на Руси питье хмельного уже не веселие? Конечно, все мы грешим тем, что угрожаем своему чреву, но это не нами заведено и не нами кончится.

— Наше непомерное алкание хмельного вряд ли можно считать чревоугодием, — после некоторого раздумья сказал Бывалин. — Мы пьём и не ведаем, что кадим бесу и тем загаживаем душу копотью, чтобы она не узрела своего Спасителя.

— Раз пошёл разговор о душе, тогда жди, что откуда-то и бог выглянет, — развязно сказал я. — Но в нашем пристанище ему вряд ли найдётся место. Благовониями тут не пахнет.

— Господь со мной, — просто вымолвил Ерофей Кузьмич и, вынув из-за пазухи крохотный образ Спасителя, стал креститься, нашёптывая молитву.

Как я ни распустился, но у меня достало ума не рассмеяться над стариком. И после некоторого раздумья я по-доброму ему позавидовал: Бывалину было к кому прислониться со своей бедой, а мне, не знающему истинной правды, суждено было пребывать в одиночестве безверия, иногда с ужасом ощущая дуновения сквозняка из бездны, в коей мне уже в недалёкий час суждено навсегда сгинуть.

– 14 –

Сегодня день свиданий, и уже с раннего утра возле КПП столпотворение, как с внешней, так и с внутренней стороны ворот. Пока они заперты — их откроют в восемь часов — и начнутся объятия, поцелуи и слёзные стоны. Смеха и веселия в день свидания не бывает, да и чему радоваться, когда встречаются порой виноватые друг перед другом люди. Одни виноваты в том, что пили и куролесили во вред своим близким,

а другие, чаще всего жены, чувствуют свою вину, что поддались на уговоры участкового и написали заявление, чтобы мужа отправили в ЛТП. И пусть они скоро спохватились и стали казнить себя за бабью скоропалительную дурачность, но клетка уже запечатана на год или на два, и им остаётся возить передачи, каяться, лить слёзы, но что на воз правосудия попало, то и будет лежать на нём до конца судного срока.

Обычно я не смотрю в сторону ворот, потому, что по воскресеньям мне ждать некого. Зинка стала мадам Беркутовой, с ней мы расплевались и разбежались навсегда, а Валя, к счастью, не знает, что меня замели в ЛТП, и, надеюсь, никогда не узнает; что касается родственников, то они уже давно стали для меня чужими. Однако я, хоть и не смотрю в сторону ворот, но нет-нет, да и мелькнёт мыслишка, а что, если кто-нибудь, да и явится ко мне с десятком пачек чая со сломом, парой килограммов конфет «Мишка на Севере» и батонном докторской колбасы... И я не стыжусь этих наивных мыслей, мечтать в моём положении не вредно и даже полезно для душевного равновесия.

Костя-спортсмен сегодня поднялся до подъёма и сразу шепнул мне сонному в ухо, чтобы я от него не отставал: к нему обещались приехать дружбаны с нехилыми дарами. От него тянуло сладковатым запахом, и я понял, что украденная у Хорька дурь ещё не кончилась, и он с утра успел крепко зарядиться.

Многие в это утро, в предвкушении гостинцев, на завтрак не пошли, и мне достались масло и сахар за Костю и Ерофея Кузьмича. Я от пуза напился чаю и, не спеша, направился к воротам. Там уже были и майор Жернаков, и капитан Шишков, и начальники отрядов со списком своих людей, возле каждого отрядного топтались бугры, их главная опора в наведении порядка.

Я поопасался столкнуться с каким-нибудь знакомым из гостей, и шапку с опущенными клапанами натянул на глаза, голову ужал в куртку и не полез в толчею, а встал чуть в

сторонке за фонарным столбом. Наше начальство заботилось о том, чтобы мы пребывали в бодром настроении, надеясь воспитать нас оптимистами, и со столба, за которым я притулился, из динамика раздавались песни из репертуара строителей светлого будущего. Это придавало свиданию вид близкой к открытию ярмарки, где все только и ждут разрешения начать торговлю.

Жернаков сделал отмашку, ворота распахнулись, и люди двинулись навстречу друг другу. Раздались два или три громких вопля, но шумную радость от встречи с близкими заглушило чьё-то горе, а Шишков с высокого крыльца КПП покрикивал:

— Прошу всех в клуб! Прошу пройти в отапливаемое помещение! Всех гостей категорически предупреждаю: передавать спиртные напитки запрещено!

У нескольких женщин с большими сумками прапорщики тут же проверили гостинцы, и не ошиблись, у одной нашлась грелка с самогонкой. Нарушительницу вытолкали за ворота, а самогонку вылили на утопанный десятками ног грязный снег, на котором она расплылась словно бычья моча, жёлтым пятном, и сивушный запах заставил затрепетать мои ноздри, а к горлу подкатил сухой и колючий комок, который я с трудом проглотил.

— Что ты, Иван, как неродной! — схватил меня за рукав куртки Костя. — Дружбаны явились, как обещали, идём!

За воротами КПП стояла бежевая «Волга», а возле неё перетапывались два молодых мужика в пыжиковых шапках и дублёнках, которые были доступны только людям большого достатка. Хоккейную команду содержал военный завод, и эти догоняльщики оранжевого мячика числились на нём высокооплачиваемыми специалистами.

Костя представил меня своим друзьям, но они в мою сторону даже не глянули. Я в их глазах был той самой минус единицей, которая якобы существует, но не здесь, а в потустороннем мире.

— Что-то стало холодать! — воскликнул Костя. — Может, нырнём в машину?

— Я, Костя, пойду, меня Бывалин просил к нему подойти.

— погоди! — Костя сунулся в машину и протянул мне банку сгущёнки.

— Что он тебе передал? — остановил меня прапор. — Они там не кирять собрались?

— Гляди, не опоздай! — не сдержавшись, зло буркнул я. — А то без тебя всё вылакают!

Прапор тоже озлился и дал мне пенделя, к моему счастью, несильно. И за дело: не надо злить собаку, когда она на привязи.

Ерофей Кузьмич усиленно приглашал меня подкормиться к своим доброжелательницам, которые не забыли того, кто их когда-то венчал, крестил детей. Они приезжали к нему в ЛТП уже несколько раз с весьма питательными передачами, то с салом, то с несколькими банками самодельной тушёнки, а чесноку всякий раз привозили по полмешка, и старик его раздавал всему отряду, по несколько головок каждому, для витаминизации органа.

Возле входа в клуб на крыльце стоял Троцкий, с красной повязкой на рукаве стёганой куртки. На ослепительно белом снегу, от которого отражалось яркое солнце, его густо усыпанное веснушками широкоскулое лицо казалось отражением дневного светила.

— Вы, Лев Давидович, смотрите как стоп-сигнал, — пошутил я, обстукивая сапоги о ступеньку крыльца. — Высматриваете своих?

— Будут после обеда, — сказал Троцкий. — Я вызвался подежурить, чтобы их ко мне пропустили. Сам дедуля собрался приехать.

— Вон как! — удивился я. — А майор Жернаков знает об этом?

— Зачем ему знать. Я с отрядным перебазарил, он не против.

— А всё-таки Жернакову скажи, что сегодня в его учреждение с проверкой прибудет, — я замешкался. — Да, так и скажи, что приедет сам Троцкий.

— Шёл бы ты в сортир! — озлился Лев Давидович. — И чтобы там под тобой очко провалилось!

— Вот ты какой изверг! — отодвигаясь от крыльца на всякий случай, сказал я. — Стало быть, ты ни какой не Бронштейн, а самый настоящий Троцкий.

Бронштейн от негодования вспыхнул, как керосиновая лампа, и, сжав кулаки, шагнул в мою сторону, я попятился и угодил спиной в замполита, который вышел из клуба.

— Извините, товарищ капитан.

— Поосторожнее надо быть, Конев, — скривился Шишков, потому что своей мёрзлой кирзой я наступил на его щегольские хромовые сапоги, и теперь ожидал, что схлопочу от капитана наряд на какую-нибудь грязную работу. Но в дверях появился Жернаков, и оба начальника поспешили к автобусу, который развозил свободных от несения службы офицеров и прапорщиков по домам и квартирам.

У школьников были зимние каникулы, и многие жёны приехали с детьми, чтобы те повидали отцов, но радости от этой встречи ни у кого не было. В клубе на стульях, подальше от посторонних, кучковались близкие друг другу люди. Некоторые сдержанно, чтобы не мешать другим, переговаривались и даже улыбались, но большинство были молчаливы. Женщины вздыхали, вытирая платочками выступающую на глазах слёзную влагу, к ним жались детишки, которым было трудно узнать в коротко стриженном мужике, одетом в стёганку, и в кирзовых сапогах, пахнувшего плесенью, со слезящимися красными глазами и безостановочно пожирающего домашние гостинцы, своего отца. Лагерный образ жизни пробудил у некоторых жадный жор, и они были готовы сдохнуть от заворота кишок, но не поделиться с соседом по койке привезённым из дома гостинцем.

Недалеко от сцены я увидел Бывалина, восседавшего в окружении нескольких ещё не старых женщин. Он тоже меня углядел и приглашающе махнул рукой, привстав со стула.

— Это мой товарищ по несчастью, — сказал Ерофей Кузьмич. — Вместе спасаемся от лишений в сей богомерзкой обители.

— Спаси ты Христос, спаси ты Христос, — зашелестели женщины и начали совать мне в руки домашнюю стряпню: пирожки, пончики, блинчики. Я не отказывался, в кармане у меня всегда была сетчатая авоська — привычка одинокой жизни, и я её наполнил искренними дарами. Затем, чтобы не мешать откровенной беседе Бывалина с гостями, отсел на несколько стульев в сторону, поближе к семейству Федорчуков. Конечно, не с мыслью чем-нибудь от них попользоваться, нормы приличия мной были растеряны, но не до конца. Просто мне любопытно было услышать, как Степан общается со своим семейством: полной широколицей супругой, дочерью, лет двенадцати, и призывного возраста сыном.

— Ты не части, не части, Марья, — урезонивал жену Степан. — Давай всё по порядку, сначала, как дом?

— Дом стоит, стоит, Стёпа. Правда, зима, сам видишь какая, угол промёрз, тот, что на улицу к колодцу, немного, но промёрз.

— Это, наверно, набивка между стен села, — задумчиво сказал муж.

— И, вправду, села, подсыпать надо, а то слышно по ночам, как мыши в стенах бегают.

— А кот на что?

— Ой, не говори, изблудился, совсем изблудился! Вон Галя не даст соврать, она дома была. Пришёл Рыжик как-то под утро, залез на печку и спит. А мы с соседкой Федосьей Акимовной на диванчике возле печки сидим, судачим. Слышим, зашуршало что-то, потекло. А это он, паразит! Спит и во сне опрудился!

— Ты что, Мишка, не можешь его утопить? — нахохотавшись, спросил Степан.

— Нет, не могу, что я, кошкодрал какой?

— Ну ладно, сам с ним расправлюсь, — сказал Степан. — Вот только вернись. А скотина как?

— Хорошо, Стёпа, хорошо, — зачастила жена. — Корова скоро отелиться должна.

— Сена-то хватит?

— Хватит, хватит. Ты же у нас, отец, сумел накопить, пока этот участковый не привязался. Чтоб его кондрашкой расшибло! Сам не просыхает, а на тебя взъелся. А сколько ты ему добра сделал!

— Ладно об этом, я ему больше ничего в доме чинить не буду, пусть за мастером в город ездит.

— Все жалеют тебя. Раньше мне чуть не кланялись, а сейчас косятся. — Марья уткнулась лицом в стёганку мужа. — И я, дура, подмахнула милицейскую бумагу. Как рука не отсохла!

— Ну ладно, ладно, — Степан отстранил от себя жену. — Я своё верну. Вот, думаю, к лету выйду. Ты там так и объяви, чтобы с бутылками ко мне больше не совались, только за деньги. И никаких послаблений!

Степан прижал к себе дочку.

— Как учишься, Галка?

— Хорошо.

— Хорошо, это как?

— Две четвёрки только, по музыке и физкультуре.

— Молодец! А матери помогаешь?

— Помогает, Стёпа, она у меня молодец. И полы моет и посуду.

Отец достал из кармана хлопчатобумажного костюма шоколадку и отдал дочке.

— А ты как, Михаил? Куда надумал поступать?

— В военное училище пойду, танковое.

— Что ж! Дело хорошее, старайся, учись. Не забалуйся там без меня.

— Нет, Стёпа, — сказал жена. — Он дома всё время сидит над книжками.

— Молодец!

Прислушиваясь к этому разговору, я понял, что Степан попал в ЛТП по недоразумению. По складу своего характера он был

работящим мужиком и небесталанным умельцем на все руки, который всё делал по расчёту, с дальним прицелом. Но вино — надо же! — побороло даже его, и он в какой-то миг попал в полосу загула.

Сейчас эта полоса прошла, и Степан снова стал таким, каким он и был всегда — хитроватым, оборотистым дельцом, способным из камня выжать копейку. Казалось бы — ЛТП, зона, но и здесь он нашёл выход. В слесарке на заводе Степан занялся ремонтом бытовых приборов: электроутюгов, электробрить, пылесосов, радиоприёмников и другой техники. Ему платили, и деньги у него водились. И в это свидание с женой он передал ей пачечку рублей и трояков, наказывая купить к весне сыну куртку.

Прихожанки, приехавшие навестить Ерофея Кузьмича, разговаривали о своих церковных делах, и тешили его рассказами, что не так де нынешний поп служит, и голоском слабоват, и грыжа у него обнаружилась, словом, малохольный поп достался приходу.

Сначала я не понял, причём тут поповская грыжа, но скоро до меня дошло. Можно было догадаться, что Бывалин во священстве вёл себя довольно смиренно, но даже на него точило зубы районное начальство, а новый священник начал активничать в религиозном направлении. В райкоме и райисполкоме задумались, что им противопоставить против дурмана религии, а то совсем молодой поп разошёлся: отпевает, крестит налево и направо ребятишек, венчает сельских активистов — нет удержу! Думало, думало районное начальство, и решили попа призвать в армию. То-то ему будет в солдатской шинелке!

Вручили попу повестку, а он объявляет, мол, рад бы да не могу, потому что болен, грыжу имею, большую килу, хоть сейчас штаны сниму и покажу. Военком, однако, не смутился и направил его в больницу. Вырезать килу — и вся недолга! Поп упёрся. Прихожане зашумели. А власти настаивают. И вдруг

звонок из Москвы: оставьте попа в покое и занимайтесь борьбой с пьянством.

Выслушав эти известия, Ерофей Кузьмич горько вымолвил:

— Был у нас в моё время горячий такой председатель райисполкома, всё кричал, мол, изведу заразу из своего района. А церковь-то у нас не памятник какой-то, а так, деревянная постройка. И спланировали построить школу рядом с храмом, мол, ребятишки мигом нас выживут. И построили в двадцати метрах. Теперь все ребятишки на переменах, если служба, бегут в храм и знакомятся с обрядами. Я этому председателю райисполкома так и сказал, мол, спасибо за помощь...

Время шло к обеду и свидания заканчивались. Вместе с Бывалиным мы проводили его гостей за ворота. И они побрели к шоссе; на взгорке остановились и, повернувшись в нашу сторону, перекрестили распахнутое перед ними пространство.

Костины дружки спортсмены уже уехали, и возле ворот, подъехав, остановилась «Победа». Из неё вышел рыжий мужик, уже в возрасте, обошёл машину и, открыв дверцу, помог выбраться наружу совсем ветхому дедку. Следом за ним из «Победы» вышла женщина с двумя сумками.

— Это же первый Троцкий приехал навестить внука! — догадался я.

— Какой ещё Троцкий? — недоумевающе спросил Бывалин, чьи мысли были выбиты из элтэпэшной колеи встречей с прихожанками.

— Ты что нашего Троцкого не знаешь? Вон он и сам бежит, сломя голову, к своим предкам.

— Как же, как же, знаю, — старик ладошкой стёр с носа и щёк слёзную влагу. — Это же Лёва Бронштейн.

— А дедок, что его чмокает, тот самый пламенный революционер, который не захотел идти в светлое будущее Стёпкой Шаньгиным, и взял себе имя, отчество и настоящую фамилию Троцкого. Стало быть, мы видим первого Льва Давидовича Бронштейна, его сына Давида Львовича и внука, опять Льва Давидовича.

— Ах, Ваня! — вздохнул Ерофей Кузьмич. — Какое нам дело до всей этой шатии-братии? Господь разберёт, кто из них кто. А у нас с тобой есть полное право вместо казённого обеда устроить своё скромное пиршество.

День свиданий ослабил дисциплину в отряде. Несколько человек валялись на койках в сапогах, но дежурный в их сторону даже не взглядывал. В комнате, где не реже одного раза в неделю совершались на политинформациях пропагандистские каждения, под добрым, чуток прищуренным взглядом вождя, несколько человек организовали чайные застолья. Мы с Бывалиным после некоторых колебаний, тоже решились на нарушение режима, вскипятили и заварили чайку и отменно почаевничали с постряпушками, обильно сдобренными липовым мёдом.

Нашему брату свойственно наглеть, вот и мы слишком засиделись. Слышно затопали и зашумели в жилом помещении, Ерофей Кузьмич кинулся собирать со стола стряпню. Я разглядывал себя в зеркало и глупо улыбался, а в дверях встал лейтенант Зубов. Бывалин растерялся почти до умопомрачения, привстал и, слегка поклонившись, произнёс дребезжащим тенорком:

— Просим нас извинить.

Отрядный бог сменил готовый выплеснуться наружу гнев на милость:

— Уберите всё со столов. А ты, Конев, возьми щётку и подмети пол.

Это решение всем, кроме меня, пришлось по вкусу, и только, добрая душа, Бывалин мне посочувствовал:

— У нас всегда так: набедокурили все, а отвечает один. Я тебе, Ваня, помогу убраться.

Но отрядному не удалось испортить моего игривого настроения:

— Эта работа не в наклон, чай обратно не выплеснется, шаньги не выпадут, как-нибудь поеложу щёткой от сих и до сих.

А ты, Ерофей Кузьмич, будь другом, сходи за совком для мусора.

Я сложил все стулья сиденьями на столы, взял щётку и принялся елозить по полу, прихватывая соринки и крошки из щелей деревянного пола, выкрашенного когда-то охрой и почерневшего от подмёток наших сапог. Бывалин занимался содержимым сумок, перекладывал из одной в другую свёртки, консервы, стеклянные банки с вареньем.

— Вот и для тебя явился подарок, — он протянул мне пару чёрных шерстяных носков. — Не забыла Дарья связать, как просил её в прошлый раз. Я заказал побольше, у тебя же сорок четвёртый?

— Сорок третий.

— Так это ничего, на вырост, значит, связала.

Я взял носки, и на меня пахнуло домашним запахом чисто вымытой овечьей шерсти, знакомым мне сызмала. Мама была рукодельницей, и у нас из всех углов выглядывали загнанные туда кошкой шерстяные клубки, большинство из которых были намотаны не без моего участия. И эти носки стали для меня подарком из детских лет, нечаянной милостью, от которой жалобно вздрогнула моя закопчённая пьянством душа.

После обеда начальник отряда позволил нам отдохнуть. Я быстренько разделся и воспарил на второй ярус над Михайлычем, который, подслеповато щурясь, зашивал свои чёрные кальсоны, кои заимел ещё во время последней отсидки на уголовной зоне, где светлое нижнее бельё было запрещено. Не полагалось его иметь и нам, но мы этим запретом пренебрегали, и начальство смотрело на столь незначительное нарушение режима сквозь пальцы.

Зарывшись в постель, я быстро согрелся, впал в расслабленное состояние перед отплытием в сонное полузабытьё, и забвение понесло меня на своих зыбких и призрачных волнах прочь от грязной обители отверженцев нашего времени в сладостное предчувствие неземной воли, которую неизбежно предстоит изведать всякому человеку. Во

сне моя душа освобождалась от грязной накипи, в коей она пребывала, когда я бодрствовал, и чистая, первозданная, подобно бабочке, порхала по благоухающим кушам рая.

На сытый желудок мне спалось сладко и долго, и когда я открыл глаза, в окнах было темно, и желающие выходили на улицу, где звучали команды к построению на ужин. Я отыскал взглядом Бывалина, мой приятель сидел в нижней рубаше на койке и разматывал кипятильник, чтобы заварить чайку. Я быстренько присоединился к его кипяточку с заваркой и булочкам с яблочным вареньем, и мы часа два гоняли чай, потели, беседовали, а порой нескучно молчали, потому что были друг другу не в тягость, что было редкостью между изгоями, ненавидящими всё, кроме хавки и крепкого, как дёготь, чефира.

До отбоя я пялился в телевизор, пока его не выключил дежурный и не заорал: «Отбой!» Крепкий чай и спячка, в которую я залёг посреди дня, не дали мне сомкнуть глаза, около часа я крутился на кровати, затем оделся, прихватил с собой сигареты и книжку и направился в умывалку, где можно было курить.

В мусорном ведре было уже с пяток моих окурков, когда за тонкой, из сухой штукатурки, стенкой послышалась возня, потом что-то упало, и чей-то не знакомый мне голос угрожающе произнёс:

— Даю тебе, Хорёк, неделю, чтобы со мной рассчитался!

— Я же тебе говорил, что кто-то стырил книжку. Он от меня не уйдёт. Бабло я тебе, бля буду, верну.

— А ты что, вычислил крысятника?

— Как в аптеке. Могу шепнуть тебе на ухо кто...

— Молчи громче. Меня, кроме моего бабла, ничего не колышет. Это твои разборки. Повернись ко мне ухом! Я тебе его сейчас закручу, чтобы ты не забыл мои слова...

За стенкой послышалась возня, затем Хорёк дважды взвизгнул, и всё стихло.

Не сразу, но после двух-трёх затяжек «Примы», я понял, что стал свидетелем воровской разборки. Бесспорно, речь шла о книге с дурью, которую Костя утащил из захоронки Хорька. Дурь стоила больших денег, Хорёк взял её в долг, скорее всего, чтобы толкнуть мелкими частями среди спившегося ворья, падкого на это зелье, но бизнес сорвался, и теперь нужен был крайний, чтобы ответить за всё, возможно, даже своей жизнью.

Признаться, я крепко сдрейфил, поскольку стал соучастником в этом деле, когда курил дурь с Костей в столовой. Но на меня Хорёк мог выйти только через него. Возможно, даже этой ночью Костю поднимут с кровати, уволокут в уборную и там поставят на ножи. А я буду в этой смертельной очереди вторым.

Страх за себя пробудил во мне осторожность, я выглянул из умывалки в коридор, стараясь не стучать сапогами, прошёл в казарму, освоился при дежурном свете и пригляделся к той стороне коек, где спал Хорёк. Его кровать была пуста, и мне сразу стало просторнее дышать. Костина койка была через одну от моей, я подкрался к нему и осторожно коснулся его лба.

— Молчи, — прошептал я. — Хорёк знает, что ты спёр книжку. Я подслушал его разговор с настоящим хозяином дури.

Я протрубил тревогу и думал, что Костя подскочит от моих слов, но пан-спортсмен повернулся на правый бок и всхрапнул. Я посчитал, что сделал всё от меня зависящее, дабы предупредить приятеля, и полез на свой второй ярус, где проворочался ещё с час, пока не забылся в мутном тяжёлом сне.

– 15 –

Хотя понедельник и считается тяжёлым днём, но для нас с утра явилась хорошая новость: ЛТП нашими заработками не только живёт, но и богатеет. Работягам выпало большое полегчение — новый пахнувший свежей краской автобус, на котором теперь будут возить на завод все три смены. До

сегодняшнего дня мы топали туда и обратно пёхом, частенько под дождём и снегом по дороге, где проезжавшие машины то посыпали нас пылью, то окатывали грязью. А сколько радикулитов, кашлей, насморков и других простудных хворей было получено нами, когда мы совершали, в разогретом после душа состоянии, марш-броски по морозу, по слякоти?

Поторапливаясь к автобусу, я не выпускал Костю из виду и сел рядом с ним, намереваясь напомнить о вчерашнем. Но он сам, едва мы выехали на шоссе, небрежно произнёс:

— Кто там тебя напугал?

— Зря хихикаешь! — горячо зашептал я в расплуснутое чьей-то клюшкой ухо хоккеиста. — Хорька взял за яблочко хозяин дури, требует с него бабки, а Хорёк клянётся, что надыбал того, кто увёл книжку и скоро с ним разберётся.

— Врёт, как макака.

— Кто врёт?

— Хорёк. Ничего он не знает. Да и как он меня зацепит? Дурь-то тю-тю, вся дымом вышла. Вчера с корешами по последнему косячку зарядили. Я всегда перед деловыми могу сказать, что я чист, а Хорёк — фуфло, и его ещё на зоне едва не отпетушили за какую-то подлянку.

— И всё-таки, Костя, тебе следует побережись, — после некоторого раздумья сказал я. — Хорёк — опасная тварь. Он впрямую на тебя не пойдёт, а кирпич на голову уронить, при случае, попытается.

— Не бзди, Ванюха, прорвёмся! — засмеялся Костя. — Скажи, и на кой хрен нам эти кирпичики? Давай поставим водилу на нож, алкашей возьмём в заложники, потребуем себе самолёт и миллион зелёных наличными. Два дня нервотрепки, но зато потом — Мадейра, бунгало на песчаном пляже, мулатки, шум океанского прибора...

Мне показалось, что дурь ещё не выветрилась из многократно травмированной башки пана-спортсмена, и я усмехнулся:

— На кого же мы Кильдымыча покинем? Степан за нас мантулить не будет, а потом, мы взяли повышенные социалистические обязательства, а это тебе не хренотень какая-то, вроде твоих мулаток.

Мой юмор не позабавил Костю, он вздохнул и, уставившись в автобусное окно, задумался о чём-то своём и трудном.

Кирпичный завод и летом непригляден на вид, а зимой представлял собой дымящиеся руины. Производственный процесс происходит внутри длинных приземистых корпусов с разбитыми стенами, многочисленными провалами, из которых порой выкатываются нагруженные обожжёнными кирпичами вагонетки, но постороннему может показаться, что здесь разбирают на кирпичи развалины какой-то монументальной постройки, а заводом это названо по ошибке.

Автобус остановился возле глинохранилища, откуда было близко до обжигательных печей и формовок. Степан нырнул в электроцех по какой-то своей надобности, а мы зашли в глинохранилище, чтобы пройти на свою формовку по галерее, на которой были два транспортёра, подающие глину на два пресса нашего формовочного цеха. Третья смена закончилась ещё в шесть утра, слесари были заняты профилактикой механизмов, и наши шаги гулко отдавались в длинном помещении галереи.

— Почему такая невезуха? — сказал Костя. — У других то и дело прстои: то света нет, то глины, то железяка какая-нибудь треснет, а мы с тобой пашем, как папы Карлы, за себя, за всю службу и охрану ЛТП, за алименты и за того парня.

— За какого парня?

— Да такого же вроде меня, каким я был ещё лет пять назад, подснежником, — и, заметив мой недоумевающий взгляд, пояснил. — Вся команда была подснежниками, то на одном заводе, то на другом.

Мы вышли из галереи в просторное помещение, где стояли вальцы тонкого помола глины, стали спускаться по стальному

трапу вниз, как вдруг внезапно замигал, а потом выключился свет.

— Всё по твоему хотению, — сказал я. — Может нам повезёт, и это надолго.

Где-то в полутьме раздалось недовольное ворчание Кильдымыча.

— Степан! Где ты? Отзовись!

— Здесь я, — лениво ответил догнавший нас Федорчук. — До обеда будем шабашить.

— Что так?

— На подстанции щит заменяют, старый уже на соплях держался.

Эта новость обрадовала всех, особенно женщин, они зашумели и стали поглядывать на выход из цеха.

— Всем оставаться на своих местах! — громыхнул Кильдымыч. — Я иду в диспетчерскую. Степан, приглядывай тут за порядком.

— Будет сделано, ваше благородие, — козырнул Федорчук. — Все шагом марш в красный уголок!

В цеху оказалось не так уж темно, скорее сумрачно, дневной свет с трудом, но просачивался в помещение через грязные от пыли и копоти, просторные окна, батареи пыхали жаром, словом, жить было можно, и мы с Костей уселись на широкую скамью возле пресса и закурили.

— После дури простая сигарета не в кайф, — сказал Костя, затягиваясь «Примой». — Может сбегать за самогонкой? В котельной один хмырь её гонит, я как-то брал, так ништяк — горит, как порох, синим пламенем. Хотя, стой! Это не Настя там ручкой помахивает?

Костя подхватился со скамьи и в два прыжка преодолел бетонный жёлоб с рельсами для электролафетов, о чём-то пошептался с Настей и пошёл в сторону раздевалок и душевых вслед за своей зазнобой. Она была из местных и знала на заводе все ходы и выходы. Костю эта щедрая во всех отношениях барышня привечала, подкармливала и подпаивала, правда, не до

пьяна, но так, чтобы утешно было покачаться, закрывшись в душевой кабинке, на куче деревянных решёток.

Я не завидовал Костиным победам на амурном фронте, и меня всегда удивляло, что бабы так к нему и льнут, хотя он был далеко не красавец: сутул, носат, косноязычен. Но наших Офелий формовки это от него не отталкивало и, кажется, уже не с одной он проводил собеседования в раздевалке, когда была ночная смена. Полутьма в цехе, видимо, внушила ему и Насте, что на дворе ночь, поэтому-то они и уединились от трудового коллектива так безалаберно и неосторожно.

Конечно, я никогда не утверждал, что меня не любят девушки, хотя порой и бываю склонен к самоговору. И у меня на формовке что-то такое брезжило, вроде попыток наладить контакт со стороны весьма любопытной особы, которая не упускала случая вступить со мной в разговор при каждом подходящем для этого случае. Она работала лафетчицей, отвозила вагонетки с сырым кирпичом от пресса к сушильным камерам, и попала на эту работу не по решению суда, как я, а была направлена от колхоза, где работала учётчицей. Колхозам лимиты на кирпич давали скупно, а завод, нуждаясь в рабочей силе, расплачивался за неё своей продукцией — прокалёнными до металлического звона красными кирпичами. В этом, как я догадался, и заключался один из основных экономических законов социализма — «ты — мне, я — тебе».

Лафетчица Клава вызывала у меня интерес не походкой, не другими женскими достоинствами, которые у неё, бесспорно, имелись, и в изрядном объёме, а необычно упругим, почти твёрдым, телом. Таких женщин я ещё не встречал, хотя как скульптору мне доводилось общаться с натурщицами, среди них были штангистки, но даже у них тело было пожиже, чем у неё.

Мои робкие и неуклюжие поползновения к интиму она отвергла с обезоруживающим простодушием:

— Разве можно этим заниматься без свадьбы?

Это заявление установило между нами дистанцию, которую я не пытался преодолеть, а сама Клава время от времени начинала

вести со мной занимательные беседы, когда выпадала для этого возможность, и нам никто не мешал. Вот и сегодня она внезапно соткалась из пыльного столба света, падающего из окна, и присела рядом со мной на скамью так близко, что я ощутил своими костями её тугое, как из литой резины, упругое бедро.

— Ну и что ты, Ваня, надумал? — после некоторого молчания сказала Клава, стрельнув в мою сторону острыми глазками. — Я женщина честная, обману с моей стороны для тебя не будет.

Вопрос не был для меня неожиданным: время от времени она заговаривала со мной на предмет совместной жизни, но я относился к такой перспективе довольно-таки вяло.

— Это ты о чём? — прикинулся я непонимающим.

— Да всё о том же, — проворковала Клава. — Через несколько дней я уезжаю в свою Арбузовку. А у меня там рубленый дом с подворьем, корова, бычок, свинья, вот, опоросилась, гуси, куры...

— Кто же сейчас за всем этим приглядывает? Муж?..

— Тоже мне скажешь, муж! — шевельнулась всем телом Клава. — Муж объелся груш! Как сходил в армию, так и захотел городской жизни. Убежал и милиция уже семь лет догнать не может, чтобы алименты с него стянуть... Родители за всем приглядывают. И за Верочкой. Она тебе, Ваня, понравится, скромная девочка и работающая, не хвалюсь, но вся в меня.

— Рано об этом, Клава, не только говорить, но и задумываться, — попытался я увильнуть от решения, которое она от меня требовала. — Мне ещё полтора года здесь мантулить до окончания срока.

— Да я вашему майору ничего не пожалею, чтобы он тебя освободил! — оживилась Клава. — Бычка отдам, а в нём уже полтора центнера чистого мяса. Ужели он супротив этого устоит? У нас в колхозе богатая звероферма, могу чернобуркой рассчитаться. А ты, Ваня, ещё имей в виду, что у меня в гараже тебя новая «Ока» дожидается с жигулёвским мотором.

— Ты на ней ездешь?

— А я и не умею.

— Зачем же тогда купила? Чтобы ржавела в сарае?

— У меня не заржавеет, — усмехнулась Клава. — Замуж мне надо, а ты подумай, Ваня, может я и есть твоё счастье. — И она легонечко притиснулась ко мне своим плотным, как мрамор, телом. — За мной у тебя будет надёжная жизнь.

Я с удивлением обнаружил, что от смущения начинаю краснеть и улыбаться, но, к счастью, Клава этого не заметила, и, потупясь, теребила в руках кружевной платочек, что меня умилило и заставило взглянуть на молодую женщину даже без тени насмешки за её наивное предложение. В её словах не было ничего наигранного и пошлого. Она объявила свою выстраданную и нагую правду, что ей нужен мужик, самец и пахарь, который бы без отдыха работал в колхозе и на своём подворье, не забывая обильно орошать на коровьем реву и её плодородную ниву, чтобы семья богатела не только скотом и птицей, но и похожими на хозяев мальчишками и девчонками. И в этом откровенном желании не было ничего зазорного, Клава хотела получить только то, что требовала её могучая природа богатырши — родительницы.

В её словах не было даже намёка на чувства, и мне это тоже понравилось. В наше время люди слишком много говорят о любви. Откройте любую книгу — и почти каждая про неё: искреннюю, нежную, ревнивую, терпеливую, меркантильную и ещё, бог знает, какую, но всё про неё, про любовь. То же самое в кино, живописи, скульптуре. Человеку за последние сто лет цивилизации вдолбили, что без любви в семейной жизни и шагу ступить нельзя, договорились даже до того, что миром правит любовь, а на самом деле никто эту выдуманную любовь и в глаза не видел. Существует раздутый до невероятных размеров миф о любви, и он ничем не лучше других человеческих мифов о рае земном и небесном, о всеилии человеческого разума, о демократических ценностях и несть числа людским выдумкам, якобы возвеличивающим человека, но на самом деле не

позволяющим ему трезво взглянуть на самого себя и прислушаться к своей совести.

С Клавой, конечно, можно было начать вести здоровую жизнь, но на это я никогда бы не решился, в первую очередь потому, что ощущал, и очень болезненно, свою внутреннюю нечистоту, от которой едва только начал избавляться, и ещё не знал, сколько времени займёт моё очищение, удастся ли мне его совершить. К тому же, я был не один. Не проходило и дня, чтобы мне не пришла на ум моя дочурка, а в последние недели стала вспоминаться Валя, и я стал ощущать, что мне во время этих мысленных встреч становится не по себе, и душу начинает теребить раскаянье за всё дурное, что по моей вине между нами случилось.

— Что ж, Ваня, я сказала тебе всё, что думаю. — Клава поднялась со скамьи и медленно, будто надеясь, что её остановлю, пошла мимо пресса. Но я её не окликнул.

Света, то есть электричества, всё не было, но явился Федорчук, какой-то возбуждённый и взъерошенный.

— Дай сигарету, — сказал он, усаживаясь со мной рядом. Закурив, мрачно вымолвил:

— Совсем народ оборзел!

— Откуда такое неверие в людей? — вяло поинтересовался я.

— Оттуда! — Степан указал в сторону раздевалки. — У меня в шкафчике аккумулятор стоит, хотел осветить свою чебутырку, чтобы не сидеть в темноте, но дверь в раздевалку заперта. И уже который раз я натываюсь на такое безобразие.

— Наверно, кто-нибудь переодевается, — усмехнувшись, предположил я.

— Как же, переодевается! — скривился Степан. — Скорее переодеваются и так далее. Да брось ты строить невинные глазки, будто не знаешь, кто и кого там ощупывает! Косыка с Настей! Вот! А мне аккумулятор надо, проводка в уютге не вижу.

— А ты наощупь, — хохотнул я.

— Это Костя может наощупь, а я должен всё видеть.

Внезапно вспыхнули все лампочки цеха, и вслед за этим чудом явился Кильдымыч с геройским видом победителя:

— Электрики объявили полдня простоя всему заводу, а там работы было — плюнуть и растереть. Что, вальцовщика опять нет? Костя, ну-ка слетай наверх, запусти вальцы. И приглядывай за ними, я тебе в конце месяца отдельный наряд за них закрою.

Костя, едва успевший застёгнуть последнюю пуговицу на ширинке, птицей взлетел по стальной лестнице, взвыли электромоторы, и началось постукивание валков, измельчавших глину, которая посыпалась в окутанное густым паром отвёрстое брюхо пресса на лопасти смесительного вала.

Ко мне подошёл Кильдымыч.

— Надо бы, Ваня, нагнать отставание. Смогём?

— Опять свет не вырубят?

— Быть такого не может! — твёрдо заявил Кильдымыч, но этот день случился из неудачных, свет то гас, то вспыхивал, и к концу смены мы едва нарубили по десять тысяч кирпича на каждый пресс, с тем и ушли в душ, а оттуда поспешили к автобусу, и обрадовались его прогретому водителем нутру, как тёплой постели.

Бывалин ещё не пришёл из обувной мастерской, и я, потыкавшись из угла в угол, взял книжку и пошёл в библиотеку посмотреть свежие газеты и выбрать какую-нибудь нескучную повесть. По пути мне удалось стрельнуть курева с фильтром у Троцкого, который был добрым малым, и на мои вчерашние приколы не обиделся.

— Возьми штуки три, нет, бери пять, — расщедрился он. — Меня папа как раз вовремя сигаретами обеспечил. Возле нашего лабаза сейчас проходил, там давка. Дают по пачке «Примы» в одни руки, из последнего ящика.

— Может просто не завезли?

— В городе ещё неделю назад курево исчезло, — сказал Троцкий. — И знаешь почему?

— Нет.

— Власть пробует народ на терпение. Объявили борьбу с пьянством, водки в магазинах не найти, теперь вот и курево исчезло. Народ, думаю, будет помалкивать, а власти ещё что-нибудь удумают, мало не покажется.

— Не заражайте меня своим троцкизмом, Лев Давидович, — не сдержавшись, пошутил я.

Моя глупость его задела, он круто повернулся и посеменил в казарму.

«Опять дурака сваял, — укорил я себя. — Теперь он меня точно больше не угостит сигаретой».

Библиотекарь уже знал, что курево исчезло, и попросил закурить. Я помялся и, расщедрившись, протянул ему сигарету с фильтром.

— Да ты кучеряво живёшь! — вскрикнул он. — Или у тебя бабок не считано?

— Не жалуюсь.

— Тогда всё здесь твоё, — расщедрился библиотекарь. — Разрешаю, хотя это запрещено, обшарить все полки.

— Я пыли на работе наглotalся. А ты как зачалился в этой гавани?

Слово за слово, и мы разговорились. За плечами у Сергея Васильевича был филфак пединститута, отработал три года учителем в глубинке, потом зацепился в городе журналистом областной молодёжки. В газете набаловался пить, а, впившись, пустился во все тяжкие. Один привод в вытрезвитель, другой — и понеслась душа в рай, а ноги в милицию. С работы уволили, в школу, естественно, не взяли. Жена за чемодан, он, как говорится, за верёвку, только в его случае это была бутылка. Лечился, не раз ездил в Челябинск, в Феодосию к антиалкогольным светилам, но после лечения опять срывался и пил, пока не попал в нашу отрезвительную богадельню.

— Повезло тебе, — сказал я. — Работа блатная, читай книжки, и все тут.

— Да, — согласился он, — местечко тёплое. Меня выручило знакомство с майором Жернаковым. Я приезжал сюда лет

десять назад, он тогда начальником отряда был, написал про него в газете, даже премию областного УВД получил за очерк, тридцать рублей. Он меня на это место по знакомству и определил.

За время нашей короткой беседы мне удалось разглядеть Сергея Васильевича. Я шарахался от своего отражения в зеркале, но он выглядел — краше в гроб кладут: лицо какое-то матерчатое, обвисшее и только в глазах вспыхивали огоньки ещё не погасшего разума.

Моё внимание к себе он воспринял без обиды:

— Печень вот-вот отомрёт. Скоро сыграю в ящик. Не хочешь поинтересоваться, а не страшно ли мне? Я не герой, и мне страшно, но преодолеть страх мне помогает другое чувство — стыд. Мне так стыдно за свою жизнь, что я не нахожу ни одного довода в своё оправдание. В первую очередь перед мамой: она подарила мне жизнь, а я её сжёг как спичку.

— А как семья? — прервал я его затянувшееся молчание. — Или у тебя никого не осталось?

— По вопросу вижу, что у тебя есть те, кто тебе дороги, — сказал Сергей Васильевич. — По сравнению со мной ты — счастливеец. Но хватит о грустном. Займись лучше книгами, если не разучился читать.

К моему удивлению, библиотека оказалась не бедной. Первые два стеллажа были с ходовой, пользующейся спросом литературой — детективы, фантастика, исторические романы и повести. Эти книжки выглядели неприглядно: грязные, засаленные обложки, оторванные и кое-как приклеенные корешки, выпадающие страницы. Но за ними на двух десятках стеллажей стояли явно нечитанные тома отечественных классиков, известных зарубежных писателей, учебная литература, энциклопедии и справочники. Я взял с полки том Карла Маркса и обернулся к библиотекарю.

— Здесь, кажется, не ступала нога человека. Или сюда посторонним вход воспрещён?

— Конечно, мыть за всеми полами не в радость, но настоящим читателям запрета нет.

Я поставил «Капитал» на место, и прошёлся вдоль стеллажей, мельком перечитывая имена авторов, пока не приблизился к полке с книгами Романа Роллана, пробежал взглядом по корешкам и обрадовано вздрогнул: в этом убогом месте имелись «Героические жизни», очерки о трёх великих людях — Бетховене, Микеланджело и Толстом, изданные под одной обложкой ещё в 1932 году.

Точно такой же экземпляр, правда, затрёпанный, имелся и у Стекольниковой, в его мастерской, когда я с ним познакомился и сошёлся поближе. Тогда ему было около пятидесяти, выглядел он моложе своих лет, не чурался застолий, и познакомиться с ним мне не стоило больших усилий. Меня с ним свёл, уже не помню какой, приятель, на следующий день я заявился к скульптору без приглашения, но с бутылкой. Мы познакомились поближе, и скоро встречи с Григорием Аверьяновичем стали для меня необходимыми. Наконец, настал тот день, когда я рискнул показать ему свои рисунки и признался, что хочу научиться ремеслу скульптора.

— Может, выберешь, что полегче? — ухмыльнулся Стекольников. — Иди в скульптурный цех форматорм. Там как раз люди нужны.

На следующий день я покинул аккумуляторную и стал работать в производственной мастерской Художественного фонда. Конечно, это событие было должным образом спрыснуто, и после того, как мои новые коллеги расползлись, кто домой, кто в вытрезвитель, я повторил свою просьбу Стекольникову.

— Тебе сколько лет? — сказал он — Вот-вот — за тридцать. Я в это время уже среднее художественное училище закончил и два курса академии. Но, я вижу, ты настырный. Ладно! Вот тебе книжка, может она тебе мозги провентилирует. Возьми, но не зачитывай. Эта книга тебе в назидание, прочти её и прикинь, стоит ли тебе заниматься ваянием.

Конечно, я прочитал очерк Ролана о великом скульпторе Возрождения, даже не один раз прочитал, а результат получился совсем не тот, на который рассчитывал Стекольников: жизнь Микеланджело обожгла мою душу желанием сделать хотя бы несколько самостоятельных шагов по пути, который прошёл гений к божественной красоте своих творений. Это произвело впечатление на Григория Аверьяновича, и он стал давать мне уроки, сначала как бы нехотя, а потом загорелся и порой даже начал покрикивать.

— Не рисуй по глине, не рисуй! — вспыхивал он, когда я торопился добиться сходства с натурой. — Ты учишься сразу брать объём, а детали потом.

Дошла очередь и до деталей.

— Ну, и где у тебя уши? — спросил он, подойдя к только что законченному автопортрету. — Давай смерим линейкой. Видишь, на целых пять сантиметров сдвинул к носу.

Иногда на Стекольникову находила апатия, в нём угасала привычная мне весёлость, в словах звучали озлобленные нотки изверившегося человека.

— Не гордись, не гордись, человек! — брюзжал он. — Вот ты достал меня. На областной выставке твои работы рядом с моими. А что дальше? Что?.. Вот в чём вопрос? Пальчики отросли, шевелятся. Да только обрубят их, погоди, обрубят. Наших мэтров пугает даже намёк на появление чего-либо такого, что не умещается в их представлении о соцреализме. А ты им своего «ежа» подсунул. Может на этом и закончится твоё хождение в искусство?

— 16 —

Скульптурный цех и мастерская Стекольниковы были моим последним прибежищем перед тем, как я окончательно слетел с катушек и загремел на принудительное лечение. Они давали мне крышу над головой и, несмотря на мои загулы, довольно

приличный заработок. Директор художественного фонда, полковник в отставке, смотрел на мою нетрезвость снисходительно, его даже устраивало, что в ночное время кто-то присматривает за собственностью Союза художников, не требуя себе за это зарплату сторожа.

В столь неопределённом подвешенном состоянии я мог бы прожить очень долго, поскольку в моём существовании выработался определённый ритм, который определялся умеренным, как мне казалось, виноупотреблением. По утрам я нуждался в срочной опохмелке, для этого у меня всегда имелась оставленная с вечера хотя бы половина бутылки портвейна. Я без отвращения и с большим воодушевлением испивал стакан вина, дожидаясь оживления головы, рук и ног, затем ополаскивал под краном измятое и припухшее лицо, иногда брился, заваривал крепкий чай и завтракал тем, что оставалось из закуски от вчерашней попойки.

Вскоре в огромные двери скульптурного цеха начинал кто-нибудь тарабанить: пора было начинать приём посетителей, затаренных водярой или бормотухой. Залётных не было, являлась одна и та же испытанная в винопитии публика из бывших порядочных граждан, но теперь навсегда эмигрировавших в безделье и пьянство изгоев, которых я мысленно называл эксами — эксспортсмены, эксжурналисты, эксвоенные, эксменты, эксуголовники, эксначальники, даже областного уровня, словом, все они, и я тоже, давно уже стали, кое-кто по обстоятельствам, но, в основном, по собственной слабости к горячительным напиткам, эксчеловеками.

Конечно, тогда я так не думал, а широко открывал дверь и, здороваясь с гостями, ощупывал их взглядом, чтобы понять какими они явились — пустыми или затаренными. По приносу и был гостям приём, я терпеть не мог тех, кто, даже имея деньги в кармане, норовил сесть на хвост, остограмниться за чужой счёт, а потом нагнать до того, что начинать хвататься за бутылку. Такое поведение не поощрялось, а наказывалось. Поэтому иногда мирный обмен мнениями прекращался, и оппоненты

вступали в рукопашную, используя всё, что попадётся — чашки, молотки, лопаты, табуретки и скамейки, обломки досок и куски арматуры. Однако, до большого кровопролития дело не доходило, слабейший, как правило, убегал, чтобы через час явиться с полной бутылкой, дабы распить со своим обидчиком мировую.

Столь содержательная и насыщенная жизнь продолжалась весь день, в перерывах, когда на столе не было вина, я с коллегами по ремеслу занимался работой. Мы снимали с глиняных изваяний гипсовые формы, набивали их бетоном, чеканили поверхности скульптур, и прятали свои кувшинные рыла пропойц, когда на пороге цеха появлялись члены художественного совета и заказчики, перед которыми скульпторы и монументалисты начинали исполнять презабавную мизансцену, состоящую из угодливых восклицаний, полупоклонов и подобострастно-гадливых лакейских улыбок.

Наблюдая за лицедейством, мы перемигивались и потирали ладони от предчувствия богатого застолья: скульпторы и монументалисты не жмотничали и накрывали для нас богатый стол, на котором в качестве закуси не редкостью были докторская колбаса, лук и редиска.

Занятый столь увлекательной жизнью, я забывал про свой скульптурный станок, который стоял в мастерской Стекольниковой, и мой учитель напоминал мне о нём язвительным предложением продать его Кеше Огородникову, такому же бедолаге и скульптору-самоучке, как и я, с той лишь разницей, что меня Стекольников пока привечал, а на него порывивал, когда тот только ещё всовывал свою седую кудлатую башку в дверь его мастерской.

Укоризненные призывы Григория Аверьяныча раздували слабый творческий огонёк, который начинал попыхивать в моей душе, я завязывал с пьянкой, переселялся в стекольниковскую мастерскую и начинал свою настоящую жизнь, но всегда находился случай, чтобы её прервать, и снова пуститься во все

тяжкие. В конце концов, это и привело меня на зону изгоев, где я только-только начинал понимать, кто я такой на самом деле, заглянув в свою закопчённую пьяными неистовствами едва трепыхавшуюся душонку.

Как-то утром, когда я ничего не смог отыскать на опохмелку, пьяный бес поманил меня в Молочный переулок, где работала банщицей моя соседка по квартире Анна Прокофьевна, у которой я надеялся разжиться трёхрублевой бумаженцией на бормотуху. Я не видел её уже два месяца, с тех пор как оставил квартиру и скрылся, чтобы не мешать Зинке проводить столь ей любезные интеллектуальные игрища в компании с потным и жирным Беркутовым и другими рерихнутыми особями нашего города.

С утра в бане было пусто, но в ларьке кипела бурная околопивная жизнь. От вида многих счастливых людей, посасывающих из кружек пенное пойло, у меня пересохло во рту, но моя чаемая спасительница явилась со столь буйным всплеском эмоций, что я взмолился:

— Анна Прокофьевна, сначала пиво, затем новости, сухота во рту, как в Каракумах.

— Что, налопался винища и болеешь? — она больно ткнула меня костистым кулачком в лоб. — Сейчас отпою!

Я залпом выпил кружку пива, и скоро был готов к общению с Анной Прокофьевной.

— Эх, Ваня! Дурья твоя голова! Где ты замотался, дочку забросил, жену чужим людям отдал? Нет у тебя ни кола, ни двора, таскаешься незнамо где, а к твоей Зинке один такой из себя сякой подкатился. Может и пропойца, похлеще тебя будет, но пока овцой прикидывается, а сам на хряка похож, да ты его знаешь! Сумки за ней носит, авоськи, и всё воркует, а вы не устали Зиночка, вы нуждаетесь в отдыхе, про слабое существо ей арапа заправляет. Это Зинка слабая? Разъела ряшку — со спины щёки видны, в дверь боком норовит протиснуться, не сегодня-завтра в них застрянет, косяки придётся вышибать. Да ты пей, Ваня, пиво, надо, ещё возьму...

Я опрокинул в себя вторую кружку пива, и Анна Прокофьевна выплеснула передо мной ещё кое-что про мою супругу.

— А намердись он припёрся с цветами и шампанским. Пиджак на нём кожаный, скрипит, как сапоги, штаны голубые, галстук розовый, на мизинце кольцо с камнем, а на макушке беретик присобачен. При параде, значит, и цветы, и бородка, и усики. Изогнулся и пальцем в дверь: тук-тук! Зинка точно его ждала, открывает, сама в белом халатике на голое тело, коротусеньком и удивление скорчила: не могу, мол, у меня не прибрано, не время... И кому заливает? Ты знаешь, у меня четверо пацанов, и все от разных мужиков, я-то знаю, когда можно, а когда нельзя...

— Хрен с ней с Зинкой! — сказал я, допивая пиво. — Пусть распахивает свою ловушку, перед кем хочет. А как дочка, здорова?

— Седни со мной здоровалась, — бросив на меня жалостливый взгляд, сказала соседка. — Врать не буду, весёлой давно не видела, да и какое веселье, когда на отцовском месте этот боров развалился! А два дня назад, когда мимо их двери проходила, так слышала, как она плачет, а Зинка орёт на неё срамными словами. Вот так мы и живём: то плачем, то пляшем...

— Спасибо, Анна Прокофьевна, я пойду.

— Чего заторопился! — всплеснула она руками. — Хочешь, я ещё кружечку куплю. Чай, тебе ещё не полегчало?

— Не надо, а вот рублик займите. Я верну...

— Можно и без отдачи; береги себя, Ваня!

Я взял рубль у соседки безо всякой мысли, на что его потратить, но выйдя из переулка на улицу, понял, что его как раз хватит, чтобы доехать до своей бывшей квартиры на такси. Однако я был расчётливым пьяницей и скоро сообразил, что к Зинке я могу доехать на трамвае и, поговорив с ней, куплю две кружки пива, а это был не пустяк.

Старый трамвай, погромыхая на стыках рельсов, неторопливо тащился по городу, а я с всё нарастающим душевным напряжением ощущал, как мной овладевает не имеющее видимой причины болезненное беспокойство, предчувствие душевного срыва, какие со мной уже бывали, когда я почти терял рассудок и под напором закипавшей в душе мути совершал непредсказуемые поступки: один раз сорвал в поезде стоп-кран, а однажды с такой яростью налетел на прохожего, который бросил Зинке двусмысленный комплимент, что чуть не забил его до смерти. Я понимал всю опасность своего состояния, но остановиться уже не мог и когда трамвай подошёл к знакомой остановке, я выпрыгнул из него и почувствовал, как меня покидают остатки похмелья, ноги стали сильными и упругими, дыханье — глубоким, и во всём теле я ощутил лёгкое, похожее на озноб, покалывание от избытка переполнявшей меня злости.

Сидевшие во дворе доминошники, увидев меня, переглянулись и зашептались. В два прыжка я достиг их стола и с размаху опустил кулак на фанерную столешницу, которая от удара раскололась.

— Козлы!

Вслед послышались какие-то жалобные вопли, у одного старика случился сердечный приступ, но я уже был в подъезде пятиэтажки, мигом взбежал на свой этаж и замер возле двери, прислушиваясь к тому, как в квартире работает телевизор, и капитан Жеглов внушает всей стране, что вор должен сидеть в тюрьме, и все законопослушные граждане верят, что так оно когда-нибудь и будет, потому что от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее, Советская власть крепка, а милиция беспорочна.

Звонок в дверь у Зинки стал другим, не дребезжащий, как будильник, а мелодичный и музыкальный. На двери появилась цепочка, и моя почти не жена уставилась на меня и спросила:

— Ты зачем явился?

— Разве ты меня выписала? Я уже здесь не живу?

— Да нет! — мотнула кудряшками Зинка. — Заходи.

Кошка, обычно бросавшаяся к моим ногам, чтобы о них потереться и замусолить, смотрела на меня вытаращенными глазами и нервно потряхивала кончиком хвоста.

— Меня явно здесь не ждут, — меланхолично сказал я, снимая туфли. — Зина, где мои тапочки.

— Не знаю! — она выглянула из кухни. — Зачем разулся? Так не мог сказать, что тебе надо?

— Вообще-то я, может быть, и не к тебе пришёл, а к дочке.

— Так я и поверила! — фыркнула Зинка. — Подарок, наверно, за дверью оставил. Не украдут?

Она была права, как же так получилось, что я явился без гостинца, хотя понятно как, всё водка... Я запустил руки в карман — пусто, ничего кроме оставшейся от рубля мелочи, полез в задний карман джинсов и наткнулся пальцами на металлический кружляк. Это было моим спасением — пятак из красной меди времён Екатерины Второй. Я его выиграл в шахматы у своего постоянного собутыльника инженера-дорожника Юрия Ивановича, который частенько заруливал к нам освежиться сорокоградусным напитком.

— Оля, где ты? — сказал я. — Возьми подарок.

Растерянно улыбаясь, дочка подошла ко мне, я положил в её ладонь монету, затем погладил по голове.

— Как живёшь? Что в школе?

— Нормально, — прошептала она, и в её глазах блеснули слезы.

— Ну и что за драгоценность ты подарил своему ребёнку? — спросила Зинка и, увидев медный пятак, скривилась. — На помойке нашёл? Выбрось, Оленька, эту железяку, она, точно, заразная.

— Это дорогая коллекционная монета, — едва сдерживаясь, сказал я. — Приобретена у уважаемого человека.

— Знаю я твоих уважаемых собутыльников, — презрительно процедила сквозь зубы Зинка. — Все они — пьянь, рвань и голь, а ты ещё хуже.

Неожиданно из зала раздался сытый басок:

— О какой нумизматической редкости вы спорите? Любопытно бы взглянуть.

Меня зазнобило. Это был Беркутов, я шагнул в его сторону, Зинка схватила меня за руку и прошипела:

— Только без пошлых сцен!

Я заглянул в зал и попятился, уязвлённый до глубины души увиденным: на моём кресле, в котором я любил отдыхать после работы, вольготно развалился, поблескивая лысиной, Беркутов, и на его прыщавых ступнях были мои кожаные, без задников, домашние тапочки.

Зинка упёрлась и оттащила меня от двери, я вырвался и, сжав кулаки, шагнул в зал. Теперь, уже точно бывшая, жена повисла у меня на плечах.

— Не смей его трогать! — завизжала она.

— В чём проблема? — повернулся в мою сторону Беркутов. — Я не понимаю, Зинаида, в чём дело?

— Максимильтян, не вмешивайся! — повелительно крикнула Зинка. — А тебе, алкаш, что от меня понадобилось? Зачем припёрся? Если за остатками своих вещей, так они в кладовке. Бери и уматывай!

Она зарыдала.

— Зина, нам нужно поговорить!

— О чём поговорить?.. Ну, хорошо, иди на кухню, я сейчас.

Через несколько минут Зина вернулась, она смыла с лица весь макияж, враз постарела, глаза были сухи и пылали презрением.

— Учти, времени у меня нет, скоро придут гости, а я не хочу, чтобы тебя здесь видели.

— Разве я не человек?

— Был бы им, так не докатился бы до жизни такой. Зачем ты явился?

— Хотел глянуть, как вы живёте с Оленькой...

— Всё увидел?.. А с Максом мы собираемся сойтись.

— Зина, не делай этого.

— Что — не делай? Скажешь: ребёнок, семья... А была она — эта семья? Пил, гулял, надо же, творческая натура! А у меня жизнь одна, и я хочу жить, как все люди!

Она смотрела на меня и разговаривала со мной так, будто я стал для неё навсегда отрезанным ломтем.

— Не вздумай меня упрекать, — неожиданно скрипнув зубами, сказала Зинка. — Думаешь, я не знаю о твоих похождениях? Думаешь, ту белобрысую стерву не знаю с машиноиспытательной станции? Знаю! Знаю! Мало мне пришлось из-за тебя вытерпеть унижений? — её голос неожиданно осел. — Всё! Я подаю на развод!

— А Оленька? — жалко вякнул я, цепляясь за ребенка, как за последний довод сохранить семью.

— Вырастет, — убеждённо сказала, вновь обретя голос, Зинка. — Не одна она растёт без отца. Вырастет!

У неё уже было всё продумано, разложено по полочкам и расставлено по углам. И места в её светлом будущем для меня не было.

— Алиментов не надо. Проживём как-нибудь. Прошу одного — оставь нас в покое. Не приходи и не звони. У тебя есть к кому уходить, к той же белобрысой гадине. Я с тобой намучилась и сыта по горло, пусть теперь она узнает, что ты за изверг.

— Неужели так легко можно взять и перечеркнуть всё хорошее, что у нас было? — сказал я, уже точно зная, что услышу в ответ.

— Можно и нужно. Что было, то сплыло. В наших отношениях ты переступил черту, вернуться к прежним отношениям уже невозможно. А теперь уходи, вот-вот явятся гости.

— Я уйду, Зина, — сказал я, надевая свои растоптанные обувки. — Но позволь мне последний поцелуй, прощальный знак любви сорвать с твоих жемчужных губ?

— Хам, убудок! — прошипела Зинка. — Убирайся!

— А вот и мой заместитель! — весело сказал я, протягивая руку высунувшемуся из зала Беркутову. — Давай поручкаемся, мой дорогой молочный брат! Желаю тебе здравствовать!

Беркутов шагнул ко мне и протянул руку, но в ответ получил самую здоровенную оплеуху, на которую я был только способен.

— Это тебе за амортизацию моих домашних тапочек!

Зинка наконец-то обрела голос и завизжала так яростно, что у меня заложило уши. Я наощупь открыл дверной замок и скатился с лестницы. Под Зинкиными окнами стояли соседи и гадали, что там случилось. Они брызнули в разные стороны, когда я промчался мимо их на улицу, где тормознул такси и ехал, пока счётчик не выстукал девяносто семь копеек, рассчитался с водителем и остаток пути до Валиного дома прошёл пешком.

На площадке первого этажа из почтового ящика с номером её квартиры топорщились газеты, я поднялся на второй этаж, позвонил раз, другой, третий...

— А Валя уехала в отпуск к своей сестре, — сказала соседка. — С неделю назад. А вы кто ей будете?

Не ответив на этот сложный вопрос, я извинился и вышел на улицу. До работы я доехал «зайцем» и на требование кондуктора купить трамвайный билет, терпеливо отмолчался.

Возле входа в производственный цех стоял «уазик». Я прошёл мимо него и открыл дверь в мастерскую Стекольников. Григорий Аверьянович окинул меня скорбным взглядом и вымолвил:

— Ну что, достукался?

Я не успел сообразить, что мой учитель имеет в виду, как раздался другой голос, ленивый и тусклый.

— Стало быть, это и есть искомый Конев?

— Он самый, — печально сказал Стекольников. — Что он натворил?

— Обычное дело, — сказал капитан. — На моём участке в квартире гражданки Коневой, с которой подозреваемый состоит

в законном браке, избил некоего гражданина Беркутова. На этот счёт от потерпевшего имеется заявление, а сам он отправлен на медэкспертизу. Но это ещё не всё. Имеется заявление от пенсионера Зыкова, что Конев ударом кулака сломал стол, за которым сидели игроки в домино, а сам Зыков испытал сердечный приступ, что подтверждается вызовом скорой помощи. И последнее, самое важное. Имеется недельной давности заявление от гражданки Коневой, что её муж систематически пьянствует, дебоширит, создает невыносимые условия для их совместного проживания. Эти факты подтверждаются свидетельскими показаниями соседей и уведомлениями из медвытрезвителя, который Конев в этом году посетил уже трижды.

— Как у вас всё ловко получается! — покачал головой Стекольников.

— Стараемся, – хмыкнул капитан. – А теперь, гражданин Конев, прошу предъявить свой паспорт.

Я подошёл к полке, где хранил свои эскизы и наброски, сделанные в карандаше, вынул из-под стопки листов свой серпастый и молоткастый и протянул менту. Он его полистал и положил в папочку с моим делом. Изъятие паспорта означало, что клетка за мной захлопнулась, но я этого не понимал и ждал, что произойдёт дальше.

— Прошу в машину, — капитан был безукоризненно вежлив. — С собой ничего не брать, через пару часов вы вернётесь.

— Куда вы его забираете?

— На экспертизу к наркологу. Но уже и козе понятно, что Конев хронический алкоголик. Но суду это на пальцах не объяснишь, ему надо официальное заключение.

— А дальше?

— Наверняка, срок в ЛТП, один или два года, но в последнее время всем дают по верхней планке. Не волнуйтесь, товарищ Стекольников, суд не сегодня, а через пару дней, так что вы со своим товарищем успеете попрощаться.

К концу января ударили крещенские морозы, наш барак, сработанный в полтора кирпича первыми поселенцами алкашной зоны, промёрз насквозь, во многих местах на осклизлых стенах образовалась налесь, и хотя к батареям нельзя было прикоснуться, чтобы не обжечься, в помещении было холодно и простудно. Многие койки стояли пустыми, привычные косить по больничке лагерные сидельцы все враз захворали и перебрались в её более тёплое здание, презрев то, что капитан Попов ввёл в свою медицинскую практику процедуру по прохождению больными обязательного количества высокотемпературных часов, когда для создания стойкого отвращения к алкоголю у хроника уколom провоцировали температуру порядка сорока градусов. И теперь главврач по несколько раз в день с улыбкой заходил в палату и, потирая ладони, приглашал желающих соединить приятное с полезным — погреться укольчиком и добавить несколько высокотемпературных часов к тому количеству, которое необходимо было набрать по врачебному назначению.

Я спасался от холода тем, что спал, не раздеваясь, в обнимку с бутылкой горячей воды. Бывалин время от времени грелся горячим чаем, не забывая и меня, а я наделял его самосадам, потому что сигареты в лабазе как закончились, так и не появились. Табачным крошечком снабдил меня Кильдымыч, когда проведаль, что у его лучшего откатчика нет курева, но сделал он это в интересах производства, чтобы обеспечить мне комфортные условия для работы. Я нещадно дымил самосадам, даже угощал жаждущих поскорее дать дуба от никотина. Наша смена была в передовиках по выполнению месячного плана, и над скамьей возле пресса, прибитый к стене шевелился под дуновением сквозняков флажок победителя социалистического соревнования.

Пользуясь ослаблением из-за холодов правил внутреннего распорядка, я всё время, от смены до смены, пролеживал на

койке, много спал, слегка тосковал, иногда и мечтал, но не о чём-то великом и невозможном, а о самом обыденном, например, о горячей картошке со свиными шкварками и жареным луком. Чем не мечта для изгоя, осуждённого трескаться изо дня в день минтай с кирзовой кашей и путассу с лапшой? Я уже смирился с тем, что мне придётся от звонка до звонка откатывать кирпичи от пресса, но в самый лютый мороз вдруг неожиданно на меня глянуло везение в образе начальника отряда Зубова.

— Конев, где у тебя голова, а где ноги? Замотался в одеяло, надышал да набздел, тем и греешься?

Я выпростал голову и очумело глянул на лейтенанта.

— Давай снаряжайся по-скорому и пойдём в штаб.

Я быстренько натянул ватные штаны, забил ноги в сапоги, обрядился в ватную куртку, шапку и предстал перед Зубовым, который подхватил из железного ящика какую-то коричневую папочку и велел мне следовать за ним, не отставая. Это было дельное приказание, потому что он шёл очень быстро, и мне приходилось за ним катиться на скользких подмётках сапог, как на коньках. Я уже догадался, что опять понадобился замполиту, и заскучал: из недавнего общения с ним я вынес не лучшие впечатления. За выборы я не получил от него даже благодарности, Шишков был из породы гнилых начальников, что мягко стелют — с елейной тонкогубой улыбочкой на гладко выбритом лице, приторно-вежливый и внимательный, а посмотришь им в глаза и будто в полынью угодишь с разбега. Принудбольные от капитана шарахались: его воспитательный базар обычно заканчивался преданием нарушителей порядка суду или карцером. И хотя все наказания объявлялись от имени майора Жернакова, мало кто сомневался, что это дело рук замполита.

— Здравствуйте, товарищ Конев! — сказал Шишков, заглядывая в сопутствующее мне повсюду дело, которое положил перед ним начальник отряда. — Присаживайтесь

поближе. А вы, лейтенант, оказывается, утаиваете от нас таланты. Нехорошо, нехорошо...

Зубов усмехнулся и промолчал. Замполит начинал со мной заигрывать, и это понимал даже я.

— Ну, как вы себя у нас чувствуете? — обратился ко мне Шишков. — Как идёт работа?

Вежливость замполита меня удивила, и я насторожился.

— Нормально. Работаю, как и все, на заводе, — настороженно ответил я, не представляя, чего мне ждать от такого начала.

— Наша областная знаменитость — скульптор Стекольников — обратился в областное управление с просьбой предоставить вам работу по специальности. Вы его знаете?

— Это мой учитель, — облегчённо сказал я.

— Даже так! — удовлетворённо воскликнул Шишков. — К счастью для вас, наши желания совпадают с просьбой Стекольниковца. — Он снял со шкафа рулон ватмана и раскатал его на столе. — У нас есть проект благоустройства учреждения. Разработал его профессионал, был тут у нас один архитектор. Министерством внутренних дел объявлен конкурс на звание лучшего лечебно-трудового профилактория страны. И мы будем в нём участвовать.

Насколько я мог судить, разработка была выполнена грамотно, от КПП архитектор спроектировал аллею, которая заканчивалась фонтаном со схематически обозначенной скульптурой.

— Улавливаете? — спросил Шишков. — Вот скульптура, её надо выполнить. Подумайте, что это будет и что для этого требуется?

— В каком материале будем делать? Бронза? Гранит? Мрамор?

— Не потянем, — вздохнул замполит. — Денег на это у нас нет. Не положено. Бассейн мраморными плитками выложим, а вот скульптура, словом, думайте сами.

— Тогда и думать нечего, — сказал я. — Бетон с мраморной крошкой.

— Ну, этого добра хоть сколько!

— Мне нужно следующее, — начал перечислять я. — Во-первых, глина, но глина специальная для скульптурных работ, во-вторых, помещение, в-третьих, помощник (я сразу подумал о Бывалине и решил вытащить старика из сапожной мастерской), ещё материал различный: доски, гвозди, проволока...

— И всего-то, — обрадовано сказал замполит. — Зубов, думаю, что всё это не трудно будет организовать?

Начальник отряда дисциплинированно поднялся со стула и подтвердил:

— Сделаем, товарищ капитан!

— Вот и договорились, — радостно подытожил разговор замполит. — Приступайте к делу, не откладывая. Если будут затруднения, разрешаю обратиться прямо ко мне.

— Ты сегодня, в какую смену? — спросил Зубов, когда мы вышли из штаба.

— В третью, — сердце моё трепыхнулось: сейчас всё решится...

— Завтра я на твоё место подберу человека, — сказал лейтенант. — А сегодня предупреди об уходе сменного мастера. Решим и с помещением, и с помощником.

— Значит, Бывалина можно обрадовать?

— Разрешаю, — сказал Зубов. — Зря старика заперли сюда, зря. А ты, Конев, молодец, что о нём вспомнил. Я бы и сам направил его к тебе.

Мороз к ночи усилился, забежав в помещение, я плюхнулся задом на батарею и сунул заледеневшие ладони за ошкур ватных штанов. Кончики пальцев закололо, и я достал из кармана корбочку с самосадом.

— Угостись моим! — ко мне подошёл Костя. — У меня чуть послабже, чем от Кильдымыча, но духовитый.

— Конечно, ведь Настя одеколоном, которым свои прыщи прижигает, его побрызгала.

— Не смешно, — скривился пан-спортсмен. — Тебя зачем к начальству таскали?

— С кирпичиками для меня покончено. Получил другую работу.

— Вот это да! — оживился Костя. — Везёт же людям. И что за должность?

— Скульптор. Буду делать фонтан.

Костя отступил от меня на шаг, окинул заинтересованным взглядом и покачал головой:

— Так вот мы какие...

— Вот такие, — в тон ему сказал я. — Ещё вопросы есть?

— Только один, но очень важный, — он обхватил меня за плечи. — Нельзя ли к тебе поднаться помощником?

— Это место уже занято.

— Кем? Что за счастливчик? Или ты эту должность загнал кому-нибудь за блок сигарет?

— Она не продажная и не покупная, а помощник вот он, — и я указал на Бывалина, который в облаке морозного дыма появился в дверях. — И не обижайся, Костя. Его рекомендовал начальник отряда.

— Тогда молчу, — Костя поспешил к старику, чтобы обрадовать его новостью.

Ерофей Кузьмич поначалу не мог сообразить, радоваться ему или огорчаться, но мало-помалу до него дошло, что он получает независимость в той мере, в какой она возможна в казённом доме. Правда его беспокоило, что со временем лафа кончится, и как бы потом не попасть на какую-нибудь гибельную для его здоровья работу.

— Сделаем фонтан и начнем лепить бюст майора Жернакова, затем нарсудьи Ивана Федотыча. Глядишь, начальство прослезится от радости и вытолкнет нас отсюда досрочно.

— Не шути так, Ваня, — вздохнул старик. — И не ищи добра там, где его никогда не было.

Я и сам был взволнован случившимся, но не сомневался, что Стекольников приоткрыл щёлку, через которую у меня

появилась возможность получить свободу, надо было только угодить ментам и Ивану Федотычу своим мастерством и послушанием. Пусть они не ангелы, но от кого я могу получить билет на волю, как не от них?

После ужина в промёрзшей, как холодильник, столовой я исхитрился покемарить. За полчаса до отправления автобуса Ерофей Кузьмич меня разбудил, сунул в руку кружку с горячим и сладким чаем, сухарь, и через несколько минут я почувствовал, что члены моего тела ожили, душа взбодрилась, и я был почти готов к тому, чтобы идти, докладывать, рапортовать.

В слабо освещённом помещении раздавались покашливания и побряхтывания: собирались в третью смену ещё несколько человек: Федорчук, Костя, Троцкий и Хорёк со своей кодлой.

— Как погода? — спросил я, возвращая пустую кружку Бывалину.

— Вроде снег пошёл, а это к теплу. Мне завтра в мастерскую идти?

— Предупреди своего начальника, что начальство переводит тебя на другую работу, и возвращайся.

Мы с Костей покурили, дождались Федорчука и втроём поспешили к автобусу. На дворе чуть потеплело, шёл снег, и ощущалось движение воздуха, пока едва заметное, но обещавшее к утру превратиться в позёмку, а позднее — в метель. Автобус промёрз, нещадно чадил и ничуть не обогрелся, пока мы ехали до завода.

— Я чуток задержусь, — сказал Костя. — Ты, Степан, пооткатывай минуток десять, мне с корешами надо перетолковать.

Федорчук промолчал, и Костя понял это, как знак согласия, правда, весьма неохотного, и посулил:

— Я непременно хорошими сигаретами разживусь, одна пачка твоя.

За последние дни галерея для транспортёров промёрзла насквозь, на потолке и стенах выросла жёсткая щетина инея, в

глинохранилище, видимо, забились вальцы грубого помола глины, и на транспортёрной ленте было пусто.

— Чует моё сердце, ещё та будет сегодня для меня смена, — бурчал Степан. — Рубящие автоматы на соплях держатся, а тут, то одно, то другое. Пану-спортсмену зачесалось куда-то идти. Наверно, какую-нибудь оторву надыбал. Кильдымыч с вальцами заколебал, сейчас опять начнёт бормотать, что некому работать. Как это, некому? Что, алкашей не осталось? Любым утром их можно наскрести у пивных ларьков сколько угодно.

Навстречу нам по галерее шёл мастер смены, которую мы меняли. Степан спросил, как работалось, оказалось, что больших поломок не было, но вальцы забивались и довольно часто.

— Ну, что я говорил? — опять забурчал Федорчук, когда стал спускаться по стальной лестнице в цех, где нас уже выглядывал Кильдымыч.

— Где Костя? — остановил он меня на пороге раздевалки.

— Попросил меня поработать за него с полчаса, — сказал Степан. — Так что на вальцы я не пойду.

— Как — не пойду? — стал нервничать Кильдымыч. — А производственная необходимость? Да и Костя явится. Так что уважь, я ведь помалкиваю, что ты в рабочее время шабашками занимаешься. А вальцы я тебе оплачу по наряду.

И сменный мастер спешно нас покинул, чтобы не слышать от Федорчука нового отказа.

— Вот, байбак, — удивился Степан. — Я ведь ему пылесос только что наладил, и ни копейки не взял. Может нарядом рассчитается, его не надо учить, как это делается. Но мне от этого не легче. Я прошлый месяц двести пятьдесят заработал, а на книжку перечислили всего пятьдесят рублей и десятку на лабаз, за «Приму». А двести рублей слупили за хавку в столовой, за шапку и ватную фуфайку, за простыни... У тебя и этого, наверно, не выходит?

— У меня полста процентов алиментов, — сказал я,

прихватывая с собой на всякий случай старый ватник. — Пора вставать в оглобли.

Возле подъёмника топтался Кильдымыч, покрикивая, чтобы поскорее приступали к работе.

— У тебя самосад не кончился? — сказал он, доставая из брезентовой сумки полиэтиленовый мешочек с табаком.

— Не буду тебя, Кильдымыч, обманывать. Завтра на моё место придёт работать другой откатчик.

— А ты куда?

— Получил повышение, — подмигнул я. — Буду в хозобслуге.

Кильдымыч заметно поскущел, дёрнулся, чтобы положить самосад в сумку, но всё же протянул его мне.

— Травись на здоровье!

Федорчук откатывал вагонетки с кирпичом от соседнего пресса, мне тоже не приходилось скучать. С визгом подъехал и остановился возле пресса электролафет. Я не успел отвернуться и встретился взглядом с Клавой. Она тоже отработывала сегодня последнюю смену. В её глазах я прочитал немой укор. Обрыв рубящей глину струны дал нам время для того, чтобы она успела сказать:

— Что делать надумал, Ваня? Дай слово, что приедешь, и я буду тебя ждать.

— Я не гожусь для тебя, Клава, — сказал я. — А врать, что приеду, не хочу.

Она отвернулась и закусила губу. К счастью, вновь зачастил рубящий автомат, и затосковать по поводу разлуки нам помешала работа.

Тем временем случилась остановка на соседнем прессе, и ко мне подошёл Федорчук.

— Полчаса минуло, а Кости всё нет. Точно, с какой-нибудь лахудрой шоркается.

— Терпи, Степан. Тебе обещана пачка хороших сигарет. А мне вот Кильдымыч самосаду подогнал. Угощайся.

Я протянул ему коробочку с табаком, но в этот миг раздался

нечеловеческий вопль такой силы, что перекрыл работу всех цеховых механизмов. Я вскинул голову: заливщица нашего пресса грохнулась на железный настил и затихла. Оттолкнув Степана, я взлетел вверх и нажал кнопку, чтобы остановить транспортёр с глиной. И тут же мой взгляд опалило чем-то ярко-красным, я тряхнул головой и онемел от ужаса: из течки, вместо глины, выползали, сочась кровью, тряпочные лоскутья и какое-то месиво, явно человеческого происхождения. Ноги подо мной ослабели, и я схватился за ограждение.

— Что такое? — на пресс, сипя бронхами, влез Кильдымыч и замер, остолбенев от увиденного.

Кто-то обесточил линию высокого напряжения, и в цехе воцарилась замогильная тишина. Люди не знали, что случилось, но уже были уверены, что произошло что-то страшное и непоправимое.

— Никого сюда не пускай! — опомнился сменный мастер. — Я сейчас доложу дежурному по заводу.

«А ведь его уже нет, — с ужасом догадался я. — Это ведь Костя! Полчаса назад я с ним сидел в автобусе, он был живым, а сейчас от него осталось только...»

Я глянул на кожух течки, из которого продолжала сочиться кровь, наверху что-то заскрежетало и стало понятно, что Федорчук ломом стал проворачивать вальцы в обратную сторону, чтобы освободить застрявшее в них тело. Это привело к тому, что сапог с ногой оторвался и упал в пресс. У меня потемнело в глазах, к горлу подкатил рвотный комок, но я сдержался и почувствовал, как под шапкой зашевелились волосы.

На пресс вбежал мужик в белом халате, глянул на меня и ударил ладонью по щеке.

— Как себя чувствуете?

— Нормально, — попытался ответить я, но своего голоса не услышал.

— Чего здесь торчишь! — доктор подтолкнул меня к лестнице. — Ещё не рассмотрелся?

С ним был ещё один медик с резиновым мешком в руке. В него он складывал то, что осталось от Кости.

Возле другого пресса шумел Кильдымыч:

— Включайте глиномешалку! Где Степан?.. А ты, что тут толкёшься? — накинулся на меня мастер. — Иди в красный уголок, присматривай, чтобы никто не намылился домой. Скоро приедет милиция.

Мне не улыбалось сидеть в красном уголке и прятать взгляд от Клары, и я пошёл к электрику, в его подсобку, сдвинул на стеллаже в сторону разобранный на части электромотор, постелил прихваченную из раздевалки старую телогрейку и лёг, закрыв глаза. Однако задремать мне не удалось, слишком рядом со мной стояла смерть Кости, и в темноте я видел, словно наяву, его кровоточащие останки и сапог, упавший в чрево пресса. Внезапно вспыхнуло — а ведь такое же могло случиться и со мной, и мне стало жутко от мысли, что я, как и всякий человек, не сознавая этого, надеюсь испустить дух на своей кровати, но от внезапной жуткой кончины меня никто не застраховал. Всякий человек надеется прожить бесконечно долго, а тут — раз, и раздавило его между двух валиков в лепёшку. И можно сколько угодно убеждать себя, что смерть по своей природе для всех одинакова, но тогда, почему от её предчувствия начинает вздрагивать и трепетать душа, словно ей предстоит лететь в бездну бесконечно далеко и, не дай бог, вечно? Может, за смертью нам предстоит изведать ужас, о котором мы сейчас и не догадываемся?..

Вопроса, почему Костя был убит и кто совершил это злодеяние, для меня не существовало. Я сразу догадался, что за его смертью стоит Хорёк или кто-то из его коды. Они вычислили, что в исчезновении книжки с запрятанной в неё дурью виноват Костя. Но скорее всего пан-спортсмен сам навёл эту шайку на свой след тем, что болтался по ЛТП в подкурённом состоянии, как бы хвастаясь перед всеми, что вот он поймал кайф, а вы, жлобы, жуйте опилки. Приблатнённые никогда бы на Костю не наехали, но пропажа дури и денежный

долг за неё заставили Хорька пойти на убийство. Только зачем он это сделал? Я лишь понаслышке знал, чем руководствуется в своих действиях эта публика. Они много базарят о воровской чести, может именно из-за потери своей чести Хорёк, конечно, не один, а с подручными, оглушили Костю и засунули его в вальцы.

Определив убийцу или убийц, я задумался, что делать с этой информацией? Куда-нибудь её отнести, может тому же лейтенанту Zubову, или засунуть язык в гадкое место и помалкивать? Правда, я скоро сообразил, что, кроме догадок, у меня нет ничего такого, что я мог предъявить в качестве вещественного доказательства. ЛТП — далеко не лагерь, скорее загон для изгоев, но пробыв в нём всего несколько месяцев, пообтеревшись среди бывалых людей, я усвоил, что молчание здесь не только золото, но и сама жизнь. Молчи громче и будешь жить — этим правилом в нашем загоне руководствовались все, независимо от ширины плеч и толщины шеи. И против такого коллективного опыта трудно было найти хоть какое-то возражение, если стоять на грешной земле обоими ногами, а не предаваться пацанским мечтаниям о победе добра над злом.

Мои размышления прервал шум за дверью, я дотянулся до неё рукой, приоткрыл и увидел с десяток ментов, которые явились на место чрезвычайного происшествия, конечно, с прокурором, ведь налицо была смерть человека, и надо было быстро и безошибочно определить: произошла она в результате несчастного случая или погибший стал жертвой чьёго-то злого умысла.

Одним из первых должны были допросить того, кто обнаружил труп, и я вышел из подсобки к прессам, где вокруг Кильдымыча столпилась вся наша смена. Увидев меня, мастер обрадовался:

— Где тебя черти носят, Конев? Беги в красный уголок, там тебя ждёт следователь прокуратуры.

После суматошной ночи мне удалось поспать часа три, когда весь ЛТП был поставлен на уши и начались повальные обыски. В наш отряд ввалились пятеро прапорщиков и стали требовать койки, тумбочки, подсобные помещения и всё, что в них хранилось. Особенно тщательно обшарили и перетрясли тот угол барака, где обитал Хорёк со своими друзьями. Затем принялись осматривать всё подряд, и когда затряслись и заскрипели железные койки рядом со мной, я, с сожалением расстался со своим убежищем и спустился с верхнего яруса на цементный ледяной пол, исхитрившись угодить ногами в сапоги и, накинув на плечи ватник, прошёл в умывалку, где скрутил себе из газеты толстую самокрутку.

Скоро ко мне присоединился Бывалин, который не пошёл в мастерскую и дождался в казарме, когда проснётся его новый начальник, ведущий скульптор ЛТП, то есть моя милость.

— Что слышно? — сказал я. — Убийцу поймали?

— Откуда мне знать, — пожал плечами Ерофей Кузьмич. — Кого это беспокоит? Здесь каждый думает о себе, а убили кого-то или наградили — никого не волнует.

— И даже тебя?

— Я помолился об убиенном рабе божием Константине, — смиренно промолвил Бывалин. — Добрый был человек и смирный.

Обсудить случившееся нам не дал начальник отряда, он заглянул в дверь и поманил меня за собой в свой кабинет.

— Чай будешь? — и, не ожидая моего согласия, налил полный стакан чаю и положил рядом с ним баранку. — Я не знаю, что ты сказал следователю, но ты ведь в курсе, кто грохнул твоего приятеля?

Чтобы как-то потянуть с ответом, я схватил стакан, глотнул чаю и начал сосредоточенно точить зубы о твёрдую, как кирпич, баранку.

— Ну, так кто? — повторил вопрос начальник отряда и постучал костяшками пальцев по столешнице. — Он ведь тут, в отряде, а не явился среди ночи на завод со стороны.

Зубов обладал магнетической силой взгляда, и соврать ему было невозможно, но я слегка вильнул в сторону от правдивого ответа.

— Догадываюсь. Но ведь я рядом с ним не стоял.

Лейтенант вздохнул и затянулся сигаретой.

— В том то и вся загвоздка, Конев, что ни я, ни ты рядом в момент убийства не стояли. Но, кажется, имеем в виду одного и того же отморозка, который оставил от себя противный запах. Но вонь, даже от Хорька, к делу не пристегнёшь. Нужны факты.

— Главное, товарищ лейтенант, вам известно, — осмелел я и решился на подсказку. — Вам надо поговорить с ним один на один, и он подпишется даже в том, что готовил покушение на Горбачёва.

Зубов остро на меня глянул, скривился и затушил сигарету.

— Разве нельзя на него как-нибудь подействовать?

— Ты, Конев, думаешь, когда говоришь? — Зубов погрозил мне пальцем. — Начитался статей о сталинских репрессиях и решил, что здесь не ЛТП, а бериевский застенок? У нас карцер почти всегда пустой, мы для вас няньки, стараемся, чтобы каждый был сыт, одет, получал положенное по его заболеванию лечение. Но мы с тобой это убийство размотаем, ведь так?

Я смутился и пожал плечами.

— Как раскроем? А следователи?

— Они занятые люди. От них требуют раскрытия громких дел. Смерть алкаша вряд ли их особо заинтересует. А ты парень толковый, ум не пропил, вот и пошурупь своей бестолковкой, может, измыслишь, как уличить нашего вонючего зверька.

Я замешкался с ответом и глянул на сигареты Зубова. Тот истолковал это правильно и подтолкнул «Опал» в мою сторону.

— Бери всю, — расщедрился он. — Считаю, что в этом вопросе мы столковались. А теперь порешаем скульптурные

дела, о которых замполит уже напоминал мне сегодня. Что тебе надо?

— Помещение, вроде этого кабинета, глину, помощника, гвозди, рейки, пару досок...

— Начнём с помещения, — сказал, надевая шапку, лейтенант.
— Оденься и подходи к клубу.

Ерофей Кузьмич дождался меня в коридоре, но я возле него не остановился и только сообщил, что всё идёт нормально. Захватив шапку и утепившись ватной курткой, я поспешил к культурному очагу и настиг Зубова, когда тот уже взялся за ручку двери кабинета заведующего клубом. Культурный деятель был нашего алкашного разбора, бывший методист областного управления культуры, он, конечно, изрядно опустился, но держал себя с форсом, и был одет в отутюженные фланелевые брюки, слегка потёртую на локтях голубую бархатную куртку с галстуком-бантом, и смотрелся весьма импозантно.

— Соответствующее помещение я подобрал, — доложил он Зубову, подобострастно поглядывая на него жалобным взглядом потерявшего зубы пуделя. — На первом этаже, как вы указали.

— Вода туда проведена? — поинтересовался я.

— Пожарный кран в коридоре. Позвольте вас туда проводить?

Комната оказалась просторной и довольно высокой, в два окна, из мебели в ней имелись два стула, шкаф и стол, на котором валялись заплесневевшие корки хлеба и высохшая половинка луковицы.

— Как, Конев, годится? — сказал, похлопывая перчатками по рукаву своего полушубка, начальник отряда.

— Вполне.

— Ты, Гречкин, помоги ему здесь устроиться.

— С удовольствием, товарищ лейтенант, мы ведь люди искусства, и понимаем друг друга с полумысли.

Проводив Зубова, начальник клуба показал мне своё культурное хозяйство: комнату для занятий оркестра народных

инструментов, киноаппаратную, гардеробную, где хранилась одежда артистов, задействованных в юмористических чеховских пьесах, которые были коньком спившегося режиссёра провинциального театра и теперь плодотворно трудившегося в загоне для пропойц над созданием полноценных творческих образов классика русской сцены. Гречкин хотел меня представить нашему Станиславскому, но тот величественно проигнорировал слова номенклатурщика от культуры, посмевшего потревожить мастера и отвлечь от творческих исканий.

— Во время творческой работы вам музыка не мешает? — сказал Гречкин, когда мы расположились в его кабинете рядом с электрическим самоваром, на вершине которого изящной надстройкой стоял и запаривался заварочный чайник.

— Что вы имеете в виду?

— У меня здесь, в кабинете, пылится прекрасная радиола. Могу презентовать её вам с набором пластинок для поднятия жизненного тонуса. Я специалист по народному творчеству, моя стихия — частушки. А скульпторы, надо полагать, предпочитают общаться с Бахом, на худой конец, с Бетховеном. Я нахожу, что их музыка скульптурна по своей форме.

— В каком смысле? — с некоторой настороженностью поинтересовался я, не ожидая встретить в скорбной лечебнице музыкального критика.

— В самом прямом. И Бах, и Микеланджело оперировали объёмами, их творческое мышление грандиозно, любая тема для них — это глыба, от которой они отсекали всё лишнее, чтобы явить миру совершенное творение.

Произнося этот монолог, Гречкин преобразился, он уже ничуть не напоминал беззубого пуделя, передо мной возникла самодостаточная личность, но я сразу же одёрнул себя: шиза алкоголика, и вполне возможно, что многоумие методиста управления культуры — всего лишь одна из гримас этой душевной болезни.

Мне не улыбалось надолго застрять в беседе с явно

неадекватной личностью, и я огорошил его далёким от высших сфер искусства вопросом:

— Слушай, братела, а пластилин в твоей конторе найдётся?

Лихорадочный огонёк, вспыхивающий в глазах моего собеседника, сразу погас, и он опять стал похожим на беззубого пуделя.

— Что вы сказали? Пожалуйста, уточните свой вопрос?

— Пластилин для лепки у тебя есть?

— Одну минуточку, — Гречкин метнулся к шкафу, вынул оттуда толстую тетрадь и стал её перелистывать. — Так... Есть! Пластилин школьный, десять коробок.

— Возьму всё.

В кабинет заглянул Бывалин, я этим воспользовался, чтобы покинуть кабинет начальника клуба. Ерофей Кузьмич был очень доволен выделенной под мастерскую комнатой, принёс веник, совок, подмёл комнату, напылил, и пришлось открыть форточки, чтобы проветрить помещение. Песни отрядных колонн, направляющихся в столовую, напомнили нам об обеде и, переглянувшись, мы решили, что нам как творческим людям зоновская шагистика неприемлема, и принимать пищу мы будем в своей мастерской, и Бывалин взял на себя заботу по обеспечению нашей творческой группы пищевым довольствием.

Мой помощник отправился за обеденными порциями, а я обошёл клуб и экспроприировал для производственных нужд небольшой столик, тумбочку, два ведра и пожарную лопату, но счастливой находкой для меня стала клеенчатая, с подголовником, кушетка, которую я протёр от пыли, принёс в мастерскую и застелил куском алого бархата. Возлежать на таком ложе было очень приятно и, поглядывая в окно, я пытался прикинуть, что придумать для украшения фонтана, и уже что-то очень похожее на удачную догадку, начало шевелиться в ещё не проспиртованной насквозь голове, но явился Гречкин с десятью коробками пластилина, пачкой рисовальной бумаги и коробкой карандашей.

— Распишитесь! — он положил на столик накладную.

— В нашей стране каждая иголочка где-то да числится, — сказал я, подписывая документ. — Ба! Откуда в нашем захолустье такое богатство — мягкие карандаши «Кох-и-Ноор»?

— Как откуда? — пожал плечами Гречкин. — Централизованные поставки из Москвы.

Он оглядывал комнату с явным намерением где-нибудь приземлиться и продолжить свои рассуждения о Бетховене и Бахе, но я его опередил.

— Мой помощник пошёл в столовую за обедом. Здесь не найдётся чего-нибудь из элементарной посуды — стаканы, чашки, вилки, ложки...

— Два стакана я дам, а остальным разживётесь, как разбогатеете.

— Разве здесь такое возможно?

— Ещё как! На всех зонах художники живут припеваючи, а чем мы хуже? За бумагу и карандаши со мной рассчитаетесь, когда вам начнут капать рублики за рисунки. Обнажёнок или там секс рисуйте с оглядкой. За них дорого платят, но есть риск загреметь по уголовной статье.

«Нет, — подумалось мне, — к Гречкину надо присмотреться повнимательнее, и может быть я слишком поторопился поставить ему скорбный диагноз, во всяком случае, его финт с карандашами и бумагой свидетельствуют, что он не дурак, если не прочь сделать меня источником своего благополучия».

— Я, конечно, рисую, но не настолько профессионально, чтобы брать заказы, — уклончиво сообщил я свою позицию по этому вопросу, но дальнейшее наше общение прервал весьма наглый субъект, правая рука капитана Попова, — прапорщик, которого я запомнил после первого визита к главврачу. За ним впритык следовал Ерофей Кузьмич с долгожданным обедом.

— А тебе, чёрт, особое приглашение в рыгаловку требуется! — рыкнул прапор и, схватив Гречкина за руку, поволок из комнаты.

— Мне нужно переодеться! — пискнул, как уловленная

кошачьим коготком мышь, начальник клуба.

— У нас есть, где переодеться, хоть до трусов! — громыхнул служивый и свою добычу не выпустил.

Бывалин поставил котелки на стол и закрыл дверь.

— Выходит, даже начальникам нет от лечебных терзаний поблажек, — резюмировал он.

— Здесь подлинное равноправие.

Поев щей и перловку с нитями говяжьей тушёнки, я отправил Бывалина в мастерскую за рейками, обрезками досок, кусками проволоки и гвоздями, а сам лёг на кушетку с надеждой, что авось, мне измыслится нечто такое, что можно будет использовать в работе. После тощей казённой трапезы в сон меня не потягивало, и я был способен на здравые рассуждения.

«От меня требуется выполнить элементарную работу, которой надо угодить майору Жернакову и замполиту. Это обыкновенная шабашка, поэтому сделаю то, что я уже сделал вместе со Стекольниковым для танкового училища: там тоже был фонтан, и мы поставили двух дельфинов. Для ЛТП хватит и одного, работать надо старательно, но по минимуму, не расшибаясь лбом от усердия».

Я не стал распаковывать коробку «Кох-и-Ноора», а вынул из кармана карандашный огрызок и на обратной стороне пачки рисовальной бумаги сделал набросок эскиза, который решил выполнить в пластилине, в нескольких ракурсах.

«Конечно, это не шедевр, — подумал я, оценивая свою творческую задумку, — но для ЛТП годится, особенно, когда над скульптурой засверкают брызги фонтана, а принудбольные с одуванчиками в руках будут прогуливаться вокруг моего шедевра».

Я пребывал в игривом настроении, но в нашем загоне огорчения так же часто случаются, как дождь в октябре. Вернулся Ерофей Кузьмич, притащил почти всё, что я просил, сел на стул, отдышался и печально посмотрел в мою сторону.

— Плотник гроб для Кости сколотил.

— Где его хоронить собрались? — сказал я. — Неужели здесь?

— Это раньше такое было. Каждая зона имела своё кладбище.

— Родные знают? У него, кажется, мать и сестра.

— Сообщить родным — забота начальства — резонно молвил Ерофей Кузьмич. — А нам надо бы добыть чёрной материи, чтобы оббить гроб. Тоскливо смотреть, когда покойник лежит на голых досках.

Начальник клуба после лечебной экзекуции находился в прострации, но я всё-таки сумел донести до него, что мне нужно, и в ответ получил указание жестом пошариться в трёхстворчатом шкафу, где и обнаружил штуку саржи, от которой с помощью Ерофея Кузьмича отмотал метров десять ходовой подкладочной ткани, неизвестно почему находившейся в нашем очаге культуры.

— Крепись, Гречкин! — сказал я. — А лучше завари чифирку и смой свои рвотные воспоминания о капитане Попове благородным напитке лордов.

Начклуба в ответ на мою дурацкую шутку жалко скривился и указал на накладную, в которой я расписался за гробовую ткань. Гречкин был не дурак, и если когда-нибудь его и заметёт уголовка, то явно не за растрату казённого имущества.

Мастерские располагались в одноэтажном кирпичном барачке, сразу за котельной. Большая дверь в столярку находилась с торца строения, оттуда доносился визг работающей циркулярной пилы, вкусно пахло опилками и стружкой, и, пройдя через тамбур, мы оказались в просторном помещении, где работали два спеца по столярной и плотницкой части.

Бывалин развернул перед ними свёрток с тканью, плотник пощупал её заскорузлыми пальцами и хмыкнул.

— И где это вы так разжились?

— У начальника клуба. Что, не годится?

— Почему? — удивился гробовщик. — Она не успеет и проветриться, как покойника приберут в могилу.

— Ты в курсе, когда его будут хоронить?

— Знаю, что завтра за ним приедут родные. Они и распорядятся.

От посещения столярки и вида гроба, в котором Косте надлежало отбыть к своему последнему пристанищу, мне стало неуютно и одиноко, мелькнула мысль о налитом всклень стакане водки, которым я ещё не так давно лечил свою душевную пустоту, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы я ощутил под ложечкой отвратный комок, который, пульсируя, стал подниматься к моему горлу.

– 19 –

Первая смена ушла на завод, но несколько сачков и придурков, среди которых тёрлись я и Бывалин, скучковались в коридоре и ждали начальника отряда, занятого телефонным разговором. Дверь в его кабинет была открыта, мы в эту сторону не пялились, но слышали, что речь идёт о нашем погибшем товарище.

— Слушаюсь, товарищ майор! — сказал Зубов и положил телефонную трубку.

Затем он сделал несколько шагов в нашу сторону, к порогу, и остановился, а мы уже стояли лицом к начальнику отряда и даже изобразили своей толкотнёй построение в две шеренги.

— Конецу и Бывалину остаться на месте, остальным — лопаты в руки и чистить территорию, — скомандовал лейтенант и обратился ко мне, — тебе, кажется, нужна глина для скульптуры?

— За ней надо ехать в худфонд, а он в городе.

— Сегодня в город пойдёт машина с гробом, сопроводишь её, а обратно привезёшь глину. Но вернуться нужно не позже двадцати часов.

— Мне ехать одному? — удивился я.

— А разве тебя нужно сторожить? — усмехнулся Зубов. — Беги, но тогда не меньше года настоящего лагерного срока тебе обеспечено. Тебе это надо?

Конечно, у меня и в самых тайных мыслях не было желания сбежать из нашего элтэпэшного загона, и возможность оказаться целый день свободным я воспринял равнодушно. Мне предстояло проводить на большей части его последнего пути — от ЛТП до материнского дома — своего товарища по несчастью, которому я во многом был обязан спокойной жизнью в отряде, и это заслонило всё, тем более явно безнадёжную попытку бежать. Да и куда? Я не знал на необъятных просторах страны ни одного кустика, ни одной норки, где смог бы схорониться от всевидящего ока родной милиции.

Получив задание и наставление, я сменил на себе нижнее бельё, наказал Бывалину сделать для глины короб и припустил в столовую, где мне крупно повезло: старшим наряда был Троцкий, и он, проведая, что я еду на весь день в город, угостил меня жарёной во фритюре картошкой с куском колбасы.

— Откуда такое? — изумился я.

— Места надо знать! — самодовольно заявил Троцкий и щедрой рукой выдал давно забытое мной питьё — кофе с молоком и ломоть мягкого белого хлеба с двумя порциями масла.

Я самым искренним образом поблагодарил Льва Давидовича, на что он весьма ядовито заметил, что вместо жалких слов желал бы поиметь с меня пару пачек хороших сигарет, а его ответным жестом будет сохранённый для меня обед, который для кухонной obsługi готовится не в общем котле, а в отдельной кастрюле из нержавеющей стали.

Обменявшись взаимными обещаниями, мы расстались. Нужно было спешить, шофёр «уазика» уже знал обо мне, машина пофыркивала возле столярки, и через задние двери плотник и столяр погрузили в неё сначала гроб, затем крышку, оббитые чёрной саржей.

— Погоди, Максим! — сказал столяр шофёру и скоро

вернулся из цеха с бумажным венком.

Я, было, решил, что неслыханную щедрость по отношению к убиенному проявило руководство ЛТП, но ошибся: недавно здесь находился на излечении спец из похоронного бюро, и он наготовил столько венков, что, случись мор, о бумажных цветах можно было бы не беспокоиться. Но смерти в ЛТП случались редко: капитан Попов бдительно следил за нашим здоровьем, а Иван Федотыч мог даже посреди ночи освободить всякого, кому было суждено умереть на следующее утро, но уже за воротами загона для отверженных.

Было ветрено, через асфальт пролетали белые хвосты позёмки, колючий ветерок сквозь щели сочился в кабину и проветривал её от табачного дыма. Какая-то старушка подняла руку, чтобы мы подбросили её до города, но нам нужно было ещё заехать в морг и забрать покойника. Там же ожидала нас и мать Кости, которая приехала ещё вчера за телом мёртвого сына.

Водила был из местных и знал, куда надо ехать — к приземистому, ещё дореволюционной постройки зданию из кирпича, в котором не было ни одного окошка, что делало его похожим на склад. Это было действительно хранилище, но не какого-то имущества, а покойников. Возле двери морга стояла, одетая в потёртую мутоновую шубу пожилая женщина и выжидательно смотрела в нашу сторону.

— Что, брат, — сказал шофёр, — пойдём забирать «груз двести».

В мрачном, пропахшем плесневой сыростью помещении нас встретил хозяин этого сверхскорбного заведения, он что-то пробормотал, указывая на стол, где лежал наполненный останками Кости резиновый мешок. Шофёр не спешил за него хвататься первым, а я на какое-то время остолбенел, оглушённый бесконечно убогим убранством этого вокзала смерти, откуда начинается последний путь человека в никуда: голые стены с сочащимися изморозью кирпичами, цементный пол, железный остов на четырёх ржавых ножках, на нём

мраморная плита, а на ней человеческие останки в резиновом с грязными пятнами мешке.

— Что, берёмся? — подтолкнул меня водила.

Я, внутренне содрогнувшись, прикоснулся рукой к мешку, шофёр потянул его со стола, и мне, чтобы он не упал на пол, пришлось удерживать его двумя руками. В спешке я не выбирал место, где мне удобнее было бы взяться, и схватился за что-то твёрдое, как кусок толстой палки, но перехватывать руками мешок было уже поздно, мы донесли его до открытого салона машины и не очень бережно положили мёрзлый труп в гроб.

— Крышкой будем покрывать? — спросил шофёр у матери.

Она, утирая платком слёзы, отрицательно качнула головой. Я помог ей взойти в машину, где она наклонилась над гробом и подрагивающими руками принялась поглаживать резиновый мешок, словно пыталась удостовериться, что там действительно находится тело её сына.

— Присядь, мать! — сказал водила и нажал на стартер. — Держись крепче, сейчас поедем!

Серая полоса шоссе стремительно наматывалась на колеса «уазика». Я сидел рядом с мотором, нависая ногами над дорогой, от которой меня отделял кусок металлического листа, и скорость ощущал непосредственно своими глазами и даже кожей, когда она внезапно покрывалась пупырышками озноба от зябкого страха перед мчавшимися впритирку с нами встречным машинами.

Однако понемногу я притерпелся к опасности, даже позволил себе ослабить судорожную хватку за ручку перед стеклом переднего обзора, вынул из кармана коробочку с самосадом, но водила не пожмотничал и выложил на стёганую накрывашку двигателя початую пачку «Примы». Сигарета помогла мне успокоить взвинченные близким соседством с гробом нервы, и в душе я ничего другого не ощущал, кроме уныния, в ней творилось то же, что и за шаткими стенами нашего «уазика»: завывал ветер, и мчалась, подгоняемая им, непроглядная муть.

Костина мама, слегка покачиваясь на сидении, смотрела на

резиновый мешок в гробу сухими глазами, и лицо её было бесстрастно, даже безжизненно, словно силой своего материнского горя она смогла последовать за сыном на какую-то часть его смертного пути и сейчас уже навсегда прощается с ним. «Обо мне горевать будет некому, — почувствовав острую жалость к себе, подумал я. — Зинка со мной расплевалась и сейчас тешит себя в потных объятиях Беркутова, дочка ... она забудет обо мне, не пройдёт и полгода».

Кабина машины была густо оклеена картинками из журналов с изображениями красоток. Я равнодушно скользил по ним взглядом и чуть не подскочил от неожиданности: с дверцы бардачка на меня глядела Валя и улыбалась хорошо знакомой мне виноватой улыбкой. Я не поверил своим глазам, быть того не могло, чтобы скромная труженица провинциальной машиноиспытательной станции оказалась на страницах журнала, но картинка имела поразительное сходство с тем представлением о Вале, которое сохранилось в моей памяти.

— Откуда красотка?

— Что, задела? — оживился водила. — Я нарочно всяких наклеил и замечаю, кто и к какой приглядывается. Майор Жернаков от этой глаз оторвать не может. — И он указал на картинку, где была изображена роскошная блондинка с богатым навесным оборудованием, едва скрытым розовым купальником. — Капитану Попову нравится вот эта, длинноногая, замполит балдеет вот от этой кормы...

— Откуда эта красотка? — Я повторил свой вопрос.

— Что, узнал знакомую?

— В том и дело, что напоминает мне она одну женщину, — уклончиво сказал я.

— Очень даже может быть, что ты её знаешь, — усмехнулся водила. — Если бывал в Польше. Картинка из польского журнала.

Я не бывал в Польше, но признаваться в этом не стал, отвернулся к окну и закрыл глаза.

Тут-то и пришла в голову мысль, что Валя мне вспомнилась

неспроста, что-то во всём этом есть. Я вдруг вспомнил, будто она была рядом, как пахнет молодой полыньёю её тело, и сердце заныло от ненависти к самому себе, так бездарно промотавшему дарованное судьбой счастье быть любимым.

Но что она знает обо мне сейчас? Я уже почти год с ней не встречался, не перезванивался, она как-то пришла в скульптурный цех, но я был так безобразно пьян, что нагрубил ей. Опять напомнил, что когда-то она мной пренебрегла, насмеялась над моими чувствами. Валя, я это помню точно, заплакала и ушла, а мужики на меня окрысились и столкнули с соснового чурбака, на котором я восседал над застольем, и наутро мне пришлось разглядывать расцарапанную об острые гипсовые обломки физиономию в зеркале. Нет, к Вале я пока не пойду, надо сначала позвонить к ней домой или на работу, оба телефона я записал на стене мастерской Стекольниковой и, наверно, они сохранились, если скульптор или какой-нибудь пьяный гость не заляпали их грязью.

Город обозначил себя огромными клубами дыма над несколькими трубами теплоэлектроцентрали, которая, как дредноут начала века, дрейфовала в сторону громадного авиапромышленного комплекса. Затем дорога пошла вниз, к замёрзшей Волге и на противоположном берегу воспарил беломраморной плитой мемориал великого Земляка, чьё имя хвойной лесопосадкой было начертано на волжском откосе. Возможно, у кого-то этот вид мог вызвать трепетную волну восторга, но только не у меня: слишком далёк я был всегда, и особенно сейчас, от всяких идеологических заморочек, которыми ведомство ещё одного нашего великого земляка, Михаила Андреевича Суслова, озадачивало население одной шестой земной суши, не давая ему одуматься от одной пропагандистской затеи, чтобы выдумать другую, ещё более занудную и тупую. В магазинах была нехватка буквально во всём, а народ, ещё не ясно для каких целей, лишили курева и устроили дикие давки за водкой, одновременно увеличив производство спиртосодержащих жидкостей для магазинной

бытовой химии и аптек. И ведь это кому-то было нужно.

— Я в городе бываю нечасто, — сказал водила. — Где эта улица Матросова?

— Я покажу, — опамятовалась мама Кости. — Здесь недалеко, в центре.

Нас ждали, из подъезда вышли двое крепких парней, взяли гроб, крышку и унесли их в квартиру. Я поглядел вслед останкам моего товарища по несчастью уже без уныния, которое испытывал ещё совсем недавно. Меня сейчас больше заботили мои дела, особенно Стекольников, ведь если он куда-нибудь из города уехал, то я мог оказаться без глины, а вернуться из города с неудачей я не хотел и не мог.

Когда мы свернули с центральной улицы во двор старой церкви, водила меня предупредил:

— Я поеду к брату, пробуду там часов до пяти, а ты к этому времени упакуй глину, чтобы погрузить одним махом.

Я промолчал, выглядывая через забор, открыта ли мастерская. А тут и сам Григорий Аверьяныч вышел на крыльцо и, запустив два пальца в ширинку штанов, усердно помочился в осевший сугроб. На мой оклик он обернулся и подслеповато прищурился, не опознав в мужике, весьма похожем на шастающих вокруг ханыг, своего ученика и бесталанную голову

Ваньку Конева.

— Отчаливай до пяти, — сказал я водиле и захлопнул за собой дверцу «уазика».

Тут-то Стекольников узнал меня и, расставив руки, пошёл мне навстречу.

— Ванюшка! Какими судьбами? А мы тут недавно тебя вспоминали.

— Это по какому же поводу? — пробормотал я, прижимаясь к небритой щеке Стекольниковова.

— Какой может быть повод, кроме бутылки на пеньке? Выпили, закусили и тебя вспомнили, дескать, как он там живёт — мается, в застенках антиалкоголизма? Пугающие прогнозы насчёт тебя раздавались, а ты — вот он! Живой, даже весёлый,

только бледноват, что, плохо кормят? Пойдём ко мне, я, брат, разжился такой пластиной солёного сала, с раскрытую шахматную доску была, я от неё уже попользовался, а остальное отдам тебе. Хорошее сало, чуешь, как чесноком шибает?

Сало было чудесным на вкус. Стекольников убедил меня попробовать его ещё до чая, воду для которого он поставил кипятить в эмалированной кастрюльке на электроплитку.

— Как у тебя дела? — спросил Григорий Аверьяныч, усаживаясь в своё любимое кресло, похожее на трон самозванца Емельки Пугачёва, в котором тот сиживал, весело поглядывая, как корчатся на релях назначенные им к смерти дворяне.

— Вот, благодаря тебе, возведён в элтэпэшные скульпторы, — бодро доложил я. — Получил заказ. Нужна глина. Поделишься?

— С этим вопросов нет, — сказал Стекольников. — А что за заказ?

— Скульптура для фонтана.

— Даже так! — искренне удивился Геннадий Аверьяныч. — Я думал, вас там затравливают собаками, обливают на морозе водой, а тут такие эстетические изыски — скульптура с фонтаном. Дам у вас нет, случайно, чтобы прогуливаться с ними вокруг фонтана? Это кто же надумал устраивать в ЛТП Петергоф?

— Какая тебе разница? — слегка обиделся я на скульптора. — Тебе хаханьки, а для меня этот грёбаный фонтан — путь на волю.

— Молчу! Молчу! Извини, Иван, я не думал, что это для тебя так важно, — Стекольников щедро насыпал в закипевшую воду заварки и стал перемешивать чайное варево ложкой. — Тут ведь как вышло: ментовский генерал заказал мне памятную доску о каком-то чекисте, так мы и познакомились, я ему при случае и сказал о тебе. Так что надо?

— Глину и хорошие сигареты, последнее — в долг, а то самосад у меня колом в глотке стоит.

— Значит, самосадик покуриваешь? — рассмеялся

Стекольников. — А ну-ка, пожалуй на закрутку, только газетку оторву. — Он ловко смочил край газетки языком, закрутил гильзу с обоих концов, закурил, глотнул свирепой крепости дыма и выдохнул. — Крепка советская власть! До слёз пробрало.

Но я не очень к нему приглядывался, а шарил глазами по стенке, отыскивая номер Валиного телефона. Сделать это было не просто: стенка из сухой штукатурки, метра на два в высоту и на три в ширину, была исчеркана, изрисована, исписана и представляла собой развёрнутую записную книжку безалаберного человека, который делает заметки не по разделам или алфавиту, а марает всё подряд. С той поры, когда я записал телефон, прошёл почти год, вокруг моей записи за это время поднялись заросли букв и цифири, и с первого захода своей руки я не увидел.

— Присаживайся! — пригласил меня Григорий Аверьяныч и подал ломоть хлеба с салом. — Передачку с собой я тебе уже завернул в целлофан и газету.

Сало было в норму просолено и проперчено, я погрузил в него зубы и почувствовал, как во рту прибыло слюны. Затем я сам целиком погрузился в изумление от обрушившейся на меня вкусноты, это было всё равно, что в знойный день попасть под водопад освежающей влаги. Те, кто жил, питаясь однообразной безвитаминой пищей, меня поймут, а ухмылки зажавшихся и не нюхавших зоны обывателей меня не колышат.

За первым ломтём хлеба с салом последовал другой, третий, и всё это запивалось свежим чаем, с перекуром и, не скрою, что нажрался я у Стекольников, как Винни-Пух в гостях у Кролика. Было у нас время и поговорить, Григорий Аверьяныч не имел привычки жаловаться на жизнь, как его коллега и сосед по мастерской Васин, но и у него имелись свои заморочки, в основном, житейского плана, о которых он, нет-нет, да проговаривался и сразу замыкался в себе, если слушатель начинал ему сочувствовать или советовать. Этого он не любил. Я слушал его молча, а он всегда говорил об одном и том же,

какая у него красивая и хозяйственная дочка, но вот и ей не повезло ужиться с мужем, понятное дело, забулдыгой и лодырем. Иногда мне приходило в голову, что эти разговоры Стекольников заводит с вполне прозрачным намерением свести меня со своей Татьяной, но к себе он меня в гости не звал и откровенничал лишь для того, чтобы облегчить отцовскую душу.

Он заметил, что я внимаю ему в пол-уха и потянулся за своим полушубком.

— У меня за ящиком десятка два бумажных мешков из-под цемента, глина всё там же, в яме, накладывай, сколько надо, а я сбегаю в подвал, на склад ресторана, мне там обещали хорошие сигареты.

Мешки были ещё крепкими и под глину годились, я, подняв крышку ямы, спрыгнул вниз, взял валявшуюся там саперную лопатку, наполнил один мешок, выбросил его наверх и выпрыгнул вслед за ним. На этот раз цифры телефонного номера Вали бросились в глаза сразу, только я подошёл к стене. Но домашний телефон не отвечал. Тогда я через справочную нашёл номер отдела, где она работала. Через пару секунд раздался равнодушный голос:

— Вам кого?

— Мне Валю...

— Валю?

В телефонной трубке что-то прошуршало, пощёлкало, и раздался тихий голос, от которого я на какое-то время потерял дар речи:

— Кто это? Я вас не слышу...

Наконец мне почти удалось справиться с волнением, и я просипел в трубку:

— Здравствуй, Валя.

— Здравствуйте... Ой, это ты, Ванечка! Ты куда запропал? Где ты сейчас?

— Далеко, — отрешённо произнёс я, решив отложить с ней встречу, потому, что не был к ней готов.

— Где это далеко? — жалобно пролепетала Валя. — Когда ты приедешь? Ты что, уехал из города?

— В каком-то смысле уехал, — я попробовал лавировать, но сразу понял, что это ни к чему. — Вернее, меня увезли.

— Тебя что, посадили? — прошептала она и жалобно всхлипнула.

— Ну, не посадили, а точнее сказать, закрыли на принудительное лечение в ЛТП.

— Вот беда! — сказала Валя, но по голосу чувствовалось, что пьяную зону она посчитала не такой уж страшной и безнадежной, как лагерь для уголовных преступников.

— К тебе можно приехать на свидание?

— Не вздумай! — почти закричал я. — Во-первых, мы не сможем нормально провести время, во-вторых, я не готов тебя видеть. Да и ты толком рассуди, зачем я тебе нужен, бездомный пропойца, у которого нет ни денег, ни здоровья? Я для тебя обуза!

— Хорошо, хорошо, — стала меня успокаивать Валя. — Я приеду к тебе, когда будет можно. Но от моих писем ты не откажешься?

— Зачем это тебе?

— Я тебя люблю, Ваня. Продиктуй адрес. Что тебе можно выслать посылкой?

— Не знаю, — сказал я. — У тебя, что, есть лишние деньги?

— Немного, но есть. Я сейчас веду часы в планово-экономическом техникуме.

Разговор с Валею меня так взволновал, что ещё немного, и я не выдержал бы и разрыдался.

— Я должен положить трубку. Моё время кончилось.

— Целую, люблю, люблю, — донеслись, замирая, из трубки слова Вали, и у меня из глаз брызнули слёзы, которых я не стеснялся, ибо знал, что нужно выплакаться, чтобы вернуть душевное равновесие.

За тонкой дощатой дверью мастерской послышался голос Стекольников, лениво ворчавшего на кого-то из форматоров:

— Когда перестанешь винить лопать? Ты будто с цепи сорвался. Новый год успел на месяц состариться, а ты так и не просох от радости. Поделись со мной, почему тебе так весело живётся?

Заскрипели ступеньки крыльца, и я поспешил скрыться в яму, чтобы не рисоваться перед Стекольниковым своей мокрой от слёз рожей. Набив мешок глиной, я вытолкнул его наверх, а оттуда послышался голос Григория Аверьяныча:

— Повезло тебе! Два блока «Опала» ухватил. Доволен?

— Конечно, — отступив в тень, сказал я.

Стекольников заскрипел пружинами дивана, и над ямой заколебалась тонкая кучерявая полоска табачного дыма.

— Перед Новым годом барышня ко мне заглядывала, спрашивала о тебе. Я, конечно, ничего не сказал. Хорошая женщина, красивая даже, по-своему, конечно. Ты знаешь её?

— Знаю, да что толку?

— Что толку, говоришь? — оживился Стекольников. — Она тебя любит, а это не толк, а счастье, которое бывает далеко не у всех людей.

Я вытолкнул наверх десятый мешок с глиной и решился выглянуть из ямы. Григорий Аверьяныч лежал на диване с газетой в руках.

— Перестройка! Перестройка! — ворчал он. — Россия соскучилась по счастью. Так что ли надо понимать весь этот бред?

Я был бесконечно далёк от политики, газеты не читал, радио не слушал, поэтому оставил вопрос без внимания.

— Что ж ты, Григорий Аверьянович, не поинтересовался, какую композицию я решил водрузить на фонтане?

— Я никогда не лезу в чужие дела, — Стекольников бросил газету в ящик для мусора и спрятал очки в кожаный футляр. — Поделись творческим замыслом.

— Какой там замысел! Сделаю дельфина, чтобы не ломать голову. Вроде того, что мы поставили в училище.

— Вижу, что ты взрослеешь, — заявил Стекольников. —

Набрался опыта и понял, что не надо выдумывать того, что скульптурной практикой не опробовано. А дельфин, он и в древней Греции дельфин.

В ЛТП я порядком подрастерял уверенность, с которой, бывало, предъявлял на суд художественного совета свои эскизы и модели, иногда даже очень слабые. Но Григорий Аверьяныч несколькими словами избавил меня от мандража, который я начинал ощущать только от мысли, что моего дельфина надо будет показывать таким непредсказуемым ценителям прекрасного как майор Жернаков и замполит.

— Скульптор глину должен беречь, — назидательно произнёс Стекольников. — Кажется, ты уже набрал лишнего. Но не будем мелочиться. Чем я ещё могу тебе подсобить?

— Купи мне ещё какой-нибудь жратвы, Григорий Аверьяныч.

— Добрым хочешь быть за мой счёт, — хмыкнул он. — Что-то я не встречал ни одного алкаша, а их тут вокруг меня полно, чтобы он помнил добро. Сегодня дашь ему полтинник, завтра он ломится к тебе в дверь за рублём.

— Я заимел мастерскую и у меня появился помощник, боголюбивый такой дедок...

— Странный бред у тебя, Ваня. Что, он боголюбивый пропойца?

— Давно уже нет. Но он мне объяснил, что пьянство душу не увечит, однако покрывает её копотью.

Григорий Аверьяныч задумался, разминая пальцами сигарету, закурил и глянул в мою сторону.

— Может быть, так оно и есть у пьяниц. А вот чем закопчены мозги у таких трезвенников как Горбачёв и Лигачёв?

Я пожал плечами и стал подтаскивать мешки с глиной поближе к двери, где сложил их невысоким штабелем. Стекольников надевал полушубок и никак не мог попасть рукой в рукав. Я ему подсобил, затем закрыл крышку ямы, взял веник и подмёл часть пола, где намусорил.

— Мне надо в худфонд, — сказал Стекольников. — Вернусь

часа через два. Если меня не дождёшься, то захлопни дверь. Вот тебе деньги. Бери, я знаю, что человек без денег — хуже собаки.

После ухода хозяина мастерской я какое-то время сидел на диване, разглядывая грязные дождевые потёки на потолке и стенах, затем потянулся к телефону, чтобы позвонить Вале, но, поколебавшись, положил трубку на место. Да и что мог сказать, что пообещать человек, не принадлежащий самому себе? До прихода машины оставалась ещё пара часов, можно было прошвырнуться по центральной улице города, даже встретить знакомых, но меня совсем не тянуло в толпу, к людям. Да и зачем? Чтобы они шарахались от моего казённого вида, а именно так я и выглядел со стороны: в чёрной шапке, чёрной куртке, чёрных ватных штанах и сапогах, железно гремящих подковами по асфальту, вдобавок — затравленный взгляд отверженного существа, внушающий обывателю опасение, что я могу в любой миг на него накинуться, злобно обляять, а то и тяпнуть своими давно нечищеными зубами за мягкое место.

Во двор въехала машина, я высунулся в дверь: «газон» с досками, спросил у шофёра, сколько сейчас времени, оказалось, что начало четвёртого и, облегчившись в сугроб возле крыльца, вернулся в мастерскую, где предался сначала чаепитию, а затем дремоте на давно освоенном мной продавленном диване.

Элтэпэшный водила был точен, он помог мне побросать мешки с глиной в салон «уазика», и я попросил его завернуть на рынок.

— Толкнуть что-нибудь собрался? — предположил шофёр.

— Там видно будет, — сказал я. — Если найдётся покупатель на глину, то торговаться не станем.

— А что, на неё есть спрос? — водила через плечо глянул назад.

— Нам она нужна, стало быть, и другим может понадобиться.

На рынке меня интересовали не торговые ряды, они к этому времени уже были пусты, а кооперативный магазин, в котором я во время семейной жизни был частым посетителем. Продавщица, с которой, бывало, расшаркивался при встречах

на улице, меня не узнала и подозрительно оглядела полусотенную бумажку, полученную от субъекта, смахивающего на бомжа, за три банки говяжьей тушёнки, кило гречских орехов, кило венгерского сала и два больших бумажных пакета — один с овсяными пряниками, другой с конфетами. Покупки сложил в сетку-авоську, которая дождалась меня на гвозде стекольниковской мастерской, куда я её повесил, освободив от вина и закуси, полгода назад.

— Да ты никак разбогател! — воскликнул водила. — Это надо обмыть, братан.

Я пропустил эту дурацкую шутку вольняшки мимо ушей, сел на переднее сидение и благополучно прокачался на нём до своего убогого обиталища. Дежурный прапорщик мельком оглядел мои покупки, угостился конфетой и открыл ворота.

Ерофей Кузьмич ещё трудился над изготовлением ящика для глины, но с этим пока можно было не торопиться. Мы перетасили мешки в мастерскую, я развязал авоську, и мой помощник поспешил наполнить кастрюльку водой для чая. На огонёк к нам заглянул Гречкин, потоптался возле порога, повздыхал, угостился сигаретой, присел на стул в надежде пристроиться к нашему чаепитию, но в зрительном зале закончился фильм, в клубе стало шумно от топота сотен кирзовых сапог и многоголосия, и начклуба пришлось нас покинуть.

— Ты, что-то, Ерофей Кузьмич, какой-то потерянный? — сказал я, заметив, что старик чем-то удручён.

— Беда у меня: капитан Шишков проведаль, что у меня есть иконка и учинил обыск. Образок арестовал, то есть забрал себе.

— Может, он молиться надумал? — неловко пошутил я. — Поиграется и отдаст, а может он примеряется, как из замполитов в попы скакнуть.

— Зачем ты так зло шутишь Ваня, — тихо молвил Бывалин. — Церковь много перетерпела от таких, как Шишков. Но вечно это продолжаться не может. Уже и в газетах пишут, что патриарх встретился с Горбачёвым, и решается вопрос о

праздновании тысячелетия крещения Руси. У нас в области восстанавливают архиерейскую кафедру, вот-вот прибудет епископ.

— Так что ж ты об этом не сказал замполиту? — удивился я. — Он обо всех этих изменениях не знает, так просвети капитана.

— Ты думаешь? — Бывалин стал разливать чай по кружкам. — Нет, уж лучше я погожу, пусть его Горбачёв просветит, у него это лучше получится.

Ерофей Кузьмич намеревался продолжить разговор на волнующую его тему, но я вспомнил об обещании Троцкого оставить мне обед для избранных и, вручив две пачки «Опала», отправил в столовую своего помощника. И сделал это без малейших угрызений совести: я, в своё время, когда напросился в ученики к Стекольникову, был у него вроде денщика и с удовольствием оказывал ему мелкие услуги.

— 20 —

В конце февраля стало явственно пахнуть близкой весной: в полдень на солнечной стороне бывало ощутимо тепло, запульсировала алмазными всплесками брызг первая капля, в иные дни хотелось верить, что весна явилась всерьёз и надолго, но, откуда ни возьмись, налетело беспогодьё и разом забелило вьюжными всплесками едва успевшие обозначиться контуры весенней акварели.

Начиналось трудное для меня время межсезонья, когда от частой перемены погоды я чувствую себя разбитым и опустошённым, а иногда со мной происходят странные вещи, и я взглядываю на себя со стороны и вижу, что человек — далеко не венец творенья. Он может сколько угодно вопить о себе как о самом лучшем, самом сильном, но все эти вопли не от большого ума или божественного озарения, а от тщетных потуг скрыть дикий животный страх, что в любой миг может лопнуть нитка, на которой человек подёргивается над бездной, и он, не успев

даже икнуть, провалится туда, где нет ни дна, ни крыши.

В дни предвесенней душевной сумятицы я обострённо чувствую, что и подо мной нет никакой устойчивой опоры, всё зыбко, ненадежно, сиюминутно. В душе, как в печной трубе, начинает что-то похныкивать, поскрёбывать и повизгивать. В прежние времена я заливал этот раздрай водкой, но сейчас был лишён спасительного средства, и мне не остаётся ничего другого, как убеждать себя, что полоса неудобного для жизни времени не бесконечна, что когда-нибудь всё это пройдёт, и я обрету покой и равновесие.

Моё привычно дурное предвесеннее настроение усугубило очередное «приглашение на казнь» от Попова, который устроил вполне языческое представление перед двумя дюжинами лишённых воли принудбольных, с шаманскими выкриками, что нам дурно и тошнотворно. Капитан глядел на меня с восторгом чокнутого, и я ужаснулся тому, что он балдеет оттого, что мне дурно. Где-то я читал, что некоторые зубные врачи иногда приобретают садистские наклонности, но, оказалось, что этому подвержены и наркологи. Но попробуй сообщить об этой догадке вслух, и тебе запросто могут предоставить возможность длительного общения с маньяками и садистами в психбольнице.

Очередную врачебную экзекуцию я перенёс довольно сносно, не стал удивляться, почему душевное повреждение алкоголем лечат издевательством над телом, и постарался смыть «рыгаловку» крепким чаем и работой. И сегодня мне предстояло явить эскиз скульптуры для фонтана самому высокому начальству — майору Жернакову и капитану Шишкову.

За последнее время мой статус в отряде заметно возрос. Получив творческую работу, я выщепился из работяг в некую самостоятельную единицу и хотя своим значением не дотянулся до бугра, но, определённо, сравнялся с хлеборезом и имел реальную перспективу стать равным по авторитету с писарем штаба. Этим успехом я был обязан Гречкину, который прямо-таки вынудил меня сделать цветными карандашами рисунок своей возлюбленной — продавщицы нашего лабаза. До того как

вручить портрет Гречкин размахивал им направо и налево, и всему контингенту стало известно о моих способностях, потому что я из рыжей конопатой мымры сотворил красотку, отдалённо смахивающую на диву советского музона, о которой недавно была снята кинематографическая нетленка.

После такого успешного дебюта, ко мне, как в лабаз за куревом, мгновенно выстроилась очередь из состоятельных принудбольных, но я к счастью, не поглупел от успеха и положил себе делать не больше трёх портретов в месяц, чтобы заказчики чувствовали уважение к моему труду и платили по-настоящему. Сейчас у меня вылеживался портрет для повара, обслуживающего руководство, и не позднее, чем сегодня, я собирался порастрясти его по полной программе на предмет хавки и курева.

Выяснив, сколько сейчас времени, я заторопился: за полчаса надо было побриться, умыться, сбежать в столовку за утренней пайкой, позавтракать, прибраться в своём ателье и подготовить эскиз для показа. Хотя дельфин был опробован как ведущая часть скульптурной композиции в танковом училище, и вояки от него были в восторге, некоторые опасения, что менты работу зарубят, у меня имелись. Обнадёживало лишь то соображение, что по количеству дундуков оба ведомства были примерно равны, и что понравилось воякам, то должно было приглянуться и ментам.

Бывалина сегодня решили мобилизовать на рытьё канавы, и как я ни возмущался, прапорщик-зампохоз — тот ещё овчара — не освободил моего помощника, но Ерофей Кузьмич уже сам научился себя спасать и объявил, что ему надо в больничку, и так скривился, что тут же был записан в книгу нуждающихся в медицинской помощи.

— Выздоровливай! — сказал я ему и поспешил к начальнику отряда узнать, когда мне ждать прихода высокой комиссии.

— Через часок будем, — пообещал лейтенант. — Сейчас у нас политчас, после него и глянем, что ты там накумекал.

Я пришёл в мастерскую, включил свет, разделся, затем

освободил эскиз от полиэтиленовой плёнки, в которую он был замотан, взял бутылку с водой, побрызгал на дельфина и, закурив, сел на диван. Я уже давно не сталкивался с заказчиком, но не забыл, что в своём большинстве это капризное и недалёкое существо, обращаться с которым нужно с великой осторожностью. Он приходит на просмотр эскиза, не зная, что ему предъявит исполнитель, и предполагает увидеть почти готовую работу, а скульптор показывает эскиз, в лучшем случае — полуметровый, без всякой привязки к местности, и у заказчика мигом возникает мысль, что его хотят надуть, и он начинает капризничать и задавать дурацкие вопросы.

Мой дельфин был заказным только в виртуальном смысле. Но заказчики были натуральными, с погонами, при власти и могли явить такие изгибы своего ментовского ндрава, что мало не покажется. Однако, я бодрился и убеждал себя, что работа должна пройти элтэпэшный худсовет без серьёзных замечаний, и строил в уме подобие речёвки в защиту своего творения, но меня прервал Гречкин.

— Ты здесь? — спросил он громким шёпотом. — Идут! Вся головка, сам майор Жернаков!

Я подхватился с дивана, обшарил взглядом мастерскую, нет ли где на полу окурков, ещё раз проверил, правильно ли освещена работа, затем кинулся к зеркалу, встормошил пальцами прилипшие к голове жирные волосы, расчесал их расчёской, подобием улыбки подбодрил себя и занял место рядом с эскизом.

Наше начальство ходило громко, и его передвижение по коридору донеслось до меня погромыхиванием кованых сапог, затем грозным разносом начклуба за какое-то упущение, замеченное начальником ЛТП. Но вот волна шума докатилась до моей двери, она распахнулась на всю ширину, и в неё вошли, согласно служебному ранжиру, майор Жернаков, капитан Шишков, лейтенант Зубов.

В загоне меня научили занимать неподвижную позицию при появлении начальника, и я замер по стойке «смирно», что было

оценено руководством весьма положительно, и майор Жернаков вполне дружелюбно прохрипел:

— Показывай, что ты тут такое натворил!

Я, не скрою, засуетился, что скульптору, дабы не уронить себя в глазах заказчика, категорически противопоказано. К счастью, это проявилось только в моих жестах и беготне вокруг скульптуры, а от жалкой трепотни меня спасла немота, в которую я впал от присутствия сразу трёх начальников, а они при виде моего шедевра погрузились в столь глубокую задумчивость, что потревожить её было бы с моей стороны неосмотрительно.

Жернаков несколько раз обошёл эскиз, пожевал губами и зачем-то одним пальцем коснулся дельфина.

— Неужели пластилин? — удивился он.

— Вы совершенно правы, — с угодливой поспешностью сказал я. — Пластилин. Он, на мой взгляд, смотрибельнее глины.

— Как ты сказал? Повтори.

— Я говорю, что пластилин лучше смотрится в эскизе, чем глина. Он смотрибельнее.

— Запомни, Зубов, да и ты, Шишков, намотай себе на ус, что даже у скульпторов эта смотрибельность на первом месте. А я от тебя, Зубов, никак не добьюсь, чтобы спортгородок покрасил.

— Снег сойдёт, и покрасим, — сказал лейтенант.

— Чтобы не делать, причина всегда найдётся, — назидательно проговорил Жернаков. — А у нас рядом шоссе союзного значения. По нему много кто проезжает, и наш генерал тоже. И ты прикажешь мне, Зубов, краснеть перед ним, когда ему взбредёт в голову нас посетить?

— Сделаем, товарищ майор! — щёлкнул каблуками начальник отряда. — Завтра всё будет в спортгородке сиять, как котовы яйца.

Взгляд начальника вернулся к эскизу, он ещё раз обошёл его вокруг и засомневался.

— Чего-то тут не хватает. На рыбокомбинате это было бы к месту, а как бы нас не спросили: зачем здесь рыбина?

— Это не рыба, — сказал замполит. — Дельфин относится к млекопитающим. У него очень хорошо развит мозг, они друг с другом переговариваются...

— Стоп! — воскликнул майор. — Этой информации достаточно. Нужно в фонтане поставить не одного, а двух дельфинов, чтобы они друг с другом переговаривались. Мы с замполитом всегда заодно, а ты как, Зубов, за?

— Надо скульптора спросить, — напомнил начальству обо мне лейтенант. — А я так, воздержусь.

— А ты что помалкиваешь? — дёрнулся в мою сторону Шишков. — Принимаешь предложение майора?

— Можно и двух поставить! — поторопился согласиться я, опасаясь, что меня заставят лепить стадо дельфинов. — Но это потребует вдвое больше времени.

— Оно у тебя есть, — снисходительно сказал Жернаков. — Тебе сколько осталось?

— Полтора года.

— Ну, вот, о времени тебе можно не беспокоиться, — майор окинул меня взглядом, в котором проблеснуло нечто сочувственное мне. — Ты уж постарайся, а мы поглядим, как распорядиться твоей судьбой. Я своё слово всегда держу, или про меня говорят другое?

— Все считают вас правильным начальником, — сказал я чистую правду, потому что хозяина загона для отверженных его обитатели уважали не страха ради, а потому что он поступал по справедливости, как её понимало наше сообщество.

Получив подтверждение тому, в чём он был всегда убеждён, майор, сверкнув вызолоченной пастью, добродушно осклабился и подытожил:

— Значит, так и решим — фонтан будет с двумя дельфинами.

Он уже повернулся, чтобы выйти из мастерской, но его внимание привлекло нечто, завёрнутое в грязную тряпку.

— А это что такое? — насторожился Жернаков.

— Голова.

— Чья голова? А ну покажи!

Я размотал укрытую сырыми тряпками почти законченную глиняную голову своего помощника, которую вылепил для того, чтобы попрактиковаться и размять пальцы.

— А это кто такой? Что за деятель?

— Старичок, мой помощник, из нашего отряда.

— Надо же! — удивился Жернаков. — Я подумал, кто-то из писателей.

— Это ещё тот фрукт! — узнал Бывалина замполит. — Я у него недавно икону изъял.

— Даже так! — ещё больше удивился Жернаков. — Я на своей памяти в своём учреждении верующих не встречал, все сплошь атеисты. Ну и как, похож?

— Один к одному, — сказал лейтенант. — Но ты, Конев, самодеятельностью не занимайся, если надумаешь кого-то сделать, посоветуйся с руководством.

— Вот это правильное замечание! — оживился замполит. — Кандидатуры согласовывай со мной и точка.

— Одну мы можем сейчас согласовать, — сказал Жернаков. — Ивану Федотычу скоро пятьдесят пять. Дата, конечно, не круглая, но он уважаемый человек, и ему скульптурный портрет стал бы достойным подарком.

Это была дельная мысль, я сразу понял, что подарок судьбе важен и для меня, и поторопился изъять своё рвение.

— Бюст можно затонировать под бронзу и подарок будет выглядеть дорогим и достойным. Но мне нужно, чтобы товарищ народный судья попозировал мне хотя бы разок.

— Это мы решим, — сказал Жернаков. — А этого деятеля ликвидируй.

На это дурацкое приказание я отреагировал как должно: изобразил на своей роже почтительную покорность, стал совершать верхней частью тела колебательные движения, которые можно было принять за полупоклоны, забормотал, что немедленно исполню всё, что мне велено, и чуть-чуть не

брякнул, что рад находиться в учреждении, которым руководит столь гуманная и во всех отношениях светлая личность как майор Жернаков. Скорее всего, и ляпнул бы нечто подобное, но не успел, начальство заторопилось, и я остался стоять столбом посреди комнаты, пока не пришёл в разум, и, плюнув в сторону порога, закрыл дверь на засовчик и подошёл к голове. С ней надо было что-то делать, пока на неё кто-нибудь снова не замахнулся, тот же капитан Шишков.

«Интересно, что он сделал с изъятой у старика иконой? — думал я, покрывая глиняную голову слоем гипса, чтобы снять с неё форму. — Может быть, запер её в свой сейф вместе с партийными директивами и прочей идеологической макулатурой, а может, расщепил её на лучинки и сжёг перед портретом Горбачёва, на котором мистическим образом исчезло с головы генсека родимое пятно, очень похожее по очертаниям на Северную Америку...»

Разыграться моему воображению помешало настойчивое побрякивание в дверь. Я одним пальцем откинул крючок и вернулся к гипсовому раствору, который очень быстро схватывался, а в комнату вошёл Гречкин и заказчик рисованного портрета, пожалуй, самый привилегированный человек в ЛТП, повар Афонькин, питавший офицерский состав и важных пациентов учреждения обедами. Он был одним из самых известных ресторанных умельцев нашего города, который иногда наступал на пробку от шампанского и впадал в запой, но пил он не водку или вино, а только свадебный напиток, и был так привередлив, что в рыгаловке для высокопоставленных особ получал от капитана Попова фужер этого искрящегося напитка, чтобы затем опрокинуть его в алюминиевый тазик вместе с остальным содержимым желудка.

Афонькин выгодно отличался от нас тем, что одевался не в чёрную спецуху, а носил своё — ловко сидевшую на нём дублёнку и пыжиковую шапку, а из-под мохерового шарфа выглядывал воротничок белой рубашки.

— Мы с вами договаривались на сегодня, — сказал он, настойчиво выпроваживая Гречкина за дверь, чтобы тот не подглядел рисунок.

— Раз договаривались, значит всё готово, — сказал я. — Мне надо вымыть руки.

Этот заказ я заключил в рамку, которую сделал мне столяр за пачку сигарет, а сам рисунок имел один секрет, который Афонькин мне сформулировал, когда заказывал работу.

— Марго — женщина исключительная. Она завпроизводством нашего ресторана, умница, деликатная, у неё прекрасная фигура, чистое лицо, но есть один нюансик: надо бы ей увеличить глаза, видите, они мелковаты, и её это страшно смущает. Вы угодите мне, я ужогу вам, договорились?

В творческом отношении я всегда считал себя личностью широких взглядов, к тому же не был лишён доброты, и мне не составило труда, мягко говоря, слегка приукрасить Марго, которая, если судить по фотографии, была коренастой особой, с глазами величиной с арбузное зёрнышко. Моя задача по улучшению дамы сердца Афонькина осложнялась тем, что нужно было не только снабдить её дивными очами, но оставить её похожей на саму себя, то есть сохранить сходство фотографии с рисунком. Кажется, мне это удалось, потому что Афонькин не смог скрыть радость и чуть не чмокнул меня в щёку, но я ждал от него другого и получил четвертную, а также настойчивое приглашение отобедать по-офицерски.

— А это удобно? — заколебался я.

— Неудобно штаны через голову надевать! — резонно возгласил Афонькин и, подхватив меня под руку, повлёк из клуба к КПП, где дежурный прапорщик любезно открыл перед ним железную вертушку и снисходительно посмотрел на его спутника.

— Что там сегодня на обед? — осведомился дежурный.

— Борщ на мясокостном бульоне, котлета по-киевски с картофельным пюре, кофе со сливками и ватрушка с творогом.

— Крепко! — обрадовался служивый. — Так жить можно.

По левую сторону от ворот начиналась асфальтированная дорожка, по ней мы и отправились с Афонькиным к благоустроенному барaku, половину которого занимали помещения для приезжих и холостых офицеров, а на другой находился пищеблок, состоявший из столовой, кухни и подсобных помещений. Здесь Афонькин был полным хозяином, и по его мановению для меня был организован стол, на котором стоял уже объявленный на сегодня обед, а на другом — Афонькин готовил для меня продуктовый набор из колбасы, сыра, сгущённого молока, конфет, печенья и нескольких яблок. Всё это он увязал в пакет из плотной бумаги, дождался, когда я отобедаю, и проводил меня до клуба, чтобы его подарок не попал в лапы какого-нибудь ретивого прапорщика.

Подходя к клубу, я заметил, что в окне кабинета Гречкина метнулась тень, и усмехнулся: ведущая культурная единица ЛТП поджидал моего прихода, чтобы попользоваться дарами повара-гастронома Афонькина.

— Как там поживают обитатели «дворянского гнезда»? — спросил, искательно поглядывая на пакет, начальник клуба.

— Я никого не видел, по почему — «дворянское гнездо»?

— Объясню для непонятливых, — Гречкин неназойливо начал теснить меня в сторону своего кабинета. — Ты побывал на кухне, а с другой стороны здания находятся шикарные номера для самой высшей номенклатуры, и не только местной, но и столичной.

Воспользовавшись моей растерянностью, начклуба подтолкнул меня к порогу своего кабинета:

— В самый раз и чаёк вскипел! У меня есть сахарок и пачка печенья, а у тебя?

— Кое-что есть, — невольно улыбнулся я. — Сознаюсь, клиента ты мне подогнал не жмота.

— То ли ещё будет! — Гречкин кинулся разливать чай. — Вот ты и поглядел издали, где лечатся большие, не нам чета, люди. Нас по решению суда под конвоем привезли, а они на персональных «Волгах» прибывают. Гостиница оборудована по

высшему классу: люксовая мебель, холодильники, телевизоры, свежие газеты, журналы. Нас к капитану Попову прапорщик, как меня давеча, волокёт, а к этим он сам на цырлах является, по какой-то особой методике лечит, гипнозом, дефицитными лекарствами, питание по заказу, что душа пожелает, поэтому Афонькин, и глазом не моргнув, так щедро с тобой рассчитался.

— Кое-что и на твою долю есть, — я взялся за пакет. — Пойдём в мастерскую, так и быть поддержку колбаской твоё расшатанное здоровье.

– 21 –

На следующий день, в соответствии с пожеланиями моих высокоавторитетных заказчиков, я принялся работать над эскизом, что заняло довольно много времени. Ерофей Кузьмич помогал мне здоровыми советами. Он полностью освоился с обязанностями помощника скульптора, которые были необременительны, и чтобы не скучать, занимался делом, привычным для себя: отремонтировал мои сапоги, из кожаных обрезков пошил комнатные тапочки, чтобы я не стучал сапогами по полу и покоил ноги в мягкой обуви.

Я ему напомнил, что не худо было бы угодить нашему бугру, и Бывалин намёк понял и взялся шить тапочки для Михайлыча, которые мы ему вручили, пригласив старого в мастерскую, где устроили в честь этого события чаепитие.

Бугор подарка не ожидал и заметно расчувствовался, во всяком случае, его мутные глаза увлажнились, но скорее всего это случилось от чая, которого Михайлыч выпил четыре кружки, умяв последние две пачки печенья из подарка Афонькина. Меня это не огорчило: на подоконнике стоял уже готовый портрет дамы сердца кладовщика общей столовой, что сулило пополнение запасов продуктов в самые ближайшие дни.

— Жить можно, Ваня! — сказал Ерофей Кузьмич, проводив бугра и запирая дверь мастерской на засовчик. — Мы с тобой

где угодно проживём, потому что у нас в руках есть профессия. Как ты назвал наше жилище: загон для отверженных?.. Что ж, похоже, но и здесь жить можно. Худо только, что замполит иконку у меня отнял, без неё как-то сиротно.

— А разве без иконы молиться нельзя?

— Я молюсь про себя.

— Что так? — удивился я. — Молись в голос, но чтобы Гречкин не слышал, и дверь запирай.

С тех пор я иногда работал под молитвенное бормотание Бывалина. Какого-то порядка в молениях он не придерживался, бывало, по несколько раз за день становился на колени, оборотившись головой на восход солнца, а в иные дни и лба не перекрещивал ни разу. Я всё это примечал, но не задумывался над тем, что происходит со мной рядом. Меня занимали дельфины и надежда, что они помогут мне выбраться из этого проклятого людьми и забытого богом мёртвого дома.

Скоро началась обычная в наших краях неспешная, можно даже сказать, сиротская весна. Вроде и солнце грело, и снег сошёл, но до первой зелени было ещё не близко. Нагая земля ещё находилась во власти зимнего холода, который был достаточно силён, чтобы не выпускать её из своих объятий. Сколько я себя помню, эти дни всегда были для меня трудными, я ощущал в груди сосущую, чем-то похожую на чувство виноватости, неприкаянную тяжесть и приближение чего-то скверного и грязного, которого мне не избежать, как бы я не пытался от него спрятаться. Это было приближение судьбы, она надвигалась на меня так же неумолимо, как танк на пехотинца, нависала над моей головой, но я не знал, когда она схватит меня за шиворот и протащит, как дратву сквозь подмётку, сквозь выпавшую мне беду, награждая тело ссадинами, а душу — занозами.

Днём от дурных мыслей и предчувствий меня отвлекала работа, но по ночам на верхней койке, когда я оставался наедине с собой, меня, нет-нет, да обжигала догадка, что моя жизнь, до её последней точки, определена заранее, и нет никакого смысла

дёргаться на ниточке, которой она привязана неведомо к чему, куда-то спешить, на что-то надеяться, и если есть кто-то, кому небезразлично, как я живу, то это Валя, от которой я получил уже с десятков писем, но ответил только одним, чтобы её успокоить и сообщить, что жив-здоров настолько, насколько это позволено моим начальством.

В подобном возбуждённом состоянии пребывали и мои товарищи по несчастью, и нервная атмосфера, то есть те брызги и всплески энергии, которые мы излучали особенно сильно, когда бушевала непогода, сгущались иногда вокруг нас настолько плотно, что без всякой причины вспыхивали ссоры, порой кто-нибудь, словно, срывался с цепи и бросался на каждого, кто на него не так глянет, и вспыхивала драка, жестокая и беспощадная, когда в ход шли табуретки, железные ручки кроватей и сбитого на пол противника более сильный мог забить ногами до смерти, но Михайлыч всегда поспеивал успокоить драчуна ударом в лоб деревянной киянкой, которую держал для экстренных случаев под матрасом.

Чаще всего бугру приходилось отправляться со своей колотушкой в дальний от входа угол казармы, где устроилась кодла Хорька, там постоянно случались разборки, с которыми не мог совладать даже главарь. «Опять хипеш!» — серчал бугор и начинал махать дубовой киянкой, после чего на какое-то время воцарялась тишина, и можно было сомкнуть глаза и прислушаться к самому себе.

В последнее время меня всё чаще начинало мучить раскаянье: что ни вспомню из своей жизни, так вздрогну от стыда и почувствую: ведь этого могло и не быть, если бы не моя пьянь, безалаберность, пофигизм и бесчувственность к тем, кто меня искренне любил, в первую очередь, к Вале. Теперь я понимал, что её замужество не было изменой, теперь я признавал за ней право поступить так, как она поступила, да, она обожглась, но чем лучше её замужества моя женитьба на Зинке? У Вали хотя бы есть дочь, а у меня от родного ребёнка только запись в паспорте и алименты, которые Зинка не

замедлила востребовать после того, как у меня в гостях побывал Беркутов.

В прежней жизни я иногда тоже испытывал раскаянье за свои дурные поступки, но оно было поверхностным, быстро забывалось и не оставляло о себе памяти. Незначительные всплески совести не могли растормошить мою душу, которую я до смрадной черноты прокоптил пьянством, и только попав в загон для отверженных, она стала понемногу самоочищаться. Но мне было ещё бесконечно далеко до того, чтобы моя испачканная грехами душонка ожила и в полной мере обрела способность к стыду и раскаянию.

Лишь иногда из её глубины, без моего зова, выплывало то, что я, казалось, забыл навсегда, и напоминало, например, о том, что случилось давным-давно, в шестом классе, когда у одноклассницы я сорвал с головы платок, и все увидели, что она подстрижена наголо, потому что переболела тифом. Я вспомнил об этом и так ясно увидел её искажённое плачем лицо и огромные наслезенные глаза, что мне стало невыносимо стыдно, но извиниться перед ней я уже не смогу никогда. Эта девочка вскоре умерла, а я, вместо того, чтобы пойти на её похороны, отправился с друзьями в лес, зорить грачиные гнёзда, то есть совершать ещё одну жестокость, теперь по отношению к полезным для человека птицам. И много ещё чего дурного я совершил в детстве, потому что не понимал разницы между хорошим и плохим, мать меня жалела, воспитывала только словами, а надо было братья за ремень, пока я ещё лежал поперёк лавки...

Будучи лет пяти я вбил себе в голову, что у меня должна быть собака, но не деревенская дворняжка, а обязательно породистая. Высокая, длинноногая поджарая, словом, борзая. А где такую собаку в посёлке взять? Однако помог случай. Иду я раз по улочке к нашему дому и слышу — плач не плач, писк не писк. Подошёл поближе, развернул листья лопухов и увидел крохотного щенка. Рассмотрел я его со всех сторон и вижу, что это как раз то, что мне нужно. Ну, всем чисто борзая: и ножки

тоненькие, и живот подобран, щенок, конечно, но ведь вырастет, станет моей охотничьей собакой.

Мама осмотрела мою находку и сказала: «Это клоунская собака. Давече цыгане проезжали, они и оставили. И на кой ляд тебе эта замухрышка?»

Я упросил маму, и Динка, так я её назвал, осталась в доме.

Динка была весёлая, понятливая собачка, голос, словно звоночек, кто мимо хаты близко пройдёт — облает, а если в сени зайдёт незнакомый человек, так кидается и норовит за головки обуви укусить, выше она не доставала.

Я стал задумываться: не растёт моя Динка, кот и тот выше и здоровее собаки, но что делать, какая есть. Спала она со мной, зимой на улицу выскочит на минутку и сразу начинает лапы поджимать. Зато вечером целые концерты устраивала: на задних лапах ходила, через палку прыгала, в кольцо, обувь приносила. А соберутся бабы отмечать праздник и взгрустнут по погибшим, запоют, а она подвывает, подвизгивает, но в меру, и пения не портила.

Весной Динка освоила наш двор и его окрестности. Петух у соседей был матерый, отчаянный хулиган, так она быстро научила его себя уважать. Летом со мной на речке пропадала, с мамой в лес по ягоды ходила.

На третьем или четвёртом году подвела её привычка облаивать проходящие машины: попала под колесо. Придавило её крепко, она с трудом доползла до порога, где я её и нашёл. Перевязал, раны стрептоцидом присыпал, положил на подстилку. Так нет, куда-то исчезла. Мы её с мамой обыскались, нашли в огороде, в картофельной ботве, еле живую. Решили не трогать, собаки ведь травами лечатся, только принесли ей воду.

И что? Пришла Динка домой недели через три, здоровая. Правда, прихрамывать стала слегка на левую заднюю ножку. Ни красоты, ни прыткости эта травма у неё не убавила. Ведь смех и грех с этими собачьими свадьбами. Как начнётся собачье жениховство, так обязательно весь кобелиный обоз и к нам

завалится. Все псы здоровые, как телята, норвят к Динке пристроиться и не могут. Так у неё щенят никогда и не было.

Шло время, мне, оболтусу, исполнилось двенадцать лет, а Динка часто болела, хрипела, кашляла, как старушонка, хотя для собаки семь лет — это ещё не старость. Я бегал играть в лапту, футбол, возвращался домой поздно, словом, совсем забросил собачонку.

Но что меня подтолкнуло убить её, утопить, я до сих пор не понимаю. Затмение какое-то нашло, помутнение рассудка. Ведь она никому не мешала, не провинилась ни в чём и вдруг — бах! — такая дикость, как это убийство. Я правду говорю, что не помню, как на это решился, а сам этот проклятый день помню, ещё как помню.

Я сидел во дворе на бревнах и ремонтировал велосипед, а Динка крутилась возле меня, мешала приклеить заплатку к велосипедной камере. Помнится, я несколько раз оттолкнул её ногой, но она не уходила. Я заправил камеру в шину, поставил колесо на место, и вдруг меня пронзила эта дикая мысль — избавиться от Динки. Это решение не показалось мне ужасным, а самым обыкновенным. Я взял кирпич, верёвку, прикрепил их к багажнику, подхватил Динку на руки и поехал к болотцу за околицей. Динка дрожала всем тельцем и заглядывала мне в глаза, она не пыталась вырваться, но лишь потом я понял, что она всё знала. И её взгляд безмолвно и отчаянно вопрошал: «Зачем? За что?..»

Но даже безмолвный вопль существа, с которым я бок о бок прожил половину своей тогдашней жизни, не пробудил во мне ни малейшей капли жалости. Я, помнится, лишь заторопился поскорее покончить со всем этим поскорее. Кое-как привязал кирпич к тщедушной шее собачонки и швырнул её в болото. Однако, к моему ужасу, она не утонула, а забила передними лапами по болотной жиже изо всех сил. Динка не визжала, а только неотрывно глядела на меня и плакала. И даже в этот миг я не одумался, а стал швырять в неё камнями, пока она не скрылась в вонючей воде.

И вот впервые осознание своего ужасного поступка явилось ко мне, когда я почти дожил до сорока лет, на верхней койке барака для отверженных. Конечно, я сразу не поддался чувству раскаянья, убеждал себя, что всё это ерунда, дескать, вспомнил и забуду снова, но чем сильнее я гнал от себя воспоминание об убийстве Динки, тем оно сильнее занозило мою душу, и я поделился своей бедой с Бывалиным.

— То-то я и гляжу, что ты какой-то смурной, Ванюша, все эти дни, — помолчав, сказал Ерофей Кузьмич. — Горевать тут не о чем, радоваться надо.

— Чему же радоваться? Я уже подумываю, а не звоночек ли это из психушки.

— Правильно говоришь, что звоночек, только оттуда, — Бывалин поднял указательный палец вверх, а затем перекрестился. — Это ты бога не помнишь, а он тебя не забыл и своей любовью подвинул к покаянию. Это такое счастье, которое случается далеко не с каждым.

Последние слова Ерофей Кузьмич произнёс с торжественной интонацией, и взгляд его исполнился благодати. Он перекрестился и прошептал:

— Соверши тоже самое во славу господа.

Я был крещёным и, конечно, знал, как нужно осенять себя крестным знаменем православному, но мой ум занимало другое:

— А он меня простит?..

Внутренние разборки с совестью долго не оставляли меня и напрочь заслонили выполнение заказа. Я ходил в мастерскую, иногда разворачивал эскиз, спрыскивал его водой, вновь закрывал мокрой тряпкой и ложился на диван, откуда поглядывал, как Ерофей Кузьмич занимается починкой или гнёт спину в молитвенных поклонах. Внутренне я уже

присоединился к нему, но вот так прямо заявить своим поведением, что уверовал в господя, я не мог. Этому мешала вся моя прожитая жизнь, которая так замусорила душу ложью, что в ней едва ли теплился свет, зажжённый благодатным святым крещением.

Советская власть отменила бога на всех этажах развитого социалистического общества — от политбюро ЦК КПСС до ЛТП и кушетки, на которой я валялся, надсажая свою хилую головёнку размышлениям о том, что уже давным-давно решено самим Господом. И только ему ведомо, что все мы находимся в четверти шага от того, чтобы обратиться в одержимых бесами свиней. Но заметит ли бог в толкотне над обрывом уверовавшего в него поросёнка, каким я и был, если сказать о себе настоящую правду?..

С высот, на которые я вознёсся в мыслях, меня низвергли топот сапог в коридоре и голос Зубова, сделавшего втык Гречкину за какое-то упущение по клубу. Затем дверь в мастерскую распахнулась, начальник обозрел мою припухшую от спанья рожу, и в его сердитом взгляде я прочитал угрозу своему безмятежному существованию.

— Строители уже неделю на фонтане работают вмах, а у тебя и конь не валялся! Где дельфины? Старик без дела не сидит, а ты чем занимаешься? Карманным бильярдом балуешься? Если скульптура не будет готова ко дню Победы, то пойдёшь мыть гальюны!

— Всё будет в норме, товарищ лейтенант, — жалко пролепетал я, похолодев от страха.

— Я, конечно, могу принять во внимание творческое вдохновение, — сказал Зубов, заметно помягчавший оттого, что ему удалось меня утратить. — Но у тебя, Конев, высшее образование, и ты должен понимать, когда можно ваньку валять, а когда надо рыть землю рогом, чтобы из глаз сыпались искры.

— Задержка не из-за меня. Сварщик на выезде, а мне надо сваривать каркас из прутка.

— А ну, пошли в мастерскую! — приказал Зубов и, не дожидаясь, пока я обуюсь, вышел из комнаты.

— Я с тобой, — засуетился Бывалин.

— Сиди уж лучше тут, а то под горячую руку и тебе достанется.

Было тепло, и, поспешая за длинноногим начальником отряда, я быстро вспотел, расстегнулся и снял шапку, почувствовав коротко остриженной головой дуновение тёплого ветерка. Вокруг шли работы по благоустройству: красили заборы и заборчики, мелом покрывали кирпичи цветочных клумб, успели обновить КПП, и он сиял свежей краской: крыша и брама ворот — охрой, сами ворота выкрашены под алюминий, а стены проходной выбелены мелом.

Зубов остановился возле неглубокой круглой ямы, дно которой было покрыто битым кирпичом, и поманил к себе бугра строителей.

— Вот этот раздумай — скульптор, — сказал он. — Будут вопросы, обращай к нему. Когда ты закончишь фонтан?

— Как велено, ко дню Победы.

— Слышал, Конев? И не забудь!

Сварщик работал на выезде, и Зубов насел на начальника мастерской так плотно, что мне стало того жалко.

— У тебя свободный сварочный аппарат есть?

— Есть, а что? — заинтересовался начальник мастерской.

— Товарищ лейтенант, я сварю каркас сам, пусть только они подвезут сварку к клубу.

— Ты можешь варить?

— На каркас и моего умения хватит, — успокоил я начальника отряда. — Ещё мне надо с десятков двухметровых прутков, уголок и две короткие трубы дюйма на два.

В дверь ателье сделанная мной конструкция, похожая на модернистскую скульптуру, пролезла, но оставила на косяке глубокие царапины, которые так взволновали Гречкина, что он чуть не заплакал, но я его утешил пачкой «Опала» и обещанием устранить повреждение.

— На неё ведь глина будет навешана? — задумался Бавалин.
— Ужели стену будем ломать, чтобы её отсюда вытащить.

— Не всё сразу, Ерофей Кузьмич. По ходу дела сам сообразишь, что к чему. А теперь будем набивать глину.

— Погоди чуток, — сказал мой помощник и прочитал молитву о призывании духа святого на всякое доброе дело.

Я решил не уходить из мастерской, пока не набью каркас глиной, и послал вечером Бывалина предупредить Михайлыча, что задержусь в клубе. Старик вернулся не один, а с Зубовым. На этот раз лейтенант был доволен моим усердием, и своё благоволение ко мне простёр до того, что не отказался от предложенной ему кружки чая с крендельками и разрешил мне остаться в ателье до утра.

— Завтра я с утра к тебе загляну, — сказал он, покидая мастерскую.

Ерофея Кузьмича, который слонялся вокруг меня, я отправил спать, а сам занялся глиной вплотную, как меня учил Стекольников. Ведь это только со стороны посмотреть — кажется, что работа с глиной — умение, доступное каждому неучу, но я-то никогда не забывал, что первым скульптором был сам Бог. И это обязывало меня трудиться без дураков.

Зубов, как и обещал, заглянул утром в моё ателье, довольно хмыкнул и поспешил на подъём, который уже сыграли по всем отрядам, и над нашей зоной повальной трезвости из громкоговорителя лились песни военных лет. Я заглянул в радиоузел и поздоровался с Гречкиным, который был и автором, и исполнителем патриотического концерта.

В столовой Бывалина не было, я сложил наши завтраки в миску и забрал в мастерскую, где и нашёл старика, который был чем-то сильно взволнован.

— Что стряслось, Ерофей Кузьмич?

— Прямо не знаю, что и думать, от этих дел меня прямо оторопь взяла.

— Говори прямо, — уже всерьёз заинтересовался я. — Что за новость?

— Новость у меня в кармане, — сказал Бывалин и протянул мне иконку, которую у него изъял замполит.

— Это действительно новость, — согласился я. — Чему же надо было случиться, чтобы отпетый коммунист вернул конфискованный предмет религиозного культа? Он, часом, не раскаялся в содеянном?

— Встретил меня на пути в столовую, сунул иконку и убежал.

— Видимо, Горбачёв решил дать волю церкви, — ухмыльнулся я. — Вот и обожгла иконка руки замполита. И в газетах всё больше толкуют о тысячелетии крещения Руси. Радуйся, Ерофей Кузьмич, и требуй, чтобы тебя выпустили отсюда, как репрессированного за веру.

— Скажешь тоже, репрессированного, — вздохнул старик. — Я ведь вино, грешен, любил.

— А ты изложи без стеснения, как всё было на самом деле, и ничего не утаивай. Пока ты был в поповском штате, тебя не трогали, чтобы вражеские голоса не вопили. Вышел ты на покой, перестал быть неприкасаемым, тут тебя живенько и оформили на два года. Так что сегодня же пиши заяву областному прокурору и в Москву, в комитет по делам религии. Не пройдёт и месяца, как ты выкаатишься отсюда по чистой.

Весь день я занимался дельфинами, придавал им товарный вид, потому что решил не тянуть с их сдачей заказчикам, чтобы затем, не торопясь, снять гипсовую форму, собрать её и залить бетоном с мраморной крошкой.

Когда я уже поливал фигуры водой в мастерскую вошёл Троцкий, с которым я уже и забыл, когда здоровался. «Ужели и ему понадобился рисунок своей дамы сердца? — подумал я. — Или он пожелал сделать бюст старика Бронштейна, своего деда?»

Дождавшись, когда я закрою фигуры мокрыми тряпками, Троцкий поманил меня на выход.

— Что за тайны мадридского двора! — проворчал я, но приглашению подчинился.

Мы вышли из клуба и присели на скамейку в курилке. Было тепло, на ветках акации от порывов апрельского ветерка — ласковей трепетали недавно выпорхнувшие из почек зелёные листки.

— Погода, как говорится, займи и выпей, — Троцкий угостился моей сигаретой. — В связи с этим возникает коренной вопрос: тебе, Ваня, не надоело париться в этом гадюшнике?

— Из штанов, Лев Давидович, не выпрыгнешь, — я зорко глянул на него, надеясь углядеть насмешку, но Троцкий был серьёзен, как молитва ветхозаветного иудея.

— Это ты верно сказал, про штаны, — сказал он. — Но на данный момент дело даже не в этом. Не смущайся моей прямооты, но среди этой швали я вижу в тебе единственного порядочного человека, который в силах оказать мне услугу.

— Положим, я тоже не подарок. Или ты забыл, как я тебя, бывало, подкалывал?

— Ты не меня подкалывал, Ваня, а мою фамилию. Между прочим, она мне нравится, и мой дед вовсе не сглупа её присвоил.

— Это, с какого же ума?

— Фамилия Бронштейн обязывает человека быть умным, — серьёзно сказал Троцкий. — Я, не в обиду будет сказано, иногда подумываю, что неплохо бы всем русским взять еврейские фамилии, глядишь бы, умных прибавилось.

— Россия на дураках держится, на Иванах, вроде меня, — возразил я, но его слова меня неприятно царапнули своей правотой: Россия стоит на дураках, но в ней уйма глупых, а вот им поумнеть бы не мешало, но не таким же способом.

— Хватит темнить, Лев Давидович, говори, что от меня надо?

Троцкий огляделся по сторонам и прошептал:

— Костя-спортсмен, как я понимаю, был тебе другом?

— Ну, был. Куда ты клонишь?

— Всё к тому же — к воле! — Троцкий ожёг меня взглядом.

— Тому, кто найдёт убийцу, светит досрочное освобождение.

— Стало быть, ты знаешь, кто замочил Костю?

— Почти знаю. Осталось сделать последний шаг, прошу твоей помощи.

Я не знал, что мне делать, Троцкий говорил на полном серьёзе, но что у него на уме, оставалось только догадываться, и я пребывал в нерешительности, опасаясь ввязаться в какое-нибудь опасное дело, освобождение по половине срока нужно было и мне, но я уже нащупал к нему путь без всякой уголовщины.

— Что молчишь? — не выдержал Троцкий.

— Сказать нечего. Узнаю, что от меня нужно, тогда и решу, помогать тебе или нет.

— Ладно, — после некоторого молчания сказал он. — Главный мочильщик Хорёк. И я у него видел вещь, которая принадлежала Косте. Ты сам её не раз видел. Догадываешься, какая?

— Нет, — после длительного раздумья сказал я.

— Тебе это и знать не надо. Я сообщу, что за вещь, только после того, как Зубов даст мне слово, что меня освободят сразу же после ареста Хорька.

— Не понял, — я начал подниматься со скамейки. — Ты хочешь, чтобы я всю эту дребедень вывалил перед лейтенантом? Он меня спросит, кто всё это придумал, что мне говорить?

— А ты ему скажи, что объявишь моё имя, если вещи на Хорьке не будет, — Троцкий встал рядом со мной и почти замурлыкал. — Сделай, Ванечка, доброе дело, оно тебе зачтётся. Если что, я отвечу своими боками. Разве тебе Костю не жаль?

— Где сейчас Зубов? — решил я.

— В своём кабинете, ждёт первую смену. Надо поспешить, скоро придёт автобус.

Дверь в кабинет начальника отряда была распахнута настежь, он сидел за столом и что-то писал, на моё смущённое приветствие откликнулся кивком и, дописав строку, поднял голову.

— Что надо, Конев?

— Тут такое дело, товарищ лейтенант, — начал докладывать я. — Подошёл сейчас ко мне один из наших и сказал, что откроет, кто убил Костю, но ему надо ваше честное слово, что его досрочно освободят.

— Честное слово? — Зубов подскочил со стула. — Я ему и два их не пожалею. Это ведь Троцкий? Угадал?

— Он, — вякнул я.

— Тоже мне секретчики! — лейтенант сунулся в сейф и вытащил из него наручники. — Я же видел, как вы сейчас от клуба в обнимку шли. Где он?

— На крыльце.

— Тащи его сюда!

Через несколько секунд мы оказались закрытыми на замок в кабинете и, прильнув к окну, наблюдали, что Зубов достиг КПП как раз вовремя: первая смена выходила из автобуса. Зубов и три прапорщика схватили Хорька и двух его ближайших корешей, скрутили им руки и, подгоняя тычками под рёбра, загнали в кабинет начальника отряда.

— А ну, скидай с себя всё! — приказал Зубов заметно сдрейфившему Хорьку.

— Поднимите, товарищ лейтенант, воротник его рубахи, — вмешался Троцкий. — У него это там.

Хорёк дёрнулся руками к шее, но Зубов был проворнее: раздался треск и оторванный от рубахи воротник был предъявлен присутствующим. На нём тускло отсвечивал значок «Мастер спорта СССР». Я его видел у Кости несколько раз, он им не кичился и обычно носил под одеждой, на карманном клапане рубахи.

— Ах ты, вонючка! — взревел прапорщик, который заведовал карцером. — Ну, погоди! Я тебя сегодня пощекочу.

И он ткнул Хорька пальцем, безошибочно попав в болевую точку. Убийца взвыл и повалился на пол.

— Выйди из кабинета, Забейда! — приказал Зубов. — А мы займёмся протоколом. Встряхните его, и хватит ему валяться среди пола.

Оглядев карманы Хорька и его корешей, начальник отряда составил протокол с перечислением всего, что в них обнаружилось, значок был удостоен самого подробного описания, как и сам факт его изъятия у конкретного фигуранта, в чём присутствовавшие и расписались, в том числе и я.

Снова был призван прапорщик Забейда, ему поручили задержанных, и он сопроводил их в карцер, который, по слухам, был сырым и мрачным застенком, населённым мокрицами и тараканами. Этому я не верил, со всякими тварями в ЛТП расправлялись с помощью хлорки, но и без оных, я не испытывал ни малейшего желания оказаться в нём, хоть на час.

— Никуда из кабинета не уходить! — приказал Зубов и почти бегом устремился к штабу. Ему нужно было доложить руководству о чрезвычайном происшествии, и уже через полчаса возле КПП остановились две машины: одна доставила прокурора района, другая привезла следователя и оперативников. Всё это мы углядели из окна, а затем включили телевизор и прилипли к нему — гласность подарила народу бесконечный сериал из латиноамериканского быта, особенно захватывающий для тех, кому были недоступны радости забугорной жизни, а тут, на тебе, распахнулась форточка в мир, где в шикарных особняках обитают загорелые латиносы, день-деньской бьют баклуши, и это было так похоже на коммунизм, мечта о котором как-то незаметно испарилась где-то к восьмидесятому году, и я не встретил ни одного человека, кто бы о ней пожалел.

Зубов явился близко к отбою и показал сопровождающему его прапорщику на Троцкого:

— Возьми его с собой и держи под замком.

— Это не честно, товарищ лейтенант, — растерянно пробормотал Троцкий. — Вы же обещали меня освободить.

— Я не царь или бог, — устало сказал Зубов. — Отпустить тебя единолично я не могу. Через несколько дней придет судья, я к тому времени документы подготовлю. Вот Иван Федотыч тебя и освободит.

— А зачем меня куда-то уведят? — подозрительно глянул на начальника отряда Троцкий.

— А это, брат, техника безопасности, — сказал Зубов. — Поживёшь до суда в общежитии, а прапорщик за тобой приглядит. Мне ещё один труп не нужен.

После этих небрежно произнесённых слов Троцкий побледнел и стал тесниться к прапорщику.

— Ступайте, — лейтенант сделал мне знак задержаться. — Глиняные фигуры Жернаков собирается смотреть с Иваном Федотычем. Будешь делать с него бюст. Ты, Конев, не дурак и понимаешь, что для тебя это счастливый случай. А теперь спать!

Весь день на улице стояла почти жара, и в спальном помещении было душно. Я разделся, забрался на свой этаж, закрыл глаза, но сна в них не было, минувший день мелькал передо мной чётким калейдоскопом. Я его просмотрел с десятков раз, пока не впал в сонное забытие до шумихи, вызванной подъёмом. Теперь у меня не было нужды торопиться вставать в строй, и я, подождав, пока суматоха схлынет, оделся и пошёл прогулочным шагом к клубу.

Я знал, что хавка от меня никуда не денется, позволил себе в курилке засмолить столь желанную и пьянящую натошак сигарету и, следя за извивами табачного дымка, по приобретённой недавно привычке, стал перелистывать в памяти, как записную книжку, события вчерашнего дня и удивлялся своему равнодушию, с коим вспомнился захват убийцы, который сейчас мне показался не торжеством справедливости, а дешёвеньким финалом пошлого детектива, где в роли сыщика выступает ряженный Троцким русский мужичок — хитрован Стёпка Шаньгин.

Но розыгрыша не было, и всё случилось по-настоящему, что своим появлением и подтвердил дежурный на КПП и двое рабочих по кухне с полными котелками хавки для арестантов, которых сегодня, после допроса с выездом на место преступления, должны были увезти в следственный изолятор. Я принялся к содержимому котелков, поморщился, и,

признаться, позавидовал Троцкому: он сейчас блаженствовал под опекой шеф-повара Афонькина, выпался на белых простынях и до своего освобождения считает уже не дни, а часы и минуты. А мне нужно было трамбовать желудок капустой и минтаем, что я давно привык делать почти без отвращения, и поглощал всё, что дают.

Чтобы успокоить заурчавшее после завтрака брюхо, я выкурил сигарету на крылечке клуба рядом с Гречкиным. Ведущий интеллигент ЛТП, волнуясь, поведал мне, как заговорщик, о неслыханной новости: в нашем клубе запланировано проведение лекции о тысячелетии крещения Руси, как только что под большим секретом сообщил ему замполит, и читать её будет священник. Для меня эта новость была ожидаемой, но я удивился, с какой быстротой зашевелились божьи слуги, едва только власть ослабила свою мёртвую хватку, духовенству понадобился всего какой-то месяц, чтобы дотянуться до такого тёмного закоулка как ЛТП со святым крестом и божьим словом.

Я, конечно, известил о чуде, открытом для меня начклубом, Ерофея Кузьмича. Старик крепко взволновался и пал на колени перед иконкой, которую прикрепил в дальнем углу, и предался молению.

Хотя со мной за последнее время и произошли некоторые душевные перемены, я всё-таки обратился к земному: решил закончить дельфинов в глине через два дня и совершил этот маленький подвиг вовремя. На афишной доске появилось объявление, что завтра состоится выездное заседание суда. К этому времени Хорька и его корешей увезли в СИЗО, и внимание принудбольных сосредоточилось на пойманных в областном центре беглецах, которым не понравилось пребывание в нашем образцово-показательном ЛТП, и теперь им предстояло расплачиваться за каждый день, проведённый в побеге, месяцем лагерного срока, уже по уголовной статье. Но для меня важным был не суд, а то, что председательствовать на нём будет Иван Федотыч, чью голову я нацелился слепить,

чтобы получить возможность покинуть это непотребное узилище для отверженных.

Показательный суд над беглецами был в этом году первым, и вся братва горячо обсуждала, сколько дадут нашим отчаянным союзникам, которых привезли в автозаке к клубу, но до начала судебного заседания не выводили наружу. Все ждали Ивана Федотыча с народными заседателями и были немного возбуждены, потому что каждый из нас, порой сам того не ведая, невольно радовался тому, что будут судить не его, а другого.

Я успел занять место впереди, почти рядом со сценой, где находился покрытый красным бархатом стол, за который воссели Иван Федотыч и два заседателя, но на них я глянул только мельком, меня захватило созерцание судьбы как сердечно чаемой природы для лепки бюста. Иван Федотыч был лыс, лобаст, поэтому смотрелся башковитым и глубокомысленным субъектом с сильно развитыми надбровными дугами, нос у него смахивал на гуцульский топорик, подбородок резко выступал вперёд, рот напоминал щель, но особенно мне понравились его тонкие оттопыренные уши.

Оглядев натуру целиком и в деталях, я решил, что мне с ней крупно повезло: обладателю столь впечатляющей внешности легче угодить, чем красавчику, стоит лишь слегка его улучшить, исправить ошибки природы, подчеркнув какую-нибудь из черт, свойственных вершителю правосудия, например, значительную глубокомысленность, внутреннюю работу духа, когда Иван Федотыч советуется со своей юридической совестью, но не упускает из поля зрения и партийные директивы и находит в их сочетании стержневую основу беспристрастности судебных решений.

Я так увлёкся изучением природы, что чуть не упустил начало процесса, однако сумел-таки ухватить суть дела. Оно было одновременно простым и забавным. В райгороде во время оголтелой борьбы с пьянством каким-то чудом сохранился цех по выпуску дешёвого вина, где работали принудбольные на

разных работах: сколачивали деревянные ящики, разгружали винсырьё, отгружали продукцию. После работы их тщательно проверяли на трезвость, и надо сказать, до поры всё было гладко. Капитан Попов страшно гордился своими успехами в излечении самых безнадежных алкоголиков, и в отчётных писульках руководству УВД области настойчиво подчёркивал: в ЛТП излечение алкашей столь эффективно, что они перестают реагировать даже на «бормотуху». На суде главврача не было, а зря, он мог бы выслушать незатейливую историю, как два якобы излеченных алкаша перемигнулись и прыгнули в кузов машины, нагруженной ящиками с вином, и через несколько часов оказались на другом конце области мертвецки пьяными. Дальше они занялись привычным делом — воровством всего, что плохо лежит, и перекаптовались таким образом на родину Земляка, где их опознали в выпрезителе, куда они явились, по их показаниям, чтобы помыться и переспать на чистых простынях.

Иван Федотыч наклонил голову к одному заседателю, затем — к другому, и провозгласил, не сходя с места, именем Российской Социалистической Федеративной Республики приговор: по два года колонии каждому с принудительным лечением от алкоголизма.

Братва враз поскучнела и притихла: на зоне алкашей травили медным купоросом, после такого лечения наша рыгаловка будет вспоминаться осуждённым бедолагам диетическим заведением, а капитан Попов — доктором Айболитом.

После суда с нравоучительным словом собрался выступить замполит, но я уже был на выходе из зрительного зала, а через несколько секунд обзирал своё ателье: готово ли оно к приёму высоких гостей? Ерофей Кузьмич меня не подвёл, пол был чисто вымыт, дельфины обнажены из-под тряпок для показа, обильно sprysнуты водой, их глиняные бока, хвосты и спины отливали матовым светом, а морды, здесь уж я постарался, были приветливо-улыбчаты.

В коридоре послышались приближающиеся шаги, я поспешил к скульптуре, занял место сбоку от неё и сделал

несколько гримас, чтобы размять своё лицо, чтобы улыбка, предназначенная для начальства, получилась приветливой и не вымученной.

— А здесь мы оборудовали скульптурную мастерскую, — сказал майор Жернаков, жестом предлагая Ивану Федотычу войти в комнату. — Думаем поставить возле штаба фонтан и украсить его дельфинами.

Судья мельком оглядел меня, а вокруг дельфинов сделал несколько кругов, даже рискнул прикоснуться указательным пальцем к глине. Затем поинтересовался:

— Из чего делать будете?

Жернаков из-под мохнатых бровей метнул на меня строгий взгляд, и я поспешил с ответом:

— С глины снимем гипсовые формы, затем набьем их бетоном с мраморной крошкой.

— Что ж, дешево и сердито, — глубокомысленно произнёс Иван Федотыч. — А если, к примеру, бюст, то из чего его лучше сделать?

Вопрос был не из простых, и мне нужно было на него ответить таким образом, чтобы не взвалить на себя неподъемную обузу. И, кажется, это мне удалось.

— Самый лучший материал в наших условиях, конечно, гипс. Он долговечен, его можно затонировать под старую бронзу, а при желании и возможности сделать отливку из той же бронзы или выколотку из меди.

— Решайся, Иван Федотыч, — сказал Жернаков.

— Я каждый день на себя любуюсь по утрам в зеркало, — сказал судья. — И знаю, что моя физиономия для скульптуры вряд ли годится.

— Вы себя неправильно оцениваете, — убежденно произнёс я. — Посмотрите вокруг: у всех лица, по сути дела, одинаковые, а ваше лицо выразительно, оно запоминается, как сказал поэт, необщим выражением.

— Мы со своей стороны, Иван Федотыч, просим нас уважить, — поднажал на якобы сомневающегося судью майор Жернаков. — Юбилей достоин вашего бюста.

— Какой юбилей! Суета в пятьдесят пять лет, — попытался возразить Иван Федотыч, но как-то неуверенно, и по его голосу было заметно, что он колеблется.

— Давайте договоримся, — поставил точку в шутейном препирательстве Жернаков. — Сейчас бюст, а к шестидесятилетию — скульптура в полный рост!

— Хорошо, — сдался судья. — Я думаю, что мы к этой теме ещё вернёмся.

— 23 —

За несколько дней житья в спецбараке на щедрых хлебах шеф-повара Афонькина и от бессрочного лежания на мягком диване в гостиничном номере для номенклатурных алкашей Троцкий посвежел и слегка припух, а его заметно отросшая шевелюра стала отливать свежим золотом, в котором интересно высвечивались нити серебра. Спецуха с плеч исчезла, он был одет в добротный костюм с зеленоватым отливом, белую рубашку с рыжим галстуком, и поскрипывал новыми тёмно-коричневыми с зелёными пятнами полуботинками явно ненашенской выделки.

— Куда же ты, Лев Давидович, лыжи наострил, если так вырядился? — подколот я счастливец. — Часом, не на историческую ли родину?

— Мне и в России просторно, — отмахнулся от моей дурацкой шутки Троцкий. — С твоей, Ваня, помощью моя задумка сработала на все сто.

— Что, и суд был?

— Какой там суд, — пренебрежительно сказал Троцкий. — Зубов собрал бумаги, судья подмахнул решение о моём освобождении. Я позвонил папе, и он за мной приехал. А ты

как? Надеешься на своих дельфинов? Будь осторожен, менты с неохотой отпускают того, кто на них пашет.

Я не хотел откровенничать на тему своего освобождения, и меня выручил Бывалин, который пригласил нас к чаю. Троцкий положил на стол свёрток с двумя банками сгущёнки.

— Где это ты разжился?

— У Афонькина всё есть. Он тебя помнит и числит в своих приятелях. За меня тут какой базар идёт?

— А никакой, Лев Давидович. Исчез Хорёк с двумя дружбанами, за ними ты ушёл в спецбарак — и никого это не колышет. Наша братва ничем, кроме хавки, не интересуется. Хотя вру: последнюю неделю мексиканский сериал по телику запустили, смотрят, и я не отстаю.

Троцкий отставил бокал с недопитым чаем в сторону и поднялся из-за стола.

— Мне пора, отец просил поторопиться.

Я проводил его почти до КПП, на прощание мы обнялись и пообещали друг другу встретиться в городе. Прапорщик пропустил Троцкого через вертушку. На выходе из проходной ярко рыжая голова Льва Давидовича вспыхнула, осиянная солнечным светом, и я почувствовал, что меня окатила волна грустного сожаления от расставания с человеком, к которому я привык, да и он, кажется, притерпелся ко мне, хотя я не упустил случая пройтись по его родословной и вроде бы, случайно, спутать мирное семейство Бронштейнов с кровавым демоном русской революции Львом Троцким.

Я повернулся, чтобы идти к клубу, но сначала направился к штабу, возле которого было заметно праздничное оживление. Майор Жернаков, капитан Шишков с несколькими офицерами стояли возле фонтана, вокруг которого была выложена полуметровая кирпичная стенка и с нетерпением поглядывали на работягу, который подтягивал муфту на полудюймовой трубе.

— Скоро ты там? — нетерпеливо топнул блескучим, спецпошива, сапогом майор Жернаков.

— Чичас! — откликнулся работяга и, перешагнув через кирпичную стенку, открыл вентиль. Водомёт прыснул ржавчиной, но вскоре вверх ударили множество сверкающих водяных струй. Штабные машинистки и бухгалтерши захлопали в ладоши. Жернаков ощерил в улыбке свою вызолоченную пасть, но тут его взгляд упал на меня, и он повелительно пошевелил указательным перстом.

— Форма готова. Сегодня - завтра я соберу её на месте в фонтане, и можно будет заливать бетоном, — доложил я и сглотнул сухой комок в горле. — Разрешите обратиться с личным вопросом?

— Ну, что там у тебя?

— Товарищ майор, — пролепетал я, — можно мне надеяться на снисхождение, после того, как я поставлю скульптуру?

— А ты не суетись! — жёстко сказал Жернаков. — Я, страх, как не люблю торопливых! Шишков!

— Я, товарищ майор.

— Ты ему что-нибудь обещал?

— Никак нет, товарищ майор.

— Представляешь, он вообразил, что мы ему что-то должны сделать. Но это, кажется, не по моей части, а по твоей.

Замполит отвёл меня в сторону и прошипел:

— Зачем ты попёрся к майору? У тебя есть непосредственный начальник — лейтенант Зубов.

Это была катастрофа. Я своим нетерпением одним махом уничтожил всё, что сделал для своего освобождения. И сразу же, по испорченности своей натуры, я нашёл виновного, того, кто подставил мне ногу, чтобы я так позорно шмякнулся мордой об асфальт перед начальником ЛТП. У меня так и не размылось в памяти брезгливое выражение лица, с каким он мне сделал втык и за дело: суетиться под клиентом нельзя. А виновник моего позора был уже далеко: Лев Давидович, поплёвывая на обочину шоссе, катил в объятия родоначальника славного рода Бронштейнов — Стёпки Шаньгина, коему только что стукнуло девяносто лет, и он за эти годы пережил царя, Ленина,

Троцкого, Сталина и теперь примеривался пережить Горбачёва. Да, во всём был виноват наш элтэпэшный Троцкий: он замутил мне башку своей свободой, у меня крыша поехала, взял и ляпнул майору про досрочное освобождение.

На счастье, я не злопамятен, отругал про себя Троцкого, как хотел, и вроде стало полегче, глянул от крыльца клуба в сторону фонтана, начальство разошлось, а с машины сгружали ящики с мраморной плиткой, чтобы облицовывать стенку бассейна. «Не всегда же Жернаков будет таким барбосом, — подумалось мне. — Вот поставлю дельфинов, он и помягчает. А тут ещё бюст Ивана Федотыча поспеет».

Вспомнив о бюсте, я заторопился: надо было срочно сделать каркас для судейской башки и забросать его глиной, чтобы быть готовым к появлению Ивана Федотыча, который в моих планах уже, безусловно, выдвинулся на первое место. В нём, уверял я себя, есть основательность и надёжность, это не вертухай, тот хоть и в майорских погонах, всё равно попка, которому по недоразумению дали человеческое имя.

Я рьяно взялся за дело, и через два часа каркас был готов, затем по памяти я начал прорабатывать пальцами глину, пытаюсь нащупать в ней облик неподкупного народного судьи.

— Ну, как? — подмигнул я Ерофею Кузьмичу. — Смахивает?

— На кого?

— Как на кого? На Ивана Федотыча?

— Не совсем, — Ерофей Кузьмич близоруко прищурился. — Пока это просто глиняная култышка.

— Ну и день сегодня! — я окунул в ведро и стал мыть руки.

— Сначала майор меня оглоушил, теперь ты. Куда же податься бедному крестьянину?

— Раньше к богу шли, если что не так, — вздохнул старик.

— А теперь не ведаю.

На этом пункте наш разговор угас, потому что я избегал говорить о боге, и тому были причины. Я видел, что послабление церкви привело к оживлению всяких толкований о предметах, которые моему обыденному разуму были

недоступны. Я соглашался с тем, что бог есть, но даже сама мысль сделать шаг в его сторону повергала меня в смущение. Во мне за мою безалаберную жизнь накопилось столько барахла, столько мусора, столько лжи и предательства, пусть совершённых по слепоте и невежеству, но очистить от них душу даже самым суровым покаянием было, вряд ли, возможно. Для веры в бога я был потерянным человеком, и Ерофей Кузьмич понапрасну начинал мне иногда толковать, что господь есть любовь и, покаявшись, я непременно спасусь.

Старик не знал, что временами меня терзает раскаянье, но это, как я с ужасом понял, не мешает мне совершать тут же дурные поступки, в которых я раскаюсь в лучшем случае лет через десять, когда какая-нибудь беда притиснет меня к стенке. Как бы не хвалили человека, но хорошим изо дня в день он быть не может. Праведники, если они и были, то в незапамятные времена, до коих не дотянуться, нам же уготовано грешить, чтобы раскаяться, испытать мимолетное очищение души, и вновь её чем-нибудь запакоstitь. Спросить меня, чем я сейчас занят, о чём возмечтал? О воле — какая ерунда, если в душе нет этой самой воли, а постоянная теснота от мелочных страстишек, пустых надежд и унижений перед вертухаями, чтобы выбраться из этого загона для отверженных и заявить в первую очередь самому себе, что ты человек, то есть можешь жить так же лживо, погано и грязно, как все люди. Но штампик пребывания в ЛТП останется не только в документах и милицейских секретных комнатах, он, как скотское тавро, выжжен во мне навсегда, и я сильно сомневался, что когда-нибудь, если я даже уверю в господя, как апостол Павел, смогу очиститься от него насовсем; испытанное мной унижение пребудет во мне до гробового порога, а там — будь, что будет! Авось, господь глянет на меня благосклонно и определит мне шесток, с которого мне будут видны верхи райских кущ и слышны хоры счастливых, воспевающих любовь господя, к таким замарашкам, как я.

Задумываться о бесконечном — сладкое занятие, но не стоит этим увлекаться всерьёз, чтобы не споткнуться на ровном месте. И, спохватившись, я послал Бывалина за тележкой: надо было снимать с дельфинов гипсовую форму и перевозить её к фонтану. Пока старик ходил в мастерскую, я открыл дельфинов и убедился, что не забыл рутинную работу форматора — гипсовые куски с глины снимались легко и были без пустотных раковин.

Ерофей Кузьмич проявил смекалку: не найдя тележку в мастерской, он вспомнил, что нечто на неё похожее имеется в столовой, и уволок без спроса трёхколесную колымагу от овощного склада, чем заслужил от меня похвалу за смекалку, но старик побаивался нагоняя:

— Как бы нам за неё столовский начальник матюгов не навтыкал, — поёживаясь, предположил он.

— Он мой заказчик, — успокоил я старика. — Отвези тележку за клуб. Если до завтра там достоин, то мы на ней перевезём формы, прямо с утра.

Наша возня с формами привлекла внимание Гречкина, но явился он не из своего кабинета, где обычно предавался размышлениям об искусстве, а пришёл из штаба от капитана Шишкова, который так озадачил завклубом, что тот был явно растерян.

— Неслыханное дело! — воскликнул он. — На днях, а может быть и завтра, в районе ждут епископа воссозданной епархии.

Ерофей Кузьмич радостно ойкнул и поспешил к иконке, на ходу осеняя себя крестным знамением.

— Архиерей знакомится с областью, — продолжил Гречкин. — А здесь до двадцать седьмого года была знаменитая на всё Поволжье Троицкая пустынь. Вот на неё владыка и обратил своё внимание.

— ЛТП здесь с какого бока? — сказал я. — У нас всего один православный верующий — вот он, Бывалин. Здесь все алкаши, а среди мусульман пьющих не бывает. Был один лжеиудей, так его и след простыл.

— Какой ты не догадливый, — усмехнулся Гречкин. — Пустынь лежит в руинах. Её надо, практически, строить заново. Дошло?

— Не совсем. Церковь отделена от государства, а мы — государственные люди. Конечно, если вся партиячка ЛТП, во главе с Шишковым перейдёт из ленинизма в православие, тогда нам только останется шагать за ними следом и в ногу.

Гречкин продолжал кудахтать про свои чувства к религии, которую он, с одной стороны, отрицал за явную ненаучность, а с другой — восторгался картинами художников, сюжеты которых были взяты из Ветхого и Нового Заветов. Во мне не нашли отклика его высокопарные рассуждения, живопись как искусство я воспринимал, но судить о ней не брался, даже в пьяном виде.

— Ну, и как это всё будет выглядеть? — перебил я Гречкина.

— Что? — споткнулся он.

— Ну, это самое: явление епископа и других попов постоянному и переменному составу лечебно-трудового профилактория?

— Пока не знаю, — развёл руками Гречкин. — Похоже, и замполит не знает, ему позвонили из райкома партии и предупредили быть готовым. Он мне велел приготовить на всякий случай клуб.

— Значит, епископ может у нас и обедню отслужить?

— Наверно, может. Если райком в курсе, то, конечно, может.

Мне оставалось снять два самых больших куса формы с основания скульптуры, но Ерофей Кузьмич всё ещё не пришёл в себя от радости, пришлось Гречкину помогать мне закончить работу. Он посмотрел на свои вымазанные гипсом руки и глуповато улыбнулся:

— Это не на домре играть, но всё равно искусство.

— Из тебя, Гречкин, так и прёт советским интеллигентом!

— Это как? — обиделся завклубом.

— Как шипром! — поставил я точку и вышел из мастерской на крыльцо, спустился с него в курилку и, достав сигарету, лёг

на скамейку лицом к бесчисленной россыпи звёзд, пульсирующих так низко, что, казалось, будь я помоложе, то смог бы до них допрыгнуть и дотянуться. Но сейчас я не мог бы подпрыгнуть и на два вершка, меня всё тянуло вниз: житейская невезуха, подорванное пьянкой здоровье и временами охватывающая душу тупость и неспособность в полной мере воспринимать цвета и запахи жизни. Всё выели вонь хлорки и чёрный цвет неволи, от которых, казалось, мне уже никогда не избавиться, до скончания моих земных дней.

На крыльце зашаркал сапогами Бывалин.

— Ваня, — позвал он, — ты здесь?

— А ты что, сойти с крыльца не можешь? Держись, Ерофей Кузьмич, завтра твой день!

— Мог бы и моим быть, — вздохнул старик. — Но я-то в таком непотребном виде.

— Христос от разбойника не отвернулся, ужели епископ блудного сына не примет?

— Как ты легко о таких вещах глаголешь. Я завтра где-нибудь спрячусь.

Если Бывалин надеялся, что я его буду отговаривать от намерения забиться в какую-нибудь щёлку и отсидеться там, когда приедет епископ, то он просчитался. Я предоставил ему возможность совершить свободный выбор, что от бога имеет всякий человек, поэтому и промолчал, забрался на верхнюю койку и отправился на ней в безоглядное плаванье к следующему дню своей жизни.

Утром мы перевезли формы на место, к фонтану, и моё рвение было замечено Zubовым, которого я просил найти совсем небольшую бетономешалку, чтобы не ворочать цемент и мраморную крошку в корыте пердячим паром, то есть вручную лопатой, и начальник отряда раздобыл почти игрушечный агрегат, который за один замес давал пять вёдер раствора. Он вскоре был доставлен к фонтану, как и материалы: мешки с цементом и мраморной крошкой.

Я уже давненько не занимался приготовлением бетонной смеси, поэтому слегка мандражил, когда делал первый замес под туповатыми взглядами элтэпэшного руководства. К счастью, никто из них не полез ко мне с советами, и я, принимая от своего помощника одно ведро раствора за другим, залил основание скульптуры, и мы по новой принялись загружать бетономешалку цементом и мраморной крошкой. Зрители поняли, что последует повторение того, что они уже видели, и разошлись, но на их место то и дело являлись другие: столовские рабочие, всякая обслуга, больные из карантина и те, кого капитан Попов пригласил посидеть с цинковым тазиком в «рыгаловке», словом, мы с Ерофеем Кузьмичом сегодня купались в лучах всеобщего внимания. Конечно, мне надоедали со всякими вопросами, но я перевёл стрелки на своего помощника, и старик, сначала с моими подсказками, а затем обстоятельно и бойко объяснял основы форматорского мастерства, пока не наткнулся на усмешливый взгляд Степана Федорчука.

— Чудный ты старик, Бывалин, — ядовито пропел он. — Пообещался неделю - другую с Коневым и травишь, как настоящий скульптор. Ты, видимо, и в церковь попал таким же манером?

— Это, каким же? — опешил Ерофей Кузьмич.

— Потёрся недельку-другую подле архиерея и скакнул из мужиков сразу в попы.

Бывалин поначалу стал беспомощно озираться, затем схватил лопату и шагнул в сторону обидчика.

— Вот-вот опять, когда сказать нечего, мы хватаемся за какой-нибудь дрын! — вскричал Федорчук. — Уж бери тогда в руку булыжник или половинку кирпича, это хоть оружие пролетариата.

— Уймись оба! — прикрикнул я с лестницы, на которой стоял с ведром в руке. — Сейчас вот окачу бетоном. А тебе, Кузьмич, не грешно злиться на дурака? Отвернись от него, будто не слышишь.

Степан и сам отодвинулся в сторону, уселся на столбик невысокого заборчика, отделявшего дорожку от скверика перед штабом, и достал сигареты.

— Не мозолил бы ты нам глаза, Стёпка, — сказал я, принимая от Бывалина очередное ведро с раствором.

— А что, правда, попы сегодня к нам явятся? — проигнорировал моё предостережение Федорчук. — Я хотел перед ночной сменой отдохнуть, а там полы моют, окна протирают, как перед московской комиссией. Зубов объявил, чтобы все побрились и зубы почистили. Может, патриарха ждут?

— А тебе не всё одно, кто приедет? — проворчал Ерофей Кузьмич. — Такие, как ты, не по божиему соизволению рождаются, а от сырости заводятся, как мокрицы.

— Может и от сырости, — хладнокровно сказал Федорчук. — Но я живу тем, что заработал своими руками. А попы, я так понимаю, сегодня явятся, чтобы дармовых работников себе присмотреть?

Мне показалось, что Ерофей Кузьмич от обиды, нанесённой всему священническому сословию, даже всхлипнул, а у меня в этот миг в руках было ведро с остатками бетонной жижи, их я, не раздумывая, выплеснул в сторону Федорчука, и здоровенная, похожая на коровью, лепешка шлёпнулась перед ним, окатив злостного атеиста грязью. Это случилось под распахнутыми окнами кабинета начальника ЛТП, и майор, привлечённый шумом, подошёл к окну и красноречиво погрозил нам кулаком.

— Что за выродок! — плюнул вслед Федорчуку всё ещё вскипавший обидой Бывалин.

Пора было сделать перекур, и мы ушли в своё ателье, где выпили чайку, я сжёг пару сигареток, и Ерофей Кузьмич пришёл за это время в себя и признался, что рассердился на Федорчука напрасно, ибо тот по своей безбожной слепоте не видит света истины. Честно будет сказать, что я и сам её не видел, а скорее всего, придумывал себе сияние едва-едва прозревающего рассвета в своей закопчённой грехами душе, и

это не было даже шажком в сторону веры, а робким шевелением и попыткой оборотиться лицом из тьмы к свету.

К обеду мы успели заполнить форму бетоном на три четверти объёма, и перед тем, как идти в столовую загрузили бетономешалку и включили, как вдруг из штаба вывалило начальство, майор Жернаков недовольно посмотрел в нашу сторону, что-то приказал, и к нам подбежал молоденький лейтенант и вырубил наш визжащий и грохочущий на всю округу растворный агрегат.

Тем временем руководящая головка ЛТП достигла проходной и выстроилась перед ней в одну шеренгу, а сам Жернаков прошёл за ворота и довольно скоро появился обратно, ведя за собой трёх священнослужителей и двух гражданских товарищей при шляпах и портфелях. Майор представил главному из гостей, невысокому и плотному архиерею своих заместителей, с которыми тот не побрезговал поручаться, затем Жернаков провёл всех к больничному корпусу, куда только что вошли около трёх десятков принудбольных, вызванных на очередной сеанс шоковой терапии.

Воспользовавшись, что начальство и гости заняты изучением медицинских достижений капитана Попова, я включил бетономешалку, и всё время поглядывал в сторону больницы, чтобы выключить её до появления начальства, но оно задерживалось. В больнице было что посмотреть: и палаты, и врачебные кабинеты были на очень приличном уровне, а что касается «рыгаловки», то она сияла никелем и итальянским кафелем и могла ослепить проверяющего любого уровня, а не только епископа и его свиту.

— Ты что застыл как соляной столп! — толкнул я Бывалина. — Отряхнись от цемента и лови момент: кланяйся епископу, чтобы замолвил за тебя словечко перед начальством.

— Разве я могу это просить, — жалобно сказал Ерофей Кузьмич. — Я сам виноват, что поддался бесу пьянства, а наши райкомовцы подсобили мне попасть сюда. Я в таком клубке запутался, что его не распутать и владыке.

— Эх ты, божий одуванчик! — сказал я, влезая на лестницу. — Давай ведро с бетоном!

На этот раз из больницы первым выпятился капитан Попов, поддерживающий за руку епископа. Главврач, видимо, не успел поведать обо всём, чего он достиг в деле борьбы с зелёным змием, но гость глянул в нашу сторону и о чём-то спросил Жернакова, и тот, оттеснив элтэпэшного эскулапа, освободил всем дорогу к фонтану.

Ерофей Кузьмич всего этого не заметил, и когда в десяти шагах от него появился епископ, то шарахнулся за форму и притаился, а я в это время стоял наверху и счёл необходимым спуститься вниз.

— Вот окультуриваем наше учреждение, — сказал Жернаков. — В прошлом году лето было очень жарким, и возникла мысль построить фонтан для освежения воздуха, а в центре поставить двух резвящихся дельфинов. Это наш скульптор со своим помощником.

Я воспользовался случаем вытащить Ерофея Кузьмича из укрытия:

— Бывалин! Пора тебе объявить о себе. А ну покажись...

Старик высунулся из-за формы, а владыка обратился ко мне:

— Вы, наверно, учились?

— Нет, я самоучка, работал форматорм, а вот мой помощник — вашего поля ягода...

Епископ сделал знак своему помощнику, тот подошёл к Бывалину, взял за руку, отвёл в сторону и стал о чём-то расспрашивать.

— Я питаю некоторую надежду, — сказал епископ, — что вы нам окажете помощь. На эту тему у меня уже был предварительный разговор с начальником УВД.

— Я об этом знаю, — сказал Жернаков. — Но для порядка мне нужно получить письменное распоряжение, чтобы было, что показать прокурору.

— А мнения райкома партии тебе, майор, будет недостаточно, чтобы твой контингент подключился к

восстановлению пустыни? — веско сказал человек в шляпе. — Тем более, что прокурор — член бюро райкома.

— Мы готовы приступить к работе сразу, как последует распоряжение! — щёлкнул каблуками майор Жернаков.

— Считай, что ты его получил, — сказал райкомовец и повернулся к епископу. — Предлагаю, владыка, осмотреть пустынь, вернее, то, что от неё осталось. Наши предшественники были так близоруки, что крушили всё, что только напоминало о религии.

— Я глубоко удовлетворён вашей помощью церкви, — сказал епископ и нетерпеливо глянул в сторону иеромонаха, который отмахивался от Ерофея Кузьмича, пытавшегося поцеловать ему руку.

— Рад за тебя, — сказал я Бывалину, который кланялся вслед покидающим ЛТП гостям. — Определённо, ты получил надежду на спасение.

— Это уж как господь поволит, — осенил себя крестным знаменем старик. — На него и уповаю.

— Не худо было бы покадить и в сторону Ивана Федотыча, — не удержался я от насмешки. — Бог-то предполагает, а судья располагает.

Однако Ерофей Кузьмич моих слов будто не слышал и смотрел мимо меня куда-то в только ему ведомое пространство с торжеством победителя. Этот потусторонний взгляд меня смутил, и я взялся за ведро, чтобы сделать в нём цементный раствор для заделки щелей в сочленениях формы.

В праздники и выходные нам, как и всем советским людям, полагалось отдыхать, но принудительно хватало и одного дня, чтобы прибраться в тумбочке, сделать небольшие постирушки, побывать на свидании, если приехал кто-нибудь в гости, и насмотреться до одури телевизора. На эти майские праздники

выпало четыре свободных дня, но отдыхали мы только Первого мая: постояли на коротком митинге возле штаба, посмотрели по телику демонстрацию в Москве, посетили столовую, где после генеральной уборки всё воняло хлоркой и, насладившись, опять же по случаю праздника, интернациональным обедом: грузинский суп-харчо, узбекский плов, пролетарский чай с русской ватрушкой. После обеда и длительного перекура мы побывали на концерте артистов районного дома культуры, и завершилась культурная программа вечерним показом классики советского кино — кинофильмом «Чапаев», который мы смотрели с живейшим интересом как неиссякаемый источник анекдотов, пользующихся спросом и в заводских курилках, и в партийных кабинетах.

Следующий день начался по-рабочему: подъём, построение, завтрак, наряды на работы. И мы были не против поработать, только не на опостылевшем кирпичном заводе, а где-нибудь на стороне, на разгрузке-погрузке, благоустройстве территории. Всегда были готовы поехать в колхоз или совхоз, где после работы нас кормили с обильными добавками и первого, и второго, поили молоком, угощали сметаной и творогом.

Я был лишён этих маленьких радостей, скрашивающих тусклую жизнь принудбольных, поскольку, после назначения на пост главного скульптора ЛТП, стал невыездным, меня берегли от всяких случайностей, которые могли произойти на разных работах. И майор Жернаков неоднократно напоминал мне об ответственности, кою я должен прочувствовать, прежде чем приступить к лепке бюста Ивана Федотыча.

Невзирая на запрет, я попытался встать в строй команды, которую нарядили на работу в Троицкую пустынь, однако Зубов велел мне идти в своё ателье и никуда оттуда не отлучаться. Бывалин потоптался возле меня, повздыхал, снова потоптался, томясь нетерпением.

— Что мучаешься? Иди со всеми к монахам, их там, наверно, уже несчётно набежало?

— Зря ты, Ваня, злишься, — кротко сказал Ерофей Кузьмич. — Тебе скоро через судью свобода будет.

— А ты её уже получил? Я ведь и не знаю, про что ты с игуменом шептался.

— Всё в руках божьих, — заторопился примкнуть к своей рабочей команде Ерофей Кузьмич. — А ты, Ваня, не злись, нехорошо это.

Гречкин тоже был невыездным на работы и скучал в своём кабинете за просмотром мхатовского спектакля на пролетарскую тему, который транслировали по телевидению из Москвы. Моему появлению он обрадовался, как случаю потолковать о вечных темах искусства, но я был не склонен сегодня иронизировать над юродством сбившегося с панталыку работника культурного фронта и подошёл к шкафу, где хранились альбомы с фотографиями.

— Что за типаж тебя заинтересовал? — сказал Гречкин, обеспокоенный моей молчаливой решительностью.

— Мне нужны все, какие найдутся, фотографии Ивана Федотыча.

— Понимаю, понимаю, — резво встал из кресла завклубом. — Возник творческий замысел, требуется просмотр всей иконографии, чтобы окончательно определиться с формами природы.

— Ничего сложного я не замышляю. Мне нужен судья во всех ракурсах.

Фотографии начальства во время торжеств были заключены в самодельные, с фанерными крышками, обтянутые плюшем, альбомы. Иван Федотыч в них не затерялся, он был запечатлен с разных точек во время судебных заседаний: вот он жёстко вопрошает, вот он слушает, вот он занёс кулак и сейчас обрушит его на трибуну, вот он в фас, анфас, профиль, нашлась даже фотография, на которой Иван Федотыч сфотографирован сверху, с крыши, и среди офицерских фуражек его лысина отражает солнечные лучи, как овальное зеркало.

Я отобрал с десятков изображений судьи, пришил их кнопками на фанерку и поставил её рядом с глиняной заготовкой для номенклатурного бюста. В каждом деле всегда есть нечто основное, заглавное, в моём случае это была парадность, иного бы от меня не приняли мои заказчики, да и сам Иван Федотыч мог обидеться, увидев себя не таким, каким всегда представлял — значительной особой и государственным мужем, в чьём праве делать людей счастливыми и несчастными. Однако, прямое следование парадности легко могло превратить бюст в карикатуру, поэтому я слегка сглаживал углы и провалы на физиономии судьи, оставив в неприкосновенности лишь нос, символизирующий решительность натуры, и волевой подбородок, слегка расширив при этом лоб юриста и уменьшив ушные раковины. Эти изменения я сделал за какие-нибудь три часа топтания возле бюста, затем сбрызнул его из бутылки с водой и позвал завклубом.

Я пригласил его одного, а он явился с замполитом, который был у него в кабинете. Но это меня не огорчило, я поставил бюст к свету и храбро расселся в присутствии начальника на диване. Шишков покосился на меня, но промолчал, его увлекло рассмотрение бюста, он долго на него взирал, затем произнёс своё резюме:

— Хорош — не спорю, но сходство, Конев, хромает. Как тебе кажется, Гречкин?

— Да, да, — поспешил подписаться под мнением капитана завклубом.

Моё молчание затянулось, у меня на языке вертелся ответ, который дал Микеланджело критикам его бюста Лоренцо Великолепного: «Через четыреста лет никто и не спросит, похож ли оригинал на своё изображение».

Поколебавшись, я произнёс это вслух.

Замполиту ответ гения понравился, и он хлопнул меня по плечу:

— Люблю находчивых!.. Никуда не уходи. И приберись, окурки из банки повытрясывай!

— Куда это он? — сказал Гречкин.

— У тебя в клубе есть полное собрание сочинений Маркса?

— Есть в библиотеке, а что?

— Замполит решил посоветоваться по поводу бюста Ивана Федотыча с основоположником марксизма-ленинизма.

— Я от тебя этого не слышал, — отшатнулся от меня Гречкин. — И ты поменьше болтай.

— А что я сказал плохого?

— А то, что перестройка началась, а дураки не кончились, — сказал Гречкин, удивив меня здравостью суждения. — И вряд ли закончатся.

Завклубом решил, что пришло время очередного чаепития, и пригласил меня в свой кабинет, где очень скоро в литровой кружке заподпрыгивал кипятыльник. Мы испили чайку и не успели закурить, как Гречкин замахал руками.

— Идут! Замполит и майор.

Я успел добежать до своего ателье, sprыснуть бюст и выжидательно уставился на дверь.

— Ну и чем ты, Конев, сразил наповал моего политического заместителя? — сказал Жернаков, войдя в мастерскую. — Теперь вижу, вижу... И всё это ты сделал по фотокарточке?

Начальник взял фотографии и стал примериваться то к ним, то к бюсту.

— А что, похож! — подвёл он итог своих искусствоведческих изысканий. — Конечно, решающее слово за Иваном Федотычем, безусловно, потребуется доработка, но главное ты схватил. Надо звать его на смотрины, Шишков. Ведь так? Он своего «жигулёнка» из мастерской не забрал?

— Кажется, нет, — доложил замполит.

— Узнай, — велел начальник. — И как явится за машиной, обеспечь его явку сюда, а ты, Конев, нос не задирай. И помни, что за тобой дельфины!

Второй день праздника не обошёлся без нарушений режима, и почти во всех бригадах, кроме той, что работала в пустыни, нашлись ухари, исхитрившиеся достать вина и нерасчётливо к

нему приложиться. Бывалые прапорщики на КПП пьяных вычисляли одним мимолётным взглядом, выдёргивали из строя, ставили мордой к стене проходной и дежурный по ЛТП определял их до протрезвления в карцер. Утром их забирали начальники отрядов, производили с ними по-отечески разбор полётов и отправляли к капитану Попову, который прописывал им по полной программе повторный курс лечения. Злостным нарушителям давали раствор медного купороса и после ежедневной «рыгаловки» отправляли в карцер, где с ними проводил воспитательную работу начальник этого мрачного заведения прапорщик Забейда. Единственным, чего не лишился проштрафившийся принудбольной, были положенные ему по раскладке суточные калории, пайку ему не урезали.

Однако этим репрессии против упившегося принудбольного не заканчивались, к его осуждению подключалась общественность. В моём отряде на этом поприще активничал Федорчук, продолживший, после моего возвышения, выпускать сатирические листки, где дал развернуться своему стихоплётскому таланту. Шаржи и карикатуры ему не удавались, но его пытливый ум новатора скоро отыскал выход: в стране шла оголтелая борьба с пьянством, и все печатные издания публиковали массу обличительных материалов, в том числе и карикатур. Степан разжился папиросной бумагой и переводил картинки из журналов на страницы своего издания.

Прослышав, что задержан в пьяном виде кто-то из нашего отряда, он быстренько смотался к дежурному по ЛТП, выяснил личность нарушителя, и когда я пришёл в отряд после отбоя, Степан позвал меня, чтобы похвалиться своим талантом.

— Ты стоишь на правильном пути, — одобрил я рукотворство Федорчука. — Только, когда спишь, голову держи под подушкой.

— Это ещё к чему? — дёрнулся он.

— К тому, чтобы уберечь её от железяки или харчка. Пока беда тебя обходит, но скоро она тебя съест.

— Раскаркался, — недовольно пробурчал Федорчук, отбирая у меня лист с рисунками. — Лучше о себе думай. Вот расколотишь форму, а там хвоста у дельфина нет. Его на гвоздики к бетону не приляпаешь. Вот тогда Жернаков с тобой разберётся.

В комнату заглянул Бывалин и мотнул головой, приглашая меня на выход. Я спустился с крыльца и сел в курилке, рядом с Ерофеем Кузьмичом.

— У меня, Ваня, новость, — сказал старик дрожливим голосом. — После праздников меня отсель выпускают.

— Значит епископ не оставил в беде заблудшего пастыря. Я за тебя рад. Поедешь домой?

— Куда же ещё? Дом пока мой, говорят, что сёстры одумались, даже раскаялись. Но кто знает, так ли это. Сейчас ведь такое время, что все иссобачились друг против друга.

— А в пустынь игумен не зовёт?

— Я ведь не монах, и не моё это. Пустыни насельники нужны молодые и здоровые. А вот ты в ней пригодился бы.

— Какой из меня инок, — усмехнулся я. — Столько лет кадил пьяному бесу, что закоптился грехами насквозь.

— Я тебя и не посылаю в монахи, — сказал Ерофей Кузьмич. — Игумен тебя примет с радостью на послушание. Поживи с чистыми людьми, за твою работу тебя будут кормить, другого тебе сейчас и не надо. Или ты решил ехать к той, что тебя ждёт? А ты к ней не торопись. Ждала тебя столько лет, ещё подождёт. Вы ведь уже не молодые, чтобы торопиться.

— Чтобы это решить, надо сначала уйти отсюда, — сказал я. — Или ты сказал уже обо мне игумену?

— А я знал, что захочешь там побывать. Иди в пустынь, от этого тебе будет только польза.

Я затушил сигарету и вслед за Бывалиным пошёл в спальное помещение, глотнул там спёртого воздуха и попятился. Ключ от клуба у меня был, и я, накурившись до одури «Примы», не раздеваясь, лёг на диван и проснулся от бодрой солдатской песни, с которой принудбольные шли на завтрак.

— Что там на хавку? — спросил я, высунувшись в окно, у какого-то уже насытившегося ханурика.

— Простипома с овсом, — ощерился беззубым ртом мой коллега по несчастью. — А ещё говорят, что праздник.

Доходяга начал нарезать круги под окнами мастерской, вскоре ему повезло надыбать крупный «бычок» — окурок, и он, причмокивая, стал его раскуривать.

В тумбочке у меня были хлеб, банка килек в томате, и я предпочёл позавтракать ими, затем заварил свежего чайку и размотал бюст, чтобы свежим взглядом оценить свою вчерашнюю работу, и сразу просёк, что не зря вчера ковырялся в глине, конечно, бюст нуждался в доработке, но в нём была прочная основа. Мне удалась крепкая посадка головы, общий абрис лица, грубоватый, но подчёркивающий неординарность природы, уж кому-кому, а Ивану Федотычу довелось на своём судейском веку сломать не одну человеческую судьбу о дубовый оселок закона, который при социализме был для всех одинаково беспощаден, но, выборочно, гуманен. Пусть с точки зрения общечеловеческих ценностей Ивана Федотыча нельзя было назвать добродетельной персоной, для меня он мог стать возможным благодетелем, поэтому я и очеловечил судью как мог, в пределах тех черт, коими наградила его природа. В это утро я с нетерпением ждал, когда он придёт в мастерскую, и ощущал лёгкий зуд в кончиках пальцев, который можно было успокоить только прикосновением к глине.

Большинство принудбольных разошлись по работам. Я стоял возле окна, выглядывая, не промелькнёт ли где хорошо знакомая фигура судьи, когда скрипнула дверь, и, обернувшись, встретился взглядом с Иваном Федотычем. Он с интересом на меня поглядывал и как бы спрашивал: «Что, не ожидал меня, а я так ловко к тебе подкрался?»

Он прошёл мимо подготовленного для него стула к моей скульптурной нетленке и уставился на неё немигающим взглядом. Я замер, не зная, как вспыхнет Иван Федотыч —

взрывом гранаты или праздничным фейерверком, но он остался невозмутимым и собранным.

— Что от меня требуется?

— Часок времени, — засуетился я, как официант возле богатого клиента. — Мне нужно проработать бюст в окончательном варианте. Я вас не задержу, вот сюда, на газетку присядьте, а то у меня вокруг гипс.

Всю свою сознательную жизнь Иван Федотыч просидел на том месте, которое называют «казённой частью», то бишь, на заднице, на жёстком судейском стуле, и натурщик из него был великолепный. Он не шелохнулся в течение двух часов, сидел и только нечасто помаргивал зоркими глазками.

— Что, уже всё? — с некоторым удивлением произнёс он, когда я закончил работу.

— Это предстоит определить вам, — с официальной любезностью произнёс я, смачивая бюст водой из бутылки.

Соль ситуации заключалась в том, что Ивану Федотычу предстояло решить, соответствует ли бюст оригиналу. Я с любопытством наблюдал, как судья всматривается в своё изображение, и на его обычно бесстрастном лице отражается разнообразная игра чувств, от сомнения до радостного узнавания самого себя в слепке, который может сохраниться бессрочно долго. В конце концов, Иван Федотыч проникся пониманием, что своим бюстом он прикоснулся к вечному, и, смущённо кашлянув, вымолвил:

— Кажется, ты, шельмец, меня улучшил...

— Это обман восприятия, — опять засуетился я. — И означает только одно: скульптура начала жить своей, независимой от вас, жизнью.

— А ведь ты ловок врать, — довольно рассмеялся Иван Федотыч и потрепал меня по плечу. — Сделай мне два бюста. Сможешь?

— Это не проблема.

Он повернулся к своему бюсту, ещё раз полюбовался и, уходя, заметил:

— Я посмотрю, что можно будет для тебя сделать.

После перекура я запаковал глиняную голову заслуженного юриста в гипс, чтобы получить кусковую форму, по которой можно сделать заказанные мне две отливки. Вечером два бюста были готовы и получили одобрение Гречкина. Осталось показать работу начальству, и оно явилось в моё ателье на следующее утро.

— Где бюсты? Показывай, — строго спросил майор. — Эти что ли?

И он постучал пальцем по гипсовым головам.

— Ему понравились?

— Судья был доволен, — проямлил я.

— Зачем ему два бюста? — удивился замполит.

— На всякий случай, — усмехнулся майор. — Запас карман не тянет. Гипс — материал хрупкий. Вот Иван Федотыч и подстраховался.

Первые лица ЛТП, довольные моей работой, удалились, но за ними явились офицеры штаба, затем по одному у меня побывали начальники отрядов, до темноты посетители так и шли, в одиночку или кучками — офицеры, прапорщики и вольнонаёмные рабочие и служащие. Это коллективное любопытство было для меня явлением загадочным, и я, честно говоря, так и не понял, на кого эти экскурсанты смотрели: на меня или на бюст знаменитого юриста.

После киносеанса я глянул в окно и с ужасом увидел, что возле клуба кучкуются принудбольные с явным намерением посетить мою мастерскую, и послал к ним Гречкина, чтобы тот велел им приходиться завтра. Толпа рассосалась, но две рожи, как прилипли к окну, так и торчали в нём, пока я, выключив свет, не направился в сторону своего отряда. Но чудеса продолжались и там — бугор Михайлыч угостил меня папиросой «Казбек», а буйные чемпионы картёжного «козла» притихли и поглядывали в мою сторону с явной почтительностью. Я догадался, что это было вызвано моей общепризнанной творческой удачей, о которой я иногда мечтал, что не дурно будет при случае

потрогать эту продажную девку за вымя, но я никогда, даже в самых пьяных снах, не предполагал, что, если не сама удача, то её призрак, явится ко мне в трижды проклятом загоне для отверженных, ведь здесь находились только те, от кого удача отвернулась навсегда и бесповоротно.

Сейчас почти каждый в ЛТП знал, что среди более, чем полутысячи неудачников есть тот, кому светит через несколько дней оказаться на свободе. Конечно, все мне завидовали, но одновременно с завистью и в этих затурканных людишках, барахтающихся в отстойной тине жизни, просыпалась надежда, что и им когда-нибудь повезёт, и к ним явится удача, и они смогут, хотя бы ненадолго расправить согбенные невзгодами спины.

— 25 —

В День Победы я проснулся с ощущением невосполнимой утраты от расставания с Бывалиным, ежедневное общение с которым помогло мне пристальнее присмотреться к самому себе и о многом задуматься. Ерофея Кузьмича освободили потихому: вызвали в штаб, вручили серпастый и молоткастый паспорт, хранившийся в личном деле, и справку о пребывании в лечебно-трудовом профилактории. К этому времени был готов и денежный расчёт. Он получил деньги, смотался в магазин, затарился конфетами, печеньем, газировкой и, с разрешения Зубова, накрыл стол для всех, кто в это время был в отряде.

Лейтенант не побрезговал присесть с нами и, подняв полстакана «Боржомии», поздравил всех с праздником. Мы дружными аплодисментами поддержали начальника отряда. Ерофей Кузьмич расчувствовался, пустил скупую мужскую слезу и попросил у нас прощения за всё, в чём он перед нами провинился.

— Я не понял, — сказал Михайлыч. — За чё, к примеру, мне тебя прощать? Меня ты не обидел. Может, кого другого?

Обиженных Бывалиным среди нас не нашлось.

— Тогда простите меня по-божески, — попросил Ерофей Кузьмич.

— Прощаем! Прощаем, — загомонило застолье. — Лёгкого тебе пути!

Я вышел, с разрешения Зубова, проводить старика до остановки междугороднего автобуса. К ней от КПП к шоссе была натоптана гостями нашего учреждения никогда не зараставшая народная тропа. Бывалин оделся в ту одежду, в которой его привезли в ЛТП, а я был в чёрном казённом прикиде. Он и послужил причиной тому, что моё прощание с Ерофеем Кузьмичом получилось нервным и скомканным. Ни Бывалин, ни я не имели опыта самовольных отлучек, иначе бы не выперлись на шоссе, а затаились в зарослях полынного бурьяна на обочине до прихода автобуса. А мы встали этакими стоп-сигналами, и первая же ментовская мигалка остановилась рядом с нами, и мент, не выходя из машины, ухватил меня через окно за шиворот.

— Из ЛТП? Куда собрался?

Я растерялся до немоты, но Ерофей Кузьмич, глотнув воздуха свободы, осмелел и вырвал меня из милицейской хватки.

— Вот мой паспорт и справка, — заявил старик. — А он, с разрешения начальника отряда, провожает меня на автобус.

— Брось ты этих раздолбаев! — сказал шофёр. — Меня майор ждёт.

— Сейчас! — радостно воскликнул мент и, не выходя из машины, через открытое окно достал меня кулаком в челюсть. Я пошатнулся, но Бывалин помог мне удержаться на ногах.

— Прямо какие-то тонтон-макуты! — возмутился Ерофей Кузьмич, недавно видевший по телевизору фильм о бесчинствах охраны чернокожего диктатора Дювалье на Гаити. — Вроде русские люди, а ведут себя как псы. Креста на них нет!

— При царе все полицейские носили на шее кресты, но разве они были лучше наших ментов? Такие же тузики!

И мы, от греха подальше, спрятались за остановку, где и провели полчаса в неторопливой беседе. Бывалин втолковывал мне, что самое лучшее в моём положении — податься в пустынь. Я соглашался с ним, но моя голова была занята завтрашним днём, когда решится, в каком положении останутся чашки судебных весов, на одной из которых — бюст, а на другой — двухгодичный срок принудительного лечения.

С отъездом Бывалина я лишился помощника, но к этому времени расчёлся со всеми: в мастерской затылками друг к другу стояли два бюста Ивана Федотыча, один — первозданно белый, другой — тонированный под бронзу; был готов к открытию фонтан с двумя дельфинами, над которыми я изрядно попотел, полируя их до стекольной гладкости, пока они, смоченные водой, не засверкали заделанными в их бетонные тела мраморными вкраплениями.

Предаваться дальнейшим размышлениям о творческих успехах мне помешал вызов к Зубову.

— А ну-ка зайдём, — сказал начальник отряда, направляясь в свой кабинет, где взял со стола половинный листок бумаги и протянул его мне. Это была увольнительная на двое суток.

— Она мне не нужна, — отказался я и положил бумажку на стол.

— Бери, пока я добрый, — усмехнулся лейтенант. — Меня сегодня не будет, поэтому бери и не потеряй.

— Мне некуда идти, — сказал я, засовывая увольнительную в карман.

— Как некуда? — удивился Зубов. — Сходи в рошу, на речку. А ночевать тебя пустят в офицерское общежитие, я с прапорщиком это согласовал. Он о тебе знает.

Неслыханная щедрость начальника отряда меня удивила, я посчитал её поощрением за дельфинов, но долго размышлять на эту тему мне помешал хриплый лай Михайлыча, давшего команду на построение. Старый баклан в армии никогда не служил, но побывав по малолетке в одной из уральских

колоний, получил там строевую выучку, которой мог бы позавидовать и курсант учебки. Его отличительной чертой как бугра были любовь к чефиру и обожание шагистики, но в последнем он мог проявить себя только, когда всё наше доблестное учреждение готовилось ко дню Победы. Чеканя шаг, отрядные колонны принудбольных проходили торжественным маршем мимо трибуны, а высокопоставленные и ответственные товарищи отмечали и соответственно поощряли тот отряд, где шагистика находилась на высоком идейно-политическом уровне. И замполит Шишков неоднократно подчёркивал, что час строевой подготовки по воспитательному значению равен двухчасовой лекции капитана Попова о вреде пьянства и алкоголизма.

И в День Победы отряды принудбольных шли на завтрак, испытывая в ногах зуд нетерпения ударить строевым, но бугры требовали песню, и мы запели, пожалуй, самую пронзительную песню об Отечественной войне «Враги сожгли родную хату», явно не строевую, но настолько задушевную, что у многих на глаза навернулись искренние слёзы.

Гречка со свининой и чай способствовали повышению нашего жизненного тонуса, и после получасового перекура все принудбольные заняли каждый своё место в отрядных, пять человек в ряду, коробках напротив штаба, а на высокую, украшенную кумачовыми флагами и транспарантами трибуну взошли руководство ЛТП и гости — представители эксплуатирующих нас организаций, а между ними занял своё место, сверкнув отполированной парикмахером лысиной, сам народный судья Иван Федотыч, у которого на парадном пиджаке сияли полученные за отвагу на судейском поприще две медали. Мне это улучшило настроение: теперь я мог говорить своим недоброжелателям, что не только прогнулся перед начальством, но сделал бюст достойного человека.

Официальная часть длилась недолго: Жернаков, спотыкаясь, прочёл, наверное, не в первый раз, доклад о Победе, затем кадровик огласил праздничный приказ, поощрили не только

постоянный состав, но и принудбольных, совершенно неожиданно я получил благодарность, и это прозвучало для меня похоронным маршем, я надеялся на освобождение, а мне отсыпали, по сути дела, стакан семечек — щёлкай и веселись!

На вручение подарков от организаций я поглядывал кисло: одному отряду вручили телевизор, другому — магнитофон, третьему — стиральную машину, Зубову досталась пишущая машинка в футляре, он поднял её над своей головой и показал всему отряду. Официальная часть закончилась, и Жернаков пригласил всех на торжественное открытие фонтана. По всему, мне как автору дельфинов, надлежало быть впереди, рядом с руководством, но я был так ошарашен полученной благодарностью, что плохо соображал, куда мне идти и что делать. Честь открыть кран, конечно, была делегирована Ивану Федотычу, и он как бывалый владелец дачного участка справился с ней блестяще: резво согнулся, крутанул бронзовый барашек, и под приветственные крики ударили и сплелись над скульптурой хрустально-серебристые узоры водяных струй, обильно омывая блистающие мраморными вкраплениями тела дельфинов.

— Великолепное сооружение! — дал вескую оценку фонтану Иван Федотыч, и с ним все согласились: и руководство ЛТП, и представители организаций, и прочие обитатели загона для отверженных, в их числе и я, потому что зоновская эстетика имеет не меньшее право на существование, чем все другие направления изобразительного искусства. Лаконичная архитектура барачных, помещённых в периметр контрольно-следовых полос, вышек, заборов в барочных завитушках колючей проволоки, над которыми по ночам разыгрывается световая феерия прожекторных лучей — всё это имеет своих почитателей и ценителей. Конечно, я к их числу не принадлежал, но принимал её как данность и, наверно, поэтому мои дельфины пришлось так кстати и потрафили вкусу Жернакова, Шишкова, Зубова и других наших сторожей и

оберегателей здоровья людишек, искалеченных всеильным зелёным змием,

Дельфины всем понравились, но никто не заинтересовался их создателем, не потребовал автора, кроме Ивана Федотыча, который вспомнил обо мне, и дежурный прапорщик Злыдень извлёк меня из толпы принудбольных и, подталкивая, доставил к фонтану.

— У тебя всё готово? — осведомился майор.

— Так точно, — пролепетал я. — Бюсты в мастерской.

— Прошу, Иван Федотыч, кажется, ваши изображения уже готовы.

— Любопытно, любопытно, — оживился судья. — Почему бы и не взглянуть.

Мы переждали, пока мимо нас в клуб на концерт зайдут принудбольные, и направились в мастерскую, уже подготовленную к приёму руководства стараниями Гречкина. Пол в ней был свежeweымыт, окна протёрты, форточки открыты и освежали помещение лёгким ветерком.

Жернаков и Шишков пропустили вперёд Ивана Федотыча, который внимательно осмотрел свои бюсты — белый и тонированный — даже щёлкнул по ним пальцем, прислушался к звуку и засиял довольной улыбкой. Шишков понял, что работа принята и турнул Гречкина за обёрточной бумагой и шпагатом.

— Надо бы обмыть, — игриво сказал Жернаков.

— Успеется, — отмахнулся Иван Федотыч и вплотную приблизился ко мне. — Такой талант, а ты себя губишь винищем. Что, обиделся на майора за благодарность? Не ври, знаю, что обиделся. Но ты не обижайся. Жернаков — известный скупердяй. Может, Шишков, ты чем-нибудь отблагодаришь мастера?

— У меня, Иван Федотыч, никаких прав нет, только обязанности, — сухо вымолвил замполит.

— Вот беда! — вздохнул судья. — Как же мне тебя, Конев, поощрить? Благодарность ты уже получил, премия тебе не положена. — Он сделал паузу, положил руку на тонированный

бюст и улыбнулся. — Если твои начальники представят мне документы на твоё досрочное освобождение, то я готов их без задержки рассмотреть.

— Зубов уже этим занимается, — после непродолжительного молчания лениво сказал майор Жернаков.

В мастерскую с большим куском бумаги и бобиной шпагата впятился Гречкин. Я поспешил ему помочь. Моя суетливость была первым признаком счастливого волнения, которое вскоре захлестнуло меня с головой. О, как я в этот миг любил всех, кто был рядом — майора Жернакова, капитана Шишкова и ведущего культурного работника Гречкина, но Иван Федотыч вызвал у меня к своей особе припадок обожания, я его боготворил, готов был для него на всё, и этот юридический сухарь, казалось, тоже помягчел и с вполне человеческими нотками в голосе произнёс:

— Я, Конев, надеюсь, что ты оправдаешь наше доверие.

— Я, Иван Федотыч, начну жизнь с чистого листа, — услышал я, будто со стороны, свой охрипший голос.

— Что ж, товарищи, — произнёс заслуженный юрист. — Есть предложение отъехать на дачу.

— Нет возражений! — в один голос радостно воскликнули Жернаков и Шишков.

Начальство проследовало на выход, Гречкин и я несли за ними упакованные в бумагу бюсты, а из клуба доносились могучие всплески хохота: ради праздника майор раскошелился на приглашение артистов из Самары. Мы погрузили бюсты в машину судьи, туда же поместились Жернаков и замполит, я кинулся проститься со своим благодетелем, однако Иван Федотыч глянул мимо меня и нажал на стартер.

— Тебе, кажется, сегодня повезло, — сказал Гречкин, и в его голосе прозвучали нотки зависти.

От предложенной сигареты он отмахнулся:

— Я и так задержался с твоими делами, а ко мне сестра приехала.

Мне ждать было некого, подымив, я потопал в сторону своего барака. День разгулялся и я, раздевшись до пояса, подставил спину под лучи горячего весеннего солнца. Прошло с полчаса, я почувствовал, что одной стороной уже достаточно загорел, повернулся к солнцу лицом и тут услышал хрипловатый голос бугра:

— Иван! Дуй на КПП. К тебе приехали.

— Не может быть, — удивился я. — И кто?

— Супруга.

— Как супруга? — вскинулся я. — Нет у меня никого и ничего, кроме алиментов.

— Ну, это, Иван, ты сам с этим разбирайся, — сказал Михайлыч. — Дай сигаретку.

Я натянул на себя рубаху, надел хэбэшную куртку, ощущая, как моё нутро начинает радостно трепыхаться. Чтобы успокоиться, я закурил, и с каждой очередной затяжкой приходил к убеждению, что ко мне приехала Валя. Но как она нашла в себе смелость объявить себя моей женой? Впрочем, я сейчас был холостяком, и закон не возбранял мне снова попытаться счастья в супружестве, но, похоже, Валя всё уже решила за меня, и её самостоятельность избавляла меня от необходимости принимать решение самому.

Я подошёл к открытым воротам, осторожно высунулся из них и увидел Валю, которая сидела на скамейке спиной ко мне, придерживая рукой большую сумку. Осторожно ступая по выщербленному асфальту, я подкрался и закрыл ладонями её глаза. Валя вздрогнула и тихонько произнесла неуверенным голосом:

— Ванечка! Это ведь ты?

Она повернулась, и мы встретились взглядами. Я непроизвольно вздрогнул от волнения, взгляд Вали был размыт готовыми пролиться слезами, но она улыбалась и что-то беззвучно шептала. Я испугался, что она разревётся на виду у всех и, прижав к себе, горячо выдохнул:

— Ради бога, успокойся, на нас смотрят!

— И пусть смотрят, — она тряхнула головой и промокнула платочком веки. — Ты теперь навсегда мой, и я тебя никому не отдам!

— Но мне же ещё полтора года париться!

— А вот и неправда, — улыбнулась Валя. — Мне твой лейтенант сказал, что на следующей неделе, самое позднее — дней через десять, тебя освободят.

— Стало быть, ты знаешь Зубова? — поразился я. — И с каких пор?

— Когда ты со мной по телефону от Стекольниково разговаривал, я на другой день приехала сюда и рассказала о нас лейтенанту. Потом несколько раз по телефону с ним разговаривала, справлялась о тебе. Он обещал известить меня, когда нам можно будет встретиться. Вчера я получила от него телеграмму.

— Так, ясененько, — хмыкнул я. — А я-то думал, с какой стати он выписал мне на двое суток увольнительную. Теперь понятно.

— Честное слово, — обрадовалась Валя. — Я про это ничего не знаю, но разве это не здорово!

Я присматривался к ней, с большим удивлением обнаруживая, что она стала совсем другой: исчезла дрожливая робость в голосе, разговаривая со мной, она явно не испытывала того чувства вины, которое я навязал ей своими многолетними погрёками в надуманной мною измене. Валя стала самодостаточным человеком и твёрдо стояла на ногах, тогда как меня даже сейчас что-то покачивало и подбрасывало, и я время от времени ощущал себя безмерно провинившимся и нашкодившим юнцом, которого в любой миг могут схватить за шиворот, выпороть и поставить в угол. Это было признаком упадка душевных сил, в котором я пребывал несколько лет, и сейчас я с робкой надеждой посмотрел на Валю, может с её помощью мне удастся выбраться из сырого и заросшего паутиной угла, в который я сам себя загнал своей беспутной жизнью.

— Покажи увольнительную, — попросила Валя.

Я протянул ей согнутый вдвое листок, который она рассмотрела со всех сторон и положила в карман своей куртки. Этот жест не вызвал у меня возражения и даже понравился. «Она приехала как раз вовремя, — испытывая облегчение, подумал я. — Видимо, игумену не дождаться нового послушника, но бога я не забуду, получив элтэпэшный расчёт, отдам его весь на восстановление пустыни».

— Я тебе привезла одежду.

— Ты что, была у Зинки? — насторожился я.

— Всё новое, от трусов до свитера, — сказала Валя. — Магазинное. А эти обноски надо выбросить, а лучше сжечь.

— Одежда казённая и подлежит сдаче. Но об этом потом. Нам надо на эти два дня обустроиться. — Я взял в руку сумку и встал. — Пойдём за угол, там общежитие и, кажется, нам дадут в нём комнату.

Конечно, могло и так случиться, что Зубов забыл поговорить с начальником общежития обо мне, но я крепко надеялся на Афонькина, который частенько с кем-нибудь передавал приветы и приглашение посетить его поварские владения. И я очень удачно про него вспомнил: шеф-повар в ослепительно белых куртке и колпаке посиживал на скамейке и выпускал изо рта одно за другим кольца табачного дыма. Увидев меня не одного, а с интересной женщиной, Афонькин вежливо нас поприветствовал и без задержки проводил к двери, за которой среди стеллажей с постельным бельём, одеялами, полотенцами и другим казённым имуществом, скучал прапорщик, начальник общежития.

Я протянул ему увольнительную, он мельком на неё глянул, вернул и снял с гвоздя большую связку ключей.

— Следуйте за мной.

Миновав несколько дверей, он остановился.

— Здесь мужская, а тут женская душевые. Они работают без перерывов.

Наша комната была угловой, с двумя окнами, прикрытыми розовыми гардинами. Прапорщик проверил работу электроприборов, включил и выключил водяной кран и, уходя, плотно прикрыл дверь. Я тотчас закрыл её на задвижку и, задохнувшись от волнения, резко повернулся к Вале. У неё на губах цвела улыбка, а глаза сияли. Я шагнул к ней, но она тихо напомнила.

— Тебе надо помыться и переодеться.

— Конечно, конечно, — смутился я. — У меня банный день только в среду.

Валя распаковала сумку и достала из неё трусы, майку, рубашку и спортивные штаны, все аккуратно выглаженные и новые.

— А это, — она протянула мне бумажный пакет. — Для казённой одежды. Я потом её постираю и заштопаю.

Душевая в общежитии, где приводили в чувство запойных номенклатурных тружеников, была до потолка отделана иноземной плиткой, трубы, краны, лейки сияли хромом и никелем. За второй дверью на меня пахнуло сауной, здесь можно было попариться, а затем ополоснуться, но мне такая роскошь была ни к чему. Я включил воду и, подставив под неё руку, вспомнил, как побывал под душем, когда меня привезли в ЛТП. Тогда меня совсем не занимало то, о чём я лихорадочно думал сейчас: под горячими струями моё тело стало оживать, скорее всего, той частью, что находилась от пупка и ниже. Однако, кровь прилила не только к причинному месту, но и ударила в голову, и не знавший более года женщины, я испытал сладостное содрогание, которое сменилось ледяным испугом, что от мерзких лекарств у меня нарушилось семяизвержение.

Чтобы отогнать от себя эту паническую мысль, я открыл только холодную воду, затем только горячую и частыми сменами температур отвлёкся от того, что случилось, затем мочалкой растёр всё тело и напоследок окатил себя ледяной водой.

Валя встретила меня уже переодетой в лёгкий домашний халатик, пепельно-серые волосы она подобрала вверх, обнажив чистую белую шею и небольшие с изящным изгибом уши.

— Сейчас, Ванечка, приходил кто-то в белом и принёс блюдо с мясным ассорти.

— Это Афонькин, — сказал я. — Я ему угодил рисунком, и он это помнит.

Мы устремились навстречу друг другу, я обнял Валу, поцеловал, а всё дальнейшее произошло в состоянии сладчайшего восторга, которое оглушило и пронзило меня насквозь, после чего ко мне не скоро вернулась способность слышать и видеть. Валя лежала на спине и глубоко и умиротворённо дышала, чуть подрагивая запунцовевшими от моих жадных поцелуев губами, и на виске у неё вздрагивала тоненькая синяя жилка, которая вызвала у меня трепетный прилив нежности к любимой женщине. Я снова потянулся к ней, потому что чувствовал, что она ждёт меня каждой частичкой своего ещё не остывшего от моих ласк тела, и она откликнулась на призыв многообещающим поцелуем.

И на этот раз мне посчастливилось окончательно утвердиться в том, что силы меня не оставили, но насладиться мелким тщеславием не позволило чувство голода, и я голяком кинулся к столу, сделал два бутерброда с мясом и вернулся на диван. Завернувшись в простыню, Валя сидела на нём с протянутой рукой и улыбалась.

— Не проносите мимо...

Утишив голод, я вспомнил, что не спросил о самом для неё важном:

— Как дочка, здорова?

— Она тебя ждёт, — после недолгого молчания сказала Валя.

— Откуда, из ЛТП? Она ведь уже почти взрослая.

— Нет, конечно. Но врать, что ты в командировке, я не стала.

Она думает, что ты живёшь недалеко, но в другом городе.

— А вдруг мне не удастся с ней поладить, что тогда?

— Я много ей рассказывала о своём детстве и о тебе, конечно, как ты мне от своей матери тряпочки приносил для кукол, про нашу школу, ей это не было скучно, кажется, она тебя не считает чужим человеком.

— Ладно. Будем надеяться на лучшее. Хочешь ещё хлеба с мясом?

— Своди меня в душ. А потом мы пообедаем по-настоящему. Я кое-что с собой захватила.

Валя подошла к зеркалу, поправила причёску, застегнула на все пуговицы халатик, взяла пакет, и мы вышли в коридор. Он был пуст, я уже подвёл Валу к душевой, как из комнаты напротив послышался голос капитана Попова:

— Вам, Валерий Петрович, плохо! Вы чувствуете, как у вас сжимается желудок!

— Что это? — пискнула Валя.

— Ерунда, потом объясню. Не бойся, я побуду здесь.

— Нет, уходи, я закроюсь.

Камлание главврача завершилось успешно: номенклатурный алкаш с подвыванием изверг из себя рвотную слизь. Мне слышать это было не внове, и я отошёл к нашей комнате, где остановился, чтобы приглядывать за Валей.

Через какое-то время дверь комнаты, где был Попов, отворилась, и из неё вышел пузан, бережно прижимавший к своему брюху эмалированный тазик. «Надо же! Какое социальное неравенство, — усмехнулся я. — Мы рыгаем в оцинкованные тазы, а здесь — эмалированные, да ещё с цветочками».

Вскоре из комнаты гостя показался капитан, и я спрятался от него за распахнутой дверью своего номера. Встретаться с ним, когда я уже стоял на пороге освобождения, было опасно: главврач свободно мог назначить мне ещё одну процедуру, чтобы я не забыл его на всю оставшуюся жизнь.

Валя вволю намылась и наполоскалась под душем. На меня пахло запахами туалетного мыла и шампуня, от которых я давно отвык, и они подействовали на меня возбуждающе, как

призыв к действию, но Валя от меня отстранилась и легонько ущипнула за щёку:

— У нас впереди ночь...

Пока она сушила волосы и приводила себя в порядок, я отлучился на кухню, где Афонькин наложил тарелку макарон по-флотски и дал мне две фирменные ватрушки и литровую банку кофе.

— Тебе сегодня надо усиленно питаться, — сказал он и лукаво подмигнул.

Я рассказал о своём номенклатурном соседе.

— Это какой-то шишкарь из Самары, — сообщил Афонькин. — Попов говорит, что печёнка у него, как решето. А ведь пил только армянский коньяк высшей пробы. Ты анекдот про мышей-алкашей слышал?

— Нет.

— В ЦК заинтересовались: почему работники пьют всякую дрянь, но живут долго, а начальство пьёт коньячок, да водочку, но мрёт — то инфаркт, то инсульт. Поручили разобраться медикам. Те в одну клетку посадили мышей — «начальников», а в другую мышей — «работяг». И опять — «работяги» здравствуют, а «начальники» мрут. Стали разбираться, наконец, дошли до лаборанта, который ухаживал за мышами. «Я пою и кормлю, — сказал он, — тех и других одинаково, только «начальникам» иногда здоровенного кота показываю». Ну, как? Да не рассыпь еду и смейся потише, прапорщик у нас на этот счёт строг.

Макароны я умял почти что один, Валя поглядывала, как я лопаю, и съела только ватрушку со стаканом кофе.

— Ты что не кушаешь? — спохватился я.

— Мне нравится смотреть на тебя, когда ты ешь, — сказала она.

Она, того не ведая, напомнила, что скоро мне надо будет озаботиться своим трудоустройством.

— Стекольников тебе не звонил?

— Как же, — оживилась Валя. — Два раза. У него большой заказ, и у него идея отдать тебе часть работы, но я против.

— Почему? У него за месяц можно заработать столько, что хватит на весь год.

— Мне страшно, Ванечка, что ты опять там запьёшь. Зачем тебе эта работа? У нас на машиноиспытательной станции уже полгода как нет аккумулятора. Ты ведь у нас работал, вот и возвращайся.

Полгода назад даже мысль о том, чтобы я бросил скульптурный цех и мастерскую Стекольников, вызвала бы у меня негодование, но сейчас я выслушал Валю спокойно. Конечно, я ещё жил и горел скульптурным художничеством, но мыслил о нём более трезво. В ЛТП я не только протрезвел, но и стал здраво оценивать свои силы и способности. В Союз художников без специального образования меня не примут, стало быть, официальных заказов не будет. Остаётся шабашка, но я уже знал, что этот заработок ненадёжен, а мне предстояло жить с семьёй, заботиться о близких.

— Ты права. Пора перестать замахиваться на то, что мне не под силу. Но вернуться в аккумуляторщики я не смогу — стыдно. В наше время все неудачники в искусстве обретаются в дворниках. Ты не против, чтобы я взял в руки метлу?

— Беда мне с тобой, Ванечка, — вздохнула Валя и обняла меня за шею. — Но я рада, что ты здесь не огрубел и не озлился. А бог добрых людей своей милостью не оставляет.

Валя никак не могла на меня наглядеться, и мы с ней пробыли в комнате до вечера. Никаких грандиозных планов на будущее мы не строили, потому что в нашем возрасте предаваться безрассудным мечтаниям могут только совсем отчаявшиеся люди. Мы, наконец-то, обрели друг друга и радовались только этому. Валя как рассудительная женщина озаботилась моим здоровьем и рискнула заглянуть на месяц вперёд.

— Тебе, Ванечка, нужно отдохнуть, — сказала она. — В июне у меня отпуск, и, если ты не против, мы поедем к сестре в

Апшеронск. Она живёт с мужем в своём доме. Рядом есть грязелечебница, а в шестидесяти километрах — море.

— Сначала свадьба, или хотя бы свадебный вечер вдвоём, конечно, после регистрации. Думаю, мне ещё не поздно пить «Боржоми» и веселиться.

Вечером мы пошли прогуляться по окрестностям и через полчаса ходьбы набрали на разлившуюся речушку, через которую от одного берега к другому, были перекинута жердевые мостки. Мы ступили на них, дошли до середины и остановились зачарованные быстрым течением воды, которая под мостками свивалась в наползающие друг на друга глиняного цвета жгуты, плескалась и бурлила, огибая берёзовые стояки, и надолго приковала наши взгляды беспокоящим душу чувством ощущения опасности. Валя невольно прижалась ко мне и слегка задрожала: на воде было ощутимо прохладнее, чем на земле, и мы пошли к берегу, решив взглянуть на заречные окрестности.

Сходя с мостков, мы спугнули какую-то большую и тяжёлую птицу, которая, поднимаясь на крыло, с шумом продралась через сухие прошлогодние камыши и полетела, нелепо подныривая, совсем невысоко над землей, оглашая окрестности неожиданными для слуха резко-скрипучими криками.

— Чибис! — догадался я.

Чтобы лучше разглядеть его, мы поднялись на берег и, забыв о птице, замерли на месте, безуспешно пытаюсь вместить в себя открывшийся нашим взглядам огромный, слегка всхолмленный заливной луг, с которого уже сошла вода, и он за несколько жарких дней успел покрыться свежей бархатной зеленью, осветлённой на взгорках и затенённой в низинах, простиравшейся почти до самого горизонта, обозначенного непроницаемой полосой чернолесья. Над ним громоздились друг на друга кучевые облака, ещё не стромбовавшиеся в грозовую тучу, и в прорехе между ними сияло чуть сизоватое перед закатом солнце, от которого на нас ощутимо источались волны сухого тепла и яркого света.

Проживший больше полугода взаперти в подвальных сумерках барака и кирпичного завода, я трепетно воспринимал обрушившийся на меня простор и некоторое время стоял, зажмурившись, и полной грудью вдыхал воздух своей воли, ощущая как хмельно покруживается голова, а горло перехватывает рвущийся от самого сердца наружу нечленораздельный вопль. Я взглянул на Валу и понял, что ею владеют чувства, вполне созвучные моему восторгу, и больше не стал себя сдерживать и проорал во всю мочь что-то несурзное и дикое.

Валя в ответ на мою выходку, тоже вскрикнула и побежала по немятой траве, щедро рассыпая серебряные брызги смеха. Я кинулся за ней следом, в несколько прыжков догнал, подхватил на руки и закружил на взгорке, затаптывая невысокие, но уже распустившиеся бледно – розовым цветом, кусты шиповника.

— Как хорошо, — обнимая меня, прошептала она. — Я очень счастлива и одновременно боюсь, что это ненадолго.

Я остановил наше кружение и бережно опустил её на землю.

— Теперь мы не одиноки: у меня есть ты, а у тебя есть я, и наше счастье зависит только от нас.

Но Валя меня уже не слушала, она беспокойно заоглядывалась по сторонам и взволнованно произнесла:

— Разве ты не слышишь? Какой-то гул и земля, кажется, подрагивает.

В этот миг я и сам услышал то, что она назвала гулом, это было похоже на отдалённый шум идущего на подъём грузового поезда.

— Это кони! — вскрикнула Валя и прижалась ко мне.

Прямо на нас по травяному безбрежью, подобно паводку, катился плотно сбитый, не меньше, чем в сотню голов, табун лошадей. Куда-то бежать и прятаться от них было уже поздно, нас разделяло не больше пятидесяти шагов, от страха я обезножил и попытался заорать, чтоб как-то отвратить от нас этот смертно опасный поток, но смог лишь открыть рот и жалобно вякнуть, и замахал руками. Возможно, моё

мельтешение привлекло внимание скачущего чуть впереди табуна крупного саврасого жеребца или он сам разглядел нас на взгорке, но табун резко подался в сторону и, по дуге огибая нас, направился к берегу, где кони замедлили бег и остановились у края воды.

Я взял Валу за руку, и мы взошли на мостки, откуда нам был виден весь берег и так напугавший нас табун. Лошади разбрелись по краю земли, некоторые забрели в речку и, брезгливо оттопыривая губы, цедили мутную весеннюю воду, трясли гривами и помахивали хвостами. Саврасый жеребец продолжал оставаться бдительным вожаком и стоял, вытянув шею и оглядывая всё вокруг. Внезапно он сорвался с места и, завизжав от ярости, кинулся на молодого коня, который попытался притиснуть кобылу. Малолеток со страха бросился в речку, отплыл на десяток метров, оглянулся на берег и, сплавляясь по течению, стал высматривать, где бы ему выбраться на сушу в стороне от своего гонителя.

— Пора возвращаться в общежитие, — сказал я. — Какое счастье, что через несколько дней я стану вольным человеком!

Эпилог

Вопреки нашим ожиданиям, меня освободили только через два месяца. Я даже не догулял полностью увольнение, на другой день меня вызвали в отряд: В ЛТП нагрянула проверка, и не плановая, а чрезвычайная и министерская. Она была спровоцирована убийством Кости - хоккеиста, в МВД решили, что такое ЧП в лечебно - трудовом профилактории выходит за все мыслимые рамки, и на голову майора Жернакова из Москвы явился холёный молодой полковник и десять дней ставил наше ЛТП то на уши, то на карачки.

Его въедливость и принципиальность вышли Жернакову боком, за различные нарушения и злоупотребления его вывели за штат, и майору корячилось очень недостойное увольнение из

органов. Но больше всех пострадал я, о моём досрочном освобождении никто не заговаривал, я ткнулся с этим вопросом к Зубову и получил от него втык и возвращение в первобытное состояние — откатчиком на формовку, где меня с распростёртыми объятиями встретил Кильдымыч.

От внезапно обрушившейся беды я чудом устоял на ногах, но меня крепко поддерживала Валя. Она каждую субботу приезжала ко мне и вырывала у Зубова свиданку на выходные. Так продолжалось почти два месяца, пока, наконец, пурга, поднятая московской проверкой, не улеглась, и всё вернулось на круги своя. Майор Жернаков снова занял свой кабинет, лейтенант Зубов получил за четверть века беспорочной службы третью звёздочку на погоны, руководство нашего загона воспрянуло духом и стало готовиться к смотру на звание лучшего ЛТП страны.

Надо отдать должное начальнику отряда, он напомнил о моих заслугах Жернакову, и тот, недавно сподобившийся познать горечь несправедливых репрессий, воспылал ко мне, как к собрату по несчастью, сочувствием и подмахнул бумаги на досрочное освобождение. За решением Ивана Федотыча дело не стало, и я распрощался со ставшей мне почти родной обителью для отверженных, чтобы выбросить её насовсем из памяти вместе с антиалкогольно – шаманскими камланиями капитана Попова. Этот мерзавец надолго испортил все мои праздничные застолья, но со временем обида на него у меня прошла, лишь иногда он мне снится. Я просыпаюсь в холодном поту и, прежде чем слезть с кровати, смотрю вниз, чтобы не наступить на черепушку бугра Михайлыча.

Трезвый образ жизни позволил мне утвердиться в роли надёжного для клиентов шабашника, чуть позже я организовал фирмочку по изготовлению надгробий, и в денежном отношении окреп настолько, что построил весьма вместительный особняк. Моё благополучие сейчас многим в зависть, и только Стекольников поглядывает на меня с насмешкой. Старик остался верен своему старомодному

отношению к искусству и, угостившись моим дорогущим коньяком, любит ткнуть носом в моё отступничество:

— Нет, Ванюшка, ты так и не поднялся с колен! Но, ты, брат, судя по питью и закуси, неплохо устроился жить на четвереньках. Но может ты и прав, искусство — это такая прощандовка, что лучше с ним не связываться на всю жизнь. По молодости можно им побаловаться, но жить всю жизнь как с женой — это такая дурь, от которой и лекарства, кроме водки, не существует. Но можно и коньяку хлобыстнуть, если он дармовой!

Пользуясь своими связями, я подогнал Стекольникову неплохой заказ на ростовую скульптуру нашего губернатора, которую вздумал установить в родной деревне руководителя региона глава районного муниципального образования. Аверьяныч умел обходиться с заказчиками и выторговал себе приличный гонорар, и даже стал задирать нос — скульптура должна была стоять в бронзе. Вопреки моим опасениям, заказ не сорвался, и через год я получил от Стекольникова приглашение на открытие памятника.

Тут-то и выяснилось, что это произойдёт совсем недалеко от ЛТП, и я почувствовал чуть-ли не ностальгию по этому загону для отверженных, поэтому без колебаний отправился на родину губернатора. Валя тоже захотела взглянуть на дорогие для неё места, где она нашла своё счастье.

Глава района устроил в духе времени шикарное и, видимо, дорожущее шоу, разве что не палили из пушек, но автоматную трескотню устроили, средь бела дня запустили уйму фейерверков, сопровождал церемонию симфонический оркестр, словом, всё было очень мило и задушевно.

Мельком глянув на памятник, я пожал руку Стекольникову, и мы с Валею поехали в сторону райцентра. Через полчаса с увала, на который нас вынесло шоссе, моему взгляду открылся вид на захолустный городок, я сразу же разглядел на его окраине несколько строений, огороженных забором, трубы котельной и барак, в котором я начал путь к своей новой жизни.

— Какой прекрасный храм! — вскрикнула Валя, указывая на сияющие золотом храмовые строения, находившиеся чуть в стороне от райгородка.

— Это Троицкая пустынь, — сказал я и сразу вспомнил моего союзника Бывалина: жив ли он, чем покоит свою старость — вином или трезвой праведностью?

Вблизи бывший ЛТП выглядел плачевно: всё, что имелось в нём металлического, начиная с брамы ворот, было вырвано, срезано, сломано и пошло на металлолом. Окна в бараках, столовой, клубе, больнице были выбиты, двери сорваны, кругом возвышались кучи мусора и везде зияли чёрные пятна от многочисленных кострищ.

Я поспешил к фонтану и убедился, что он тоже раскурочен почти полностью: мраморная плитка с ограждения сколота, трубы вырваны, а из моих дельфинов цел только один, но по отметинам на бетоне было заметно, что его били с полного замаха кузнечной кувалдой.

Здесь делать было нечего, и мы поехали взглянуть на кирпичный завод, который, как оказалось, был жив, но дышал на ладан. Я приткнул «Форд» к проходной, заглянул в неё и увидел Кильдымыча. Он уставился на меня одним глазом, пригляделся и хрипло выдохнул:

— Ты ведь наш? Кажется, я тебя помню.

Несколькими словами я напомнил старику о себе, он оживился и стал походить на прежнего Кильдымыча:

— Какой завод был! А сейчас вряд ли мы выживем. Одна надежда, что опять начнут собирать бросовых людишек в ЛТП. Об этом всё громче поговаривают наши думачи, что в Москве.

— А как же права человека? — запротестовал я. — Опять вернуться к принудлению?

— Почему бы и нет? — удивился Кильдымыч. — В России всё течёт, но ничего не меняется.

Полотнянко Николай Алексеевич

Загон для отверженных

Современный русский роман

Редактор *Л.И. Полотнянко*

Дизайн обложки *А.В. Качалин*

Компьютерная вёрстка *Л.И. Полотнянко*

Корректор *М.Н. Аверина*

Подписано в печать 03.06.14.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Печать ризографическая.

Гарнитура Times New Roman.

Усл.печ.л. 15,88. Заказ №14/062.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в издательско-полиграфическом

центре «Гарт» ИП Качалин А.В.

432042, Ульяновск, ул. Рябикова, 4.